

РАССКАЗ О КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ

(по Кинглеку)

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Когда я начал читать книгу Кинглека «The Invasion of the Crimea», я был уверен, что найду в ней много любопытного, но не ожидал, что она понравится мне и окажется заслуживающей того, чтобы близко ознакомить с нею русскую публику.

Кинглек был близок к лорду Раглану¹, сам находился в Крыму; уже в то время задумал быть историком этого похода; по смерти лорда Раглана его супруга передала Кинглеку все бумаги своего мужа; это собрание документов и корреспонденций очень полно: лорд Раглан был человек аккуратный и добросовестный. Кинглек уверен, что в переданной ему коллекции сохранено все, от важнейшего и секретнейшего документа до ничтожнейшей записки, — решительно все, что поступало в канцелярию и кабинет английского главнокомандующего. Сам Кинглек обращался с вопросами ко всем лицам в Англии, от которых надеялся получить пояснения по предмету своего труда; получил, таким образом, множество сведений, в дельности и добросовестности которых вполне убежден. Даже иностранцы доставляли ему много материалов; между прочим, французское правительство нарочно прислало в Англию одного из лучших офицеров французской армии, чтобы дать все возможные полуофициальные объяснения Кинглеку. Притом Кинглек один из важных людей торийской партии², все сведения, которыми располагали его политические друзья, были предоставлены в его распоряжение. Кроме того, английские архивы не имели для него никаких секретов. Он один из людей, имеющих наиболее сведений по дипломатическим делам: часто лично он получал сведения о таких фактах по континентальной политике, которые были еще неизвестны даже английскому министерству. Все это обещало, что его книга будет богата новыми и достоверными материалами.

Он считается одним из талантливых английских писателей. Это обещало, что книга его будет хороша в литературном отношении.

Но я очень мало расположен к торийскому образу мыслей. Потому ожидал, что буду смеяться над умствованиями Кинглека в его истории, как смеялся над ними в его парламентских речах. Я ошибся. В парламенте Кинглек — тори, и только. Но, взявшись писать историю, он очень добросовестно исполнил обязанность историка. Обязанность историка не в том, чтобы, садясь за свой рабочий стол, забывать свои убеждения, — нет, делать это глупо и гадко; да и не удастся никогда сделать этого. Но ученый в своем кабинете может возвышаться над мимолетными интересами дня, господствующими над мыслью публициста или оратора, — может заботиться о том, чтобы не отвлекаться от общих, долговечных интересов своей партии ради ее мелких обыденных надобностей. Кинглек старался об этом и, мне кажется, успел в том до очень значительной степени. Он, очевидно, хотел, чтобы и через двадцать, и через пятьдесят лет тори могли указывать на его книгу как на труд, достойным образом излагающий мнение их партии. Эта забота очистила его мысль от мелочности, больше всего мешающей соглашению добросовестных людей всех партий в обыденной житейской политической борьбе³. Он остался тори, но таким тори, против которого мало имел бы возражений англичанин моего образа мыслей. Он остался англичанином, но таким англичанином, против которого очень мало серьезных возражений может иметь серьезный русский читатель.

Главная заслуга его, по моему мнению, состоит в том, что он постарался взглянуть на Крымскую войну с полной серьезностью ученого исследователя, убежденного, что чем более очищается истина, тем выгоднее для всех наций и всех партий, в том числе и для партии, которую он считает наиболее основательною. Поэтому ему удалось понять причины и ход Крымской войны в таком виде, ближе которого к истине не нахожусь и я, хоть я человек другой нации, а главное — совершенно иных политических убеждений, чем Кинглек.

Выскажу здесь главный вывод того отдела его труда, который издан в начале нынешнего года и с которым я знакомя теперь русскую публику. По обыкновенному взгляду дюжинных статей и официальных документов, причины Крымской войны выходят мелочны до забавности, до пошлости. Неудовлетворительность дела принуждает искать, на ком бы сорвать досаду за него. Винят интриганство Пальмерстона⁴, или честолюбие покойного русского государя*, или зложелательность английского посланника в Константинополе лорда Стратфорда⁵, или ошибочность действий русского чрезвычайного посла в Порте оттоманской, князя Меншикова⁶, или уступчивость Абердина и Росселя⁷ Пальмерстону, или уступчивость графа Нессельроде⁸

* Николая I. — *Ред.*

желаниям его государя * и проч., и проч. «Они» или «он» виноваты в том, что вышла такая ужасная война из-за таких мелочей, — вот общий голос. Мне он всегда казался нелеп. Я и в этом вопросе не хотел отречься от своего убеждения, что капризы и ошибки, страсти и недостатки отдельных лиц бессильны над ходом великих событий, что факт, подобный Севастопольской борьбе, не мог быть порожден или устранен волею отдельных людей; что он — результат сил, владеющих умами громадных масс, результат убеждений и стремлений наций и партий, а ближайшею прямою причиною его должен быть какой-нибудь другой великий факт жизни европейских наций, из которого борьба России с передовыми державами Европы произошла столь же неотвратно, как события конца XVIII века во Франции ** из предшествующих фактов западноевропейской жизни, как страшное военное могущество Франции в начале XIX века из этих событий конца XVIII столетия, как вторжение западных континентальных военных сил под преобладанием и руководством военных сил Франции в Россию в 1812 году произошло из развития страшного военного могущества во французской нации. Не Наполеон, не его маршалы, не русские противники их представляются мне главными силами, действовавшими в этом факте, называемом войною 1812 года. Я вижу тут известное историческое положение французской нации, немецкой нации, русской нации и отношения, неотразимо, неотвратно возникающие из этих данных положений, и результаты, столь же неотвратно вытекающие из этих данных отношений между данными силами⁹.

Так я смотрел и на Севастопольскую войну и находил, что она — не более, как один из результатов, необходимо порождавшихся событиями, сосредоточивающимися в страшном кризисе французской национальной жизни с ночи 1—2 декабря 1851 до начала 1852 года. Никто не отвергал никогда, что французскому правительству, известному под именем правительства Второй империи и одевающемуся именем Наполеона III, принадлежит очень значительное участие в возбуждении войны. Но мне странно и грустно было слышать, как мелочно и легкомысленно понимается это участие: пошлым, анекдотическим, мелодраматическим манером, по которому Наполеон III есть великий хитрец, гений политического искусства, чуть ли не сочетание всех талантов Юлия Цезаря и Августа Цезаря в одном лице, — гений более гениальный, чем даже его дядя, который уж и сам по себе превышал всех когда-либо существовавших великих людей своего гениальностью. Мне всегда казалось иное. Я никогда не изменял тому взгляду на Наполеона III, несомненность которого была доказана всюю его жизнью и деятельностью до ночи с 1 на 2 де-

* Николая I. — Ред.

** Революция 1789 г. — Ред.

кабря 1851 года, и когда я слышал дифирамбы негодующего или восторженного поклонения ему, мне было смешно и досадно, смешно — мне представлялись буряты, поклоняющиеся разгневанному на одних, осыпающему своими милостями других маленькому пню, правда, обтесанному в нечто сходное с человеческою фигурою, но все-таки деревянному, бессмысленному и неподвижному. Гнусное идолопоклонство, вредное идолопоклонство, потому что поклонники дуреют и сами от этого поклонения ничтожеству.

Но это ничтожество, этот фантом есть представитель известного положения французской нации, — представитель того периода ее жизни, когда она в изнеможении отказалась на время от заботы о внутреннем своем развитии и отдалась под власть бесцветного, грубого насилия. Ясно было, что ее насильватели должны придумывать ей какие-нибудь внешние развлечения, чтобы она поменьше думала о своем позоре и нашла себя связанною хоть чем-нибудь с своими насильвателями. Ясно было, что люди, которым нужно было дать Франции роль тигрицы, прежде всех других занятий порекомендуют ей посчитаться с тою медведицею, которая когда-то погнала ее, полузамерзшую в нашем климате, через всю Европу на ее родину за Рейн. Это было понятно всякому, умевшему понимать отношения, существовавшие тогда между великими державами Европы¹⁰. Но рассказ об этом будет предметом следующей статьи, а теперь довольно будет высказать только ту часть моего взгляда на дело, который оправдывается частью книги Кинглека, вошедшею в первую мою статью.

Глава первая

Ближайший коренной факт, первым неизбежным последствием которого была война Франции в союзе с Англиею против России

Положение французских партий и настроение массы французского образованного общества осенью и в начале зимы 1851 года. — Положение лица, бывшего тогда президентом французской республики. — Его действительный характер и действительная степень его ума. — Незначительность его личного участия в событиях, которыми задушена была в начале декабря 1851 года внутренняя жизнь французской нации. — Характеристики истинных главных двигателей этих событий, Морни и Флери, и их агентов — Мопя, Сент-Арно и Маньяна. — Полуночная проделка 1—2 декабря. — Фиаско этой проделки. — Уныние большинства заговорщиков. — Характер, в каком переходит их ужас на войска. — Убийство массы парижан и парижанок на бульварах вечером 4 декабря. — Свирепости, следовавшие за ним. — Заговорщики получают через эти свирепые случайности и обдуманные меры в том же духе действительное владычество над Франциею. — Шаткость их положения и система политики, налагаемая на них необходимостью отклонять от себя гибель.

В начале зимы 1851 года Франция еще была республикою; но конституция 1848 года не имела корней во Франции (1). Составилось общее мнение, что страна была застигнута врасплох

революциею 1848 года, была врасплох принуждена объявить себя республикою, что монархическая система правления единственно удобная для Франции. Чувство тревожности, происходившее из этого мнения, соединялось с ужасающею боязнью восстаний, подобных тем, какие три с половиной года тому назад наполняли улицы * сценами кровопролития. Людям наблюдательным и людям боязливым казалось, что уже недалек и час неизбежного возвращения анархии, что он определен самую конституцию, требовавшую, чтобы весною следующего года был назначен новый президент; что, при тогдашнем положении дел и характере французской нации, это дело не обойдется мирно, что долгое ожидание опасности раздражит нервы людей; а французы в таких случаях стремительно бросаются вперед или отступают, — труднее всего им хладнокровно стоять или идти ровным шагом, стройно.

Вообще Франция находила, что лучше всего вновь мирно выбрать тогдашнего президента, несмотря на правило конституции, запрещавшее это (2); огромное большинство Законодательного собрания следовало этому мнению, но его желание не могло получить силы закона, потому что не имело за себя три четвертых доли всего числа голосов, а республиканская конституция 1848 года неблагоразумно постановляла, что перемены в ней не могут быть производимы иначе, как решением большинства трех четвертей голосов (3). Действие политического организма затруднялось этою стеснительною задержкою, и многие, вообще наклонные уважать законность, были принуждены признавать, что конституцию надобно переделать без уважения к ее условиям. Но республика была еще далека от серьезных взрывов. Закон сохранял свою силу, и решимость поддерживать порядок во что бы то ни стало была так сильна, что Собрание вручило президенту власть объявлять находящимися на военном положении те департаменты, которые покажутся подвергающимися опасности смут (4). Борьба, шедшая в Собрании, была незначительна в глазах военных людей или любителей деспотической решимости и крутости: но она показывала скорее признаки здоровья, чем опасности для государства. Приверженцы Луи-Наполеона утверждали, будто бы действие правительства стеснялось враждебными ему решениями Законодательного собрания или речами; это неправда. Еще большая клевета то, что Собрание занималось составлением умыслов против президента (5). Армия, вспоминавшая свое унижение в 1848 году, была в досаде на народ, рада была воспользоваться первым удобным случаем действовать против него (6); но не было ни одного генерала с репутациею, который согласился бы сделать выстрел, не имея на то приказа

* <Парижа>

от военного министра, по тогдашнему закону единственного человека, который мог давать уполномочия на это (7).

Но президентом республики был принц Шарль-Луи-Наполеон Бонапарте, считавший себя, по сенатусконсульту 1804 года, законным наследником императора французов. Выборы, сделавшие его главою государства, были ведены (8) со строгим беспристрастием, а он в прежнее время два раза делал попытки сесть на французский престол¹¹, потому он имел право заключать, что миллионы граждан, избравших его на президентство, хотя и воспользоваться его честолюбием для восстановления монархической формы правления во Франции (9).

Но если он успел выказать свое честолюбие, которое, можно сказать, было наложено на него обстоятельствами, он остался — и это было счастьем для него — известен за человека, бедного умом. Во Франции тогда вообще считали его тупым. Когда он говорил, ход его мыслей был вял; черты его лица были пошлы; он много учился и думал, но его сочинения не выказали в нем светлого ума, хоть он очень усердно обрабатывал их. Даже его приключения не придали ему интересности, какую обыкновенно приобретают авантюристы. Когда он жил в Лондоне, те лондонцы, которые любили собирать у себя людей с известностью, никогда не представляли его своим друзьям как серьезного претендента на престол, а представляли как будто какого-нибудь аэронавта, который два раза падал с своего воздушного шара и все-таки остался — хоть до некоторой степени — жив и здоров. Он полюбил английские привычки, стал хорошим псовым охотником, любителем конских скачек. Он был любезен, общителен, мягок и весел и довольно охотно говорил о своих видах на французский престол. С афоризмами о своем «предназначении» он обращался, очевидно по политическому расчету, к случайным знакомым; но с своими близкими друзьями он говорил языком практичного претендента на императорский престол.

Мнение, составившееся о нем во время его изгнания, мало изменилось и по его возвращении во Францию; в Национальном собрании его видели человеком, не имеющим большого ума, и потому считали его безвредным, а на президентском кресле он вообще казался вялым. Но была горсть людей, издавна имевших уверенность, что он человек способный, а в последнее время наблюдательные люди замечали, что между теми из официальных документов, которые, как было известно, писал сам президент, по временам являются такие, которые вовсе не бедны мыслью и показывают, что человек, писавший их, отделяя себя от нации, главою которой был, умеет рассматривать ее как предмет холодного наблюдения. Долго, бесконечно изучая сочинения Наполеона I, он приобрел манеру и привычку своего дяди смотреть свысока на французский народ, считать его просто материалом, изучением и управлением которого занимается чужой

этому материалу ум. В долгие периоды его тюремного заключения и изгнания отношения между ним и Францией, которую изучал он, были очень похожи на отношения между анатомом и трупом. Он читал лекции о нем, он рассекал его по суставам; он объяснял их отправления; он показывал, как дивно природа, в своей бесконечной мудрости, приспособила это тело на службу династии Бонапарте и как без попечительности этих Бонапарте оно истлеет и исчезнет из мира.

Если его ум был менее, чем какой предполагался в нем во время англо-французского союза, он был гораздо выше той тупой ограниченности, какую приписывали ему в прежнее время, начиная с 1836 года до конца 1851 года. Люди долго не могли признать ловкости этого ума потому, что наука, над которой он работал, имела отталкивающий характер. И до него было много людей, унижавших себя до внесения обмана в политику; еще больше людей, трудившихся на менее возвышенном поприще, прилагали свою ловкость к делам, занимающим собою суды исправительной полиции и уголовные; но едва ли кто-нибудь из людей нашего поколения, кроме принца Луи Бонапарте, проводил в трудолюбивой юности и в серьезной молодости целые часы и часы, придумывая, как применить плутовство к юридической науке.

Очень может быть, что не врожденная низость была причиной такого направления его ума. Наклонность долго, долго сидеть над обдумыванием плана для достижения цели была, точно, уже в самой натуре его; но из этого еще не следует, что от самой природы получил он наклонность думать именно над тем, как делать закон орудием обмана; родство дало ему эту наклонность, — оно уже несомненно дало ее, если не дала натура. Правда, он мог бы, если бы был человек твердый, отвергнуть указание, данное ему случайностью того, что он родился именно в фамилии Бонапарте; но мог бы лишь тогда, когда решился бы остаться частным человеком. А когда он решил быть претендентом на императорский престол, то, разумеется, ему надобно стало обдумывать, каким же образом грубое бонапартовское иго 1804 года * может быть переделано так, чтобы мягко положить на шею Франции. Франция — европейская держава, а иго в сущности было такое, какое монголы положили на китайцев¹², из этого следовало, что требуемая переделка должна быть просто подделкою, плутовством.

Итак, скорее от требования своего наследственного притязания, чем от врожденной испорченности сердца, принц Луи-Наполеон стал обманщиком по ремеслу; ждать от него, чтобы он был не вероломен пред Францией, не отказываясь

* В 1804 году первый консул республики Наполеон Бонапарт объявил себя императором. — *Ред.*

совершенно от своих претензий, было решительною несообразностью.

Целые годы принц изучал это странное ремесло и, усердно занимаясь, стал очень искусен в нем. Задолго перед тем, когда пришла ему возможность применить к делу его крючковатое мастерство, он уже научился тому, по каким правилам составляется конституция, которая на словах устанавливала бы одно, а на деле — другое. Он научился, как употреблять, например, слово «суд присяжных» в законах, отменяющих его; умел делать ловушку из слов «вотирование без ценза» (*souffrage universel*); знал, как удушать нацию ночью посредством фокуса, называемого плебисцит (10).

Адвокатская изворотливость, которую он приобрел для юридических работ, разумеется, могла быть применена к составлению государственных бумаг и всяких политических сочинений; и чем старше он становился, тем лучше это дурное дарование обращалось у него на службу его слабостям. У него в натуре было долго колебаться между разными планами действия, не только между сходными, но и между прямо противоположными планами. Эта слабость росла в нем с годами; и его совесть все больше привыкала стоять нейтрально при этих столкновениях мыслей, так что он вовсе потерял способность предпочитать один путь другому на том основании, что один честен, а другой бесчестен, и чтобы отдыхать в своей нерешительности, ему постоянно приходилось делать себе где-нибудь временную стоянку, в каком-нибудь смысле, в каком случалось. Как лентяй приобретает большую изворотливость в придумывании извинений для своих промедлений, так принц Луи-Наполеон стал чрезвычайно искусен в придумывании не только двусмысленных фраз, но и двусмысленных планов действия, потому что постоянно затруднялся в выборе между направо и налево (11). Частью по привычкам, усвоенным в тайных обществах итальянских карбонари¹³, частью от долголетнего заключения в тюрьме, а частью, как он однажды сказал, от близких сношений с спокойными, самообладающими любителями лошадей и конных скачек в Англии он приобрел способность долго молчать; но по натуре он не был ни человек осторожный в словах, ни человек скрытный. С иностранцами, особенно с англичанами, он вообще был открыт. Он был молчалив и скрытен с французами, но только по принципу, по которому охотник молчалив и скрытен с куропатками и перепелами. Правда, он был способен притворяться и притворяться долго; но сохранению его тайн много помогало то обстоятельство, что его мнение часто в самом деле было не сформировано, а потому он ничего и не мог сказать. Его любовь к маскам и переодеваньям, вероятно, более происходила от пустого тщеславия и театральной мании, о которой мы сейчас будем говорить, чем от низкой любви к обману; и точно, положительно известно

о многих случаях, что тайна, в которую любил он закутываться, происходила от желания произвести мелодраматический эффект.

Многие полагают, что напрасно обижают его те люди, которые говорят, будто он лишен всякого понятия о правде. Он понимал правду в частных разговорах и вообще предпочитал ее лжи, но его правдивость, хоть, может быть, и не принимаемая только для этого расчета, иногда становилась средством обмана, потому что, возбуждав доверие к нему, она вдруг подламывалась под влиянием какого-нибудь сильного расчета. Он мог лет шесть, семь быть в дружеских отношениях с человеком, искренно и правдиво говорить с ним все это время и потом вдруг обмануть его. Люди, видя, что ловятся на кажущуюся надежность его характера, натурально, располагались думать, что и все другое, кажущееся в нем хорошим, только маска; но сообразнее будет с общими законами человеческой природы, если мы предположим, что правдивость, длившаяся шесть, семь лет, была неподдельным остатком хорошего в нем, а не просто подготовлением для лжи. Шаткость и изменчивость его характера помогала скрытности: люди так утомлялись наблюдением за колебаниями его мыслей, что их подозрения начинали дремать на время, — а потом, видя, что они утомились предсказыванием того, что он сделает какую-нибудь вещь, он тихонько прокрадывался и делал ее.

В нем была отвага, но не та, какая происходит от темперамента, а та, какая дается размышлением. Чтобы выдержать роль в чрезвычайных опасностях, в которые он по временам кидался, и выдержать ее пристойно, нужна была такая сила характера, в которой природа отказала не ему одному, а большинству людей. Но отвага изменяла ему только в положениях, действительно опасных и грозящих немедленной физического бедою. У него было настолько мужества, что если б он был только частным человеком, то он выдержал бы обыденные испытания жизни с достоинством. Но по временам у него, кроме того, бывала искусственная смелость, производившаяся долгим мечтательным обдумыванием, и, вздувшись до этой отваги, он часто был способен подвергать свою твердость испытаниям выше своей силы. Дело в том, что воображение над ним имело очень большую власть, так что он влюблялся в идею предприятия, — но не имело столько живости, чтобы дать ему предошутить, каковы будут его впечатления в минуту опасности. Таким образом, он был очень большим авантюристом в своих планах действия, а когда напоследок становился лицом к лицу с опасностью, которой давно искал, он бывал ошеломлен ею, как будто чем непредвиденным. Он любил придумывать и обдумывать заговоры, имел много ловкости в подготовке средств для исполнения своих замыслов, но его труды по этой науке имели тенденцию вводить его в сцены, к которым он был плохо приспособлен природою, потому

что, подобно большинству обыкновенных людей, он не владел тем присутствием духа и тою физическою храбростью, которые нужны для критических минут отважного предприятия. Короче сказать, он был литературный мечтатель, обдуманно выводивший себя на отчаянную дорогу и очень далеко заходивший по ней, но способный в минуту испытания растеряться от внезапного возвращения здравого смысла и струсить.

От природы он не был ни кровожаден, ни жесток; в мелочах у него были даже мягкие и благородные инстинкты, а вообще он был расположен действовать не бесчестно, пока не являлось сильного побуждения к противному, так что он мог целые месяцы жить в обществе английских любителей охоты и лошадей, не делая постыдных поступков; а если он был не так создан природою или развит жизнью, чтобы мысль «это дурно» могла удержать его от чего-нибудь, то надобно выводить из этого, что его чувство распознавания добра и зла было, как и натурально, омрачено привычкою искать идеал в лице, подобном Наполеону I. Очень правдоподобно, что он, по ученой ли любознательности или по любопытству, если не по желанию руководиться своею находкою, пытался иногда выслушать, что говорит совесть; он, по всей вероятности, старался иногда об этом, потому что — факт известный — с пером в руках и с достаточным временем на приготовление он мог сделать очень недурное подражание тону слов человека, не лишенного совести.

Его постоянным желанием было привлечь на себя удивленное внимание света, а случайность рождения указала ему престол Наполеона I как престол, к которому он может прикрепить свою надежду; поэтому его жажда известности стала казаться честолюбием, хотя корень ее был просто в тщеславии. Но умственное уединение, в которое он был поставлен странностью науки, над которой работал, кажущаяся бедность его ума, его деревянный взгляд, а более всего видимая отдаленность успеха — все эти не обещающие удачи обстоятельства странным своим контрастом с величию его цели заставляли людей видеть в его претензии только комическую глупость. С страстным желанием забраться на такую высоту, чтобы все смотрели на него, в нем было соединено сильное, почти эксцентричное пристрастие к тем фокусам, которыми производит свои мелодраматические проделки плохой драматург, или режиссер, или актер; таким образом, пристрастие и фантазия влекли его придумывать сценические эффекты и сюрпризы, героем которых всегда ставил он самого себя. Эта склонность так сильно властвовала над ним, что скорее можно видеть в ней искреннее расположение, а не просто страсть театральничать. Если бы она была одинока, то, вероятно, только придавала бы особый характер его развлечениям; но по случайности такой человек родился претендентом на французский престол: его желание подражать Наполеону I

и воспроизвести империю связало его театральничество с тем, что можно назвать солидным его честолюбием; поэтому, пока он был изгнанником, он постоянно был занят мыслью скопировать возвращение Наполеона с Эльбы и разыграть это представление в действительности, а не на сцене, и притом собственною персоною.

По некоторым чертам, его попытка поднять восстание в Страсбурге в 1836 году была более важным делом, чем как обыкновенно отзывались тогда о ней. Ему тогда было 28 лет. Он успел привлечь на свою сторону Водре, командира артиллерийского полка, составлявшего часть гарнизона. Попытка была произведена рано поутру 30 октября. Водре сказал своим артиллеристам, что в Париже вспыхнула революция и король низвергнут; поверив этому, они согласились признать принца Наполеона II. Водре послал отряды в квартиры префекта и генерала Вуароля, командовавшего гарнизоном, и арестовал их обоих. Он успел сделать все это так, что другие полки еще ничего и не знали.

Если в армии действительно было тогда расположение к имени и династии Бонапарте, то для привлечения всего гарнизона на сторону наследника императора теперь не было бы нужно почти ничего, кроме того, чтобы этот наследник имел присутствие духа, необходимое в таком предприятии. Он был проведен к Вуаролю, содержимому под арестом; стал склонять его на свою сторону; генерал отказался. Тогда принц, окруженный людьми, представлявшими собою императорскую свиту, был проведен в застигнутым совершенно врасплох, что лицо, явившееся к ним, — их император. Они увидели перед собою молодого человека, который фигурой и лицом похож был на ткача, — ткача, изнуренного долгими часами монотонной работы в душной комнате, который не имел хорошей осанки и уставил глаза в землю; а между тем этот молодой человек такого вида стоял перед ними, одетый среди белого дня, с головы до ног в исторический костюм аустерлицкого и маренгского вождя¹⁴. Такая жалкая выставка не могла не расстраивать дела, с успехом поведенного полковником Водре. Но солдаты знали, что в Париже не раз и не два случались странные вещи; очень могло быть, что молодой человек перед ними в самом деле, как им говорят про него, сделан императором французов, Наполеоном II. Эта безызвестность солдат давала принцу случай узнать на опыте, действительно ли существует во французах расположение к имени Бонапарте, и если существует, то способен ли он воспользоваться этим расположением.

Но через несколько времени вошел во двор казарм, где была эта сцена, полковник Таландье, командир полка, узнавший, наконец, о том, что происходит в его казармах. Он тотчас же приказал запереть ворота и с жаром, гневом, презрением пошел

прямо к тому месту, где стояли предлагаемый император и его «императорский штаб». Это появление — появление негодующего полкового командира — было вещью, которой следовало ожидать принцу, — именно тою самою вещью, на борьбу с которою он шел, когда шел в казармы, — но оно поразило принца сокрушающим ударом, будто вещь изумительная, непредвиденная. Он, литературщик, стоял в костюмировке великого полководца, — перед ним явился настоящий полковник, с действительным правом отдавать приказания солдатам, — негодующий полковник испугал его, и в одну минуту грезы принца разлетелись. Некоторые из его окружавших думали, что он обязан не выдавать Водре, подговоренного им, и хоть для спасения Водре должен продолжать свое приключение, отважиться на отчаянное или хоть сколько-нибудь энергическое сопротивление полковнику. Но принц не сделал ничего такого. В числе принадлежностей его костюма была шпага, но он даже не пытался защищаться ею, когда подошедший Таландые сорвал с него ленту почетного легиона, потом сорвал с него эполеты, бросил на землю, топтал их ногами. Оборвав костюм с принца, его посадили под караул. Его нарядившиеся спутники, представлявшие собою императорскую свиту, подверглись той же судьбе, как их предводитель.

Прежде чем судить о поведении принца в эти минуты, надобно по справедливости признать, что когда раз уже не было предотвращено появление полковника на дворе казарм, опасность сопротивления была велика, настолько велика, что, точно, могла смутить всякого, не отличающегося мужеством. Надобно также признать, что, по собственной фантазии поставив себя в такое положение, принц доказал, что обладает значительною отвагою известного рода: несправедливо было бы назвать без всяких оговорок боязливым того человека, который добровольно идет в такую опасность; справедливее сказать, что это человек с трусливою отвагой. Он был не властен над своею натурою, а его натура была: быть авантюристом до минуты опасности, но резко отрезвляться и потрясаться действительным столкновением с опасностью, совершенно терять присутствие духа от этого, оставаться без желания продолжать свою роль отчаянного смельчака; это объясняется легко: его отвага вся проистекала из театральничанья и тщеславия, а эти страсти имели силу доводить его до края пропасти, но не имели столько силы, чтобы удержать его от натуральной дрожи при наступлении риска быть убитым тут же на месте. Сознывая, что по шляпе, сюртуку и сапогам он совершенно император Наполеон, он воображал, что великий парад встречания, деланного победоносному вождю войсками в 1815 году¹⁵, очень может быть повторен им и французскими солдатами в 1836 году; но, очевидным образом, это мнение овладело им не оттого, что он сошел в самом деле с ума, а только оттого, что слишком поддался своей господствующей

наклонности; и вот, когда ему сказали «нет, остановись же», он не рванулся вперед, как сумасброд, на продолжение своего приключения; он не попытался даже и попробовать хорошенько, существует ли в самом деле в солдатах бонапартистское расположение, на котором он устраивал свой проект, — нет, как только столкнулся он с действительностью, он замер на месте, мгновенно остыл, стал рассудителен, безвреден, послушен и сдался (как всегда делал) во власть первому отважному человеку, который дотронулся до него пальцем. Это превращение, подобное тому мнимому диву, которое мы видим, когда истерическая девушка, увлекаемая странными галлюцинациями, исполненная, по видимому, страшной, сумасбродной силы, мгновенно излечивается и успокаивается от резкого угрожающего слова «перестать». Получив несколько денег (очень немного, всего 15 000 франков) от государя, которого хотел низвергнуть, принц был отправлен в Америку добродушным королем французов*.

Но если у него не было качества, нужного на то, чтобы пройти до конца по дороге авантюристского предприятия, его владывающая страсть имела столько силы, чтобы заставить его повторить опыт. Французская армия уже знала теперь вся, что у него нет храбрости, нужной для такого дела, имя его стало смешным, потому он не мог соблазнить своим планом ни одного офицера чином выше поручика. Однако он не отстал от своей идеи: скоро он опять задумал разыграть новое «возвращение с Эльбы», но уже в новых костюмах, с новыми декорациями. Пока он готовил поддельные флаги и поддельных солдат, — мундиры для его сообщников были сшиты по образцу 42-го полка, квартировавшего в Булони, и пуговицы с этим номером были заказаны в Бирмингеме, — пока он подделывал мундиры, пуговицы и учил несчастного орла играть роль императорской птицы, предвещательницы успеха, он занимался делом, в котором был искусник; мастер он был также в сочинении прокламаций и плебисцитов, составлявших значительную долю груза, с которым он поехал через море во Францию; но он должен был знать, что если ему удастся пробраться, куда он задумал, то ведь он увидит себя поутру на дворе Булонских казарм, окруженного толпою вооруженных спутников, поддерживаемого одним из офицеров гарнизона, обещавшимся помогать ему; но что тут же будет стоять толпа солдат, из которых одни вздумают быть за него, другие — против него, третьи не будут знать, что им делать. Так и случилось. Он устроил дело так ловко и счастливо, что куда он хотел притти, туда и пришел, — и вот он стоял, наконец, в том самом положении, в которое заботливо проложил себе дорогу. Но тут его характер выдал его. Он взволновался, растерялся, — так он сам сказал потом пред пала-

* Луи-Филиппом. — Ред.

тою пэров: «я был в таком волнении, что без всякого моего намерения пистолет мой выстрелил и ранил солдата, который был не против меня», — его мысли не сладили с опасностью, смешались, в нем не было ни пылкости, ни удалства, которые делают людей воинственными в критические минуты, и натурально, что он не годился управлять разгоряченными солдатами. Потому, когда, наконец, успел ворваться на двор казармы твердый, сердитый офицер, подполковник Пюижелье, он почти в один миг уничтожил принца силою более твердого характера и выгнал его на улицу со всеми его 50 вооруженными спутниками и с знаменем, и с деревянным орлом на знамени, и с поддельным императорским штабом, будто погнал труппу бродячих актеров. Но через несколько недель тот же самый принц Луи-Наполеон держал себя перед палатою пэров с достоинством и с благородною заботливостью о спасении своих соучастников; тут положение было по силам ему, потому что он имел досуг обдумывать, как ему надобно говорить и поступать.

Натурально, что при таком характере он имел склонность долго медлить на первых фазисах заговоров; но так как он по рождению и честолюбию заявил себя свету претендентом на французский престол, то за него неотступно схватились несколько человек других авантюристов, людей действительно отважных, решившихся делить его судьбу; и если по временам его личные желания и склоняли бы его на отдых или отсрочку, его отношения к этой горсти приверженцев не допускали того: его партизаны нуждались в деньгах, и надобно было постоянно пытаться.

В 1851 году все эти побуждения, вместе с оскорбительным чувством личного унижения и обманувшегося расчета, влекли президента на новый риск. Он издавна желал, чтобы изменена была конституция, но прежде все надеялся изменить ее при помощи и одобрении большинства или, по крайней мере, очень многих государственных людей и знаменитых генералов. Из того факта, что он желал их содействия своим планам, надобно, кажется, заключать, что сначала он не думал душить Францию положением на нее чисто азиатского деспотизма, а желал основать такую монархию, которую могли поддерживать люди с хорошою и громкою известностью. Но, во-первых, почти никто не считал его человеком таким ловким, каким он действительно был, а во-вторых, тогда он казался очень смешным. Потому из тысяч людей, искренно желавших, чтобы на место республики явилась власть диктатора, какого бы то ни было, лишь бы способного, почти никто не мог поверить, что президент республики годится быть таким человеком; по этой причине политические люди отвергали его предложение: он не нашел ни одного государственного человека, согласного помогать ему, ни одного гене-

рала, отвечающего на его настояния иначе, как словами: «я должен иметь приказание от военного министра».

Оттолкнутый всеми ими, он должен был бросить свой план преобразовать форму правительства при содействии хоть некоторых из главных государственных людей и генералов, заменить этот план замыслом совершенно иного рода и, наконец, попал в руки таких людей, как Персиньи, Морни и Флери¹⁶. Он стал придумывать свои умыслы с ними, и по случайности, довольно странной, характер и денежные нужды его сообщников дали энергию и определенный вид планам, которые без этой подталкивающей силы могли бы долго оставаться грезами. Президент был щедр на деньги для своих компаньонов, давал им все, сколько мог. Но конституция республики так успешно связала произвол в распоряжении казною, что президент не мог располагать никакими государственными деньгами, кроме суммы, даваемой ему законом. В своем упорном пристрастии к сильной административной власти составители конституции дали в распоряжение главы государства обширные средства опрокинуть всю их постройку, но распоряжения деньгами не дали ему; он при своей расточительности постоянно должен был перебиваться такими изворотами, как купец, не имеющий денег. Тесно было ему и в настоящем; а когда он думал о будущем, какому подвергается он по конституции, он видел, что ему вперед назначен день, когда он должен сойти с своего видного места в бедность и ничтожество. Быть может, он и рад был бы приобрести честными средствами то, что было нужно ему. В начале 1851 года он очень просил Законодательное собрание увеличить суммы, даваемые на его надобности. Ему отказали (12). После этого следовало ждать, что если б он сам и удержался от желания запустить руку в казну, то его сообщники, становясь с каждым днем нетерпеливее на добывание себе денег и с каждым днем практичнее в своих видах, скоро заставят своего предводителя действовать. Прежде сам президент предложил Собранию установить нечто вроде ценза, — это и было сделано законом 31 мая (13)¹⁷. Теперь он стал приверженцем вотираванья без ценза, противником закона 31 мая. Людям, занимавшимся политикою, уже одна эта перемена могла бы показать, каков характер замыслов, занимающих теперь президента; но он с самого начала до последней минуты не жалел слов, имевших целью успокоить подозрение; он пользовался этим средством очень усердно и искусно; с того самого часа, как он явился перед публикою в феврале 1848 года, он хватался за всякий случай беспрестанно повторять, что не имеет никаких замыслов против конституции. Речь, с которою он обратился к Собранию 13 ноября 1850 года, может служить одним из примеров этих торжественных и добровольных уверений. Он говорит в ней, что «считает великими преступниками людей, из-за личного самолюбия ком-

прометирующих ту — хоть и небольшую — долю безопасности, которая дается государству нынешнею конституциею; что если конституция эта заключает в себе недостатки и опасности, то Собрание имеет право обратить на них внимание нации», но что он лично, «связанный своею клятвою, удерживается в строгих границах, предписываемых ему этим актом». Далее он объявляет, что «первая обязанность властей — внушать нации уважение к закону своим примером неуклонной верности ему»; уверяет Собрание, что личную заботу свою имеет не о том, «кто будет управлять Франциею в 1852 году», по окончании срока власти, даваемого ему конституциею 1848 года, а о том, «чтобы переход этот, каков бы он ни был, совершился без волнения и потрясения», потому что, по его мнению, благороднейшая, достойнейшая человека с возвышенным умом цель — стремиться не к тому, чтобы продолжить свою власть, если имеет ее, а в том, чтобы нераздельно работать для укрепления на общую пользу тех принципов власти и нравственности, которые противодействуют страстям людей и непрочности законов.

Мы видим, что этот язык был искусно придуман для его цели: принц говорил, что человек, действующий против конституции, был бы злодей и дурак; что поэтому нельзя винить его в такой мысли; а если предположить, что он делал эти признания по доброй воле, а между тем уже решился сделать то, что сделал впоследствии, то он был бы виновен в обмане слишком черном; но если мы подумаем, какое широкое поле было в его уме для разноречащих планов, какая нерешительность была в его характере и как настоятельны были денежные надобности компаньонов, окружавших его, то мы, может быть, согласимся с более благорасположенным к нему взглядом тех, которые думают, что, когда он делал такие торжественные уверения, он действительно отступал перед мыслью об измене. И точно, его слова совершенно соответствовали тем, какими выражал бы существенную свою мысль испуганный человек, рассердившийся на голодных и смелых товарищей, толкающих его вперед, вздумавший держаться против них, не итти вперед.

Когда совершалось превращение республики в империю, внимание наблюдателя натуральным образом сосредоточивалось на том человеке, который уже был главою государства, а теперь садился на престол. Да и в самом деле кажется, что именно он сам исполнил ту часть дела, которую можно назвать литературною. Он был юристом своей котерии. Без всякого сомнения, он сам писал прокламации, плебисциты, конституции и всякие тому подобные вещи; но двигающая сила, которая вела заговор к развязке, давалась делу главным образом от графа Морни и отважного офицера майора Флери.

Морни был человек очень отважный и одаренный очень большою вкрадчивостью. Во время монархии он был членом

палаты депутатов; но он был более известен как спекулянт, чем как политический человек. Он занимался особенно тою частью биржевой игры, которая состоит в выпускании, покупке и перепродаже акций новоосновываемых компаний; некоторым из этих оборотов пришлось быть разъясненными посредством скандальных процессов, и часть его известности основывается именно на этих процессах. Он был мастер основывать «торговые компании» и теперь вздумал по тем же правилам основать спекуляцию, которая давала бы ему суммы, каких не давала ни одна прежняя спекуляция. Морни был человек практический. Принц Луи-Наполеон мог довольствоваться мечтательною жизнью в грезах о том сладком часе, когда благодарная Франция по собственному желанию вдруг вздумает поздравить его императором; Морни был не такой человек, чтобы праздно покоиться с ним грезами в голодной стране мечтаний.

Еще способнее заставить президента действовать, вести его до конца придуманного им замысла, твердой рукой провести его по этой дороге был майор Флери. Флери был еще молод летами, но пережил уже очень много всяких вещей. Он был сын негоцианта, получил в наследство после отца очень хорошую сумму денег, ринулся в парижские наслаждения с таким жаром, что скоро покончил свои средства продолжать этот период своей жизни. Но пока друзья его отца вздыхали раз по десяти в день о том, что «юноша прокутился», — юноша подходил к лестнице, по которой поднялся так, что распорядился по своему усмотрению судьбою могущественной нации. Он вступил в армию простым солдатом; но офицеры его полка нашли его таким прекрасным молодым человеком и так восхитились бодростью, с которою он выдерживал свою невзгоду, что их расположение скоро повело его по офицерским чинам, и, наконец, он был причислен к штабу президента, — кажется, потому, что был знаток в лошадях.

По своему темпераменту и по житейской опытности, произшедшей из этого темперамента, Флери очень любил деньги или те вещи, которые покупаются за деньги, и <был> не такой человек, чтобы не добиваться денег всеми силами. Он был отважен и решителен, и отвага его была такая, которая не робеет в критическую минуту. Если принц Луи-Наполеон был смел и изобретателен в придумывании, то Флери был человек действия. Принц был ловок на то, чтобы подвести мину и начинить ее, а Флери — храбрец, готовый стоять у мины с зажженным фитилем и приложить его к пороху как следует. Находись он подле Луи-Наполеона в Страсбурге или Булони, дело могло бы стоять голов очень многим и уж никак не обратилось бы в посмешище. Он и Луи-Наполеон дополняли друг друга, и, будучи вместе, они составляли чету с такими отличными способностями для произведения неожиданного взрыва, что, имея в своем распоряжении

все правительственные средства, очень могли обратить странную грезу в действительность. Кажется, что как только стал Флери соучастником секретных планов президента, президент потерял свободу воли, — а уж наверное можно сказать, что он не дешево разделался бы с Флери, если бы попытался остановиться.

Слова генералов, отвечавших президенту, что будут действовать не иначе, как по приказу военного министра, показали средство, к которому надобно прибегнуть, и Флери решил: найти какого-нибудь генерала, умеющего командовать, умеющего хранить тайну, готового на всякий риск, хорошенько выведать его, будет ли он расположен помогать делу, и, если окажется, что он готов согласиться, то посвятить его в тайну заговора и сделать военным министром, чтобы его подпись отдавала всю армию в распоряжение заговорщиков. Флери отправился в Алжирию искать агента этого сорта и имел удачу найти именно такого человека, какого желал: то был генерал, носивший тогда имя Ашилла (Ахилла) Сент-Арно, но эта фамилия была у него уже принятая по обстоятельствам, а настоящее его имя, давно брошенное им, было Жак-Арно ле Руа¹⁸. О некоторых из его подвигов мы расскажем после, когда будем говорить собственно уже о Крымской войне, где он хотел быть главным лицом. Здесь довольно будет сказать, что характер его прошедшего и настоящего оказался Флери ручающимся за то, что он согласится. Флери не ошибся: Сент-Арно был очень рад служить на все, и Флери, убедившись в этом, посвятил его в тайну. А когда она была вверена человеку, которого выбрал Флери, то принц Луи-Наполеон и остальные соумышленники уже и не могли отступить от задуманного; денежные надобности господина Сент-Арно, урожденного Арно ле Руа, были не так скромны, чтобы могли удовлетвориться суммами, какие возможно было ему получать при сохранении законов; а поссориться с подобным господином, посвященным в тайну заговора, было бы очевидною гибелью для всех заговорщиков. Он был сделан военным министром 27 октября.

В тот же самый день был назначен префектом полиции господин Мопа, или де Мопа¹⁹. Прежде этот господин был префектом департамента Верхней Гаронны. Друзья его говорят, будто у него было состояние и будто он никогда не пользовался бесчестными источниками дохода. Но в июне месяце он, между прочим, захотел поусердствовать президенту тем, чтобы арестовать в своем департаменте более двадцати* человек за выдуманный им же самим заговор. Судебные власти департамента не дозволили ему сделать этого, потому что не было никаких оснований для обвинения этих лиц. Мопа, или де Мопа, предложил заменить недостаток обвинений стратагемою: тайком подложить

* У Кинглека тридцать два. — Ред.

поддельные бумаги, оружие и гранаты в квартиры лиц, которых ему хотелось арестовать. Натурально, судебные начальства ужаснулись такого предложения и донесли о нем министру юстиции. Министр внутренних дел Леон Фоше вытребовал своего подчиненного в Париж, высказал ему такое негодование и презрение, что Мопа вышел из приемной начальника вздыхая; люди, знавшие, в чем состояли слова министра, считали Мопу погибшим навек; но он пошел и рассказал свою скорбь президенту. Президент, разумеется, тотчас же увидел, что это человек, пригодный служить делу. — Мопа был посвящен в заговор и назначен префектом полиции (главным полицейским начальником Парижа).

Персиньи, урожденный Фиален, также был одним из заговорщиков. Причину, по которой он переменял фамилию, он сам объяснил так во время своего процесса в 1840 году: по матери он был из хорошего семейства; отцовская фамилия ему не нравилась, и он назвал себя фамилиею деда своей матери. Свою карьеру начал он в звании унтер-офицера: «служить» было его «влечение», по его собственному выражению, потому он и «служил» — сначала легитимистам; но случай свел его с принцем Луи-Наполеоном, он скоро сделался преданным другом принца, сотоварищем всех его замыслов и приключений. Если Морни вошел в компанию с президентом просто как в денежную спекуляцию, то Персиньи мог сказать по полной справедливости, что дело принца Луи Бонапарте издавна стало его убеждением и что он даже старался, насколько можно было, возвысить это дело до значения политического принципа. Но роль, вверенная Персиньи во время переворота 2 декабря, была не эффектна, если и была важна. Сообщники Луи-Наполеона не полагались на его твердость, ожидали, что он растеряется; Персиньи, человек твердой души, не поддающийся унынию, обязался находиться безотлучно в *Elysée* *, где жил президент, чтобы получать в свои руки известия о ходе дела во все продолжение опасности и не допускать до президента ничего из этих известий в таком виде, который мог бы убить его бодрость. Так рассказывают; так ли было, или нет, но Персиньи не был в числе действующих исполнителей заговора: поэтому на нем и не лежит таких пятен, как на Морни, Флери, Мопе и Сент-Арно, урожденном ле Руа.

Необходимо было принять меры, чтобы парализовать парижскую национальную гвардию; а комендантом ее был генерал Перро, человек неподкупной честности. Вдруг дать ему отставку значило бы возбудить подозрение. Придумали такое средство: начальником штаба к нему назначили некоторого господина, по фамилии Виэйру. Прошлая жизнь и настоящая репутация Виэйры были таковы, что генерал Перро почел обидою себе его

* Елисейский дворец. — Ред.

назначение и подал в отставку. Именно того и желала элизейская братия *. 30 октября комендантом национальной гвардии был назначен генерал Лавустин, человек, бывавший в великих битвах прошлых войн, но теперь, при седых волосах своих, не постыдившийся принять роль, предложенную ему: он назначался затем, чтобы не дать собраться и действовать национальной гвардии. Открыв эту частицу своих мыслей Виэyre и Лавустину, заговорщики не нашли нужным вполне посвящать их в тайну заговора: роль обоих состояла только в том, чтобы не делать и не допускать никаких распоряжений для созвания национальной гвардии и запретить ее барабанщикам бить сбор.

Главною машиною, на которую возлагала свою надежду элизейская братия, была, конечно, армия. Горькое воспоминание о прошлых унижительных неудачах в битвах с парижским народом раздражало солдат против него. Кроме того, в Законодательном собрании шли тогда прения, возбуждавшие в солдатах большое неудовольствие на всех не-военных, а в особенности на парижан, на депутатов, на политических людей всех партий. Некоторые депутаты предусматривали, что армия может стать обращена против Законодательного собрания; они предложили собранию принять против этого меру, на которую оно имело право по конституции: назначить какую найдет нужным часть войска на охранение свободы своих совещаний и отдать этот корпус под начальство командира, которого само выберет. Армия обижалась этим. Во Франции военный министр издавна был генерал, и армия привыкла считать его приказы будто бы приказами, отдаваемыми им по званию главнокомандующего войсками, хотя они выходили от него как от члена гражданского правительства: солдаты не понимали, что они в сущности всегда были подчинены гражданской власти. Теперь им растолковали, что Собрание хочет подчинить их гражданской власти, отдать под начальство «какому-нибудь адвокату». Понятый в этом смысле проект о назначении командира для части войск прямою властью Законодательного собрания так раздражил войска, что, если б он был принят, вероятно, произошел бы бунт. Он был отвергнут; но досада не всегда исчезает с устранением повода к ней, и раздражение, возбужденное в армии прениями о нем, так ловко поддерживалось искусственными средствами, что парижский гарнизон стал смотреть на народ решительно враждебными глазами (14).

Заговорщики стали сводить в Париж и его окрестности такие полки, в содействии которых наиболее были уверены; командирами этих войск назначали генералов, в бесцеремонности которых с совестью были наиболее убеждены. Главнокомандующим в Париже и его окрестностях был Маньян ²⁰. Во время булон-

* Участники заговора Луи-Наполеона против республики. — Ред.

ской экспедиции Луи-Наполеона Маньян имел несчастье казаться принцу таким человеком, которого можно купить за 100 000 франков. Потом он имел несчастье быть уличенным в том, что продолжал сношения с офицером, взявшимся тогда предложить ему эту плату. Маньян не скрывал своей готовности сделать все, что угодно, и элизейская братия, кажется, желала вполне посвятить его в свои секреты; но его панегирист, Гранье де Кассаньяк ²¹, — быть может, и не понимая, как отлично рекомендует его такими уверениями, — уверяет, что Маньян, хоть и вполне готовый действовать против Парижа и Законодательного собрания, не хотел подвергать себя опасности открытым участием в заговоре: «он справедливо потребовал, — возвещает Гранье де Кассаньяк, — чтобы ему ничего не сообщали до той минуты, когда надобно будет давать приказания войскам и садиться на лошадь». То есть, он был готов обратить своих солдат на низвержение конституции, на произведение резни, какая понадобится для этого, но не захотел лишить себя ограждения от ответственности за то приказом военного министра; имея приказ, он в случае неудачи заговора мог бы сказать: «Я не хотел участвовать ни в каком умысле. Обязанность солдата — повиноваться. Вот приказ, полученный мною от генерала Сент-Арно. Я только повиновался моему начальнику».

Но 27 ноября этот Маньян собрал у себя двадцать человек подчиненных ему генералов и косвенными словами сообщил им, что скоро, быть может, им сделан будет призыв действовать против Парижа и против конституции. Они обещали усердное и полное повиновение, и хоть каждый из них, начиная с самого Маньяна, знал, что будет приятно огражден от ответственности приказом начальника, но все они воображали, что являются героями, — так надобно заключать из слов их панегириста Кассаньяка, с гордостью рассказывающего, что, заключив между собою эту великодушную сделку на истребление парижан, они торжественно обнялись.

Довольно часто войска были угощаемы обедами с вином и льстивыми словами, а их раздражение на не-военных было так искусно поддерживаемо, что солдаты, привычные к алжирской войне, были доведены до расположения говорить «бедуины» вместо «парижане», — уж в этом прозвище слышалась резня. Парижская армия была теперь в таком настроении духа, какое нужно было заговорщикам.

Им необходима была помощь Сен-Жоржа, управляющего государственною типографией, где печатались официальные акты. Он дался на их подкуп. Тогда все было готово.

В ночь с 1 на 2 декабря у президента был, по обыкновению, вечер, — у него по понедельникам бывали вечера. Министры, ничего не знавшие о заговоре, были тут вместе с заговорщиками. Тут же был и Виэра. Президент переговорил с ним; он обе-

ждал, что не будет барабанного боя для сбора национальной гвардии, что бы ни случилось в ту ночь, уехал и исполнил свою скромную роль; для безопасности он, как рассказывают, велел прорезать кожу на барабанах. В обыкновенное время гости начали разъезжаться, и в 11 часов оставалось у президента только трое гостей: Морни (озаботившийся перед тем побывать в театре, чтобы видели, что у него нет никакого дела), Мопа и Сент-Арно, урожденный ле Руа. Кроме того, был тут дежурный адъютант президента полковник Бевиль, также участник заговора. Персиньи, кажется, не было. Морни, Мопа и Сент-Арно ушли с президентом в его кабинет; полковник Бевиль также пришел к ним. Мокар, домашний секретарь президента, также соумышленник заговорщиков, кажется, не был тут в кабинете; кажется, что не было тут и Флери, — вероятно не было потому, что он разъезжал по генералам, воодушевляя их. Прежде было уже решено сделать дело той ночью; лица, бывшие в кабинете, стали рассуждать о принятом решении, но без Флери не могли ничего рассудить: если мнительность и говорила им «не лучше ли остановиться», то ведь они знали, что Флери, стремительный и решительный, уже делает теперь, быть может, безвозвратный шаг. Через несколько времени они получили известие, что приказ собраться и выехать из казарм уже дан жандармскому батальону и уже исполнен так, что никто из посторонних ничего не заметил. Кто сделал этот решительный шаг и кто привез в Элизейский дворец это решительное известие о нем, положительно мы еще не знаем, но, по всем соображениям, именно Флери. Вероятно, он же, когда пришел с этим известием в кабинет и доказал остальным, что теперь, после меры, принятой им, уж поздно останавливаться. Так мы должны заключать по соображению; а известно пока то, что когда вошел в кабинет Флери, то заговорщики принялись за исполнение дела. Президент дал полковнику Бевиллю пакет с бумагами и послал его в государственную типографию печатать их.

Жандармский батальон был двинут также именно к этой типографии. Париж спал; батальон спокойно выехал из своих казарм, проехал к типографии, окружил ее. Наборщики, еще работавшие в ней, были будто взяты в плен: до окончания дела жандармы не выпустили ни одного из них. Несколько времени наборщики ждали, не зная, для какой работы их задержали, но вот явился Бевиль с своим пакетом, — в пакете были прокламации, которые следовало напечатать к утру; Сен-Жорж, управляющий типографии, приказал набирать их. Говорят, что наборщики хотели не послушаться, но — хотели или не хотели — были заставлены работать. Подле каждого наборщика стали два жандарма, один справа, другой слева; набираемые документы были для скорости набора разрезаны на небольшие куски, так что никто из наборщиков и не мог видеть полного смысла набирае-

мых им строк. В прокламациях этих президент говорил, что Законодательное собрание — гнездо заговоров; объявляя его распущенным; восстанавливал право выборов без всякого ценза; предлагал новую конституцию; снова клялся, что его обязанность — сохранить республику; объявлял Париж и двенадцать соседних департаментов находящимися на военном положении. Одна из прокламаций была обращена к войску; в ней он раздражал злобу солдат на не-военных напоминанием о поражениях войска в 1830 и 1848 годах²².

Президент написал письма, которыми увольнял своих министров, не участвовавших в заговоре; но эти письма были отправлены к ним уже только поутру; подписал также бумагу, назначавшую Морни министром внутренних дел.

Была поздняя ночь. Заговорщики уже приняли важные меры; после этих мер останавливаться было уже очень опасно, но все еще не было совершенной невозможности остановиться. Они еще могли разорвать письма, дававшие отставку министрам. — Они не могли надеяться, чтобы не разнеслись по городу известия об их замысле, когда наборщики будут выпущены из плена; но наборщики сами не знали в точности значения прокламаций, которые набирали; еще можно было утаить текст, даже замаскировать характер прокламаций; но вслед за тем были сделаны шаги уже безвозвратные.

Перед тем, как они были сделаны, пока еще можно было вернуться, бодрость изменила, как рассказывают, некоторым из элизейской братии; они упали духом, а один из них даже и сказал, что не решается идти дальше. Но Флери, как рассказывают, повел этого человека одного с собою в соседнюю комнату, запер дверь, вынул пистолет, стал перед струсившим товарищем и сказал, что сию же минуту застрелит его, если он будет колебаться. Я употребляю здесь выражение «говорят», но я могу сказать, что верность этого рассказа признана одним из двух лиц, между которыми происходила эта сцена наедине.

Но почему бы то ни было, по бодрости ли духа, или по страху, заговорщики продолжали свое полночное дело. Приказ военного министра Маньяну был подписан в самое глубокое время ночи, вероятно, в половине третьего, потому что в три часа он был уже в руках Маньяна.

Около того же часа ночи Мопэ послал нескольким полицейским приказание немедленно явиться к нему в префектуру, чтобы получить от него распоряжения относительно иностранных эмигрантов, прибытия которых в Париж будто бы надобно ожидать по доставленным ему сведениям. В половине четвертого комиссары собрались в префектуру. Мопэ призывал к себе в кабинет каждого из них поодиночке и каждому давал особое поручение, так что они ничего не знали друг о друге, кто, куда и зачем отправляется. Это был первый момент того

периода дела, что тайна выходила за границы тесного кружка нескольких лиц в руки большего числа второстепенных агентов. В течение нескольких часов той ночи каждый из этих мелких полицейских чиновников держал в своих руках судьбу Франции: от него зависело исполнить приказание префекта, отдававшее страну во власть элизейской братии, или, повинаясь закону, обнаружить заговор и тем повести заговорщиков под суд. Распоряжение Мопы состояло в том, что он послал комиссаров арестовать знаменитейших генералов и важнейших государственных людей Франции — всех в одну и ту же назначенную минуту; для одновременности арестования каждому комиссару было поручено сделать только один арест: каждому было велено взять отряд полицейских и с ним подойти к дверям квартиры указанного ему для ареста лица несколько пораньше назначенного времени, но ждать до четверти седьмого и ровно в четверть седьмого, не раньше и не позже, произвести арест.

В шесть часов бригада пехоты, под командою Форе, уже стояла на Quai d'Orsay; другая, под командою Дюлака, в Тюильрийском саду; третья, под командою Котта, на Place de la Concorde*, четвертая, под командою Канробера, вместе с целою дивизиею кавалерии, под командою Ребелля — около Элизе²³. Из того, что войска были поставлены именно на этих пунктах, надобно заключать, что главною заботою заговорщиков было в это время еще не устрашение Парижа, — этою заботою можно было еще повременить, — город не мог подняться так рано, — потому многие важнейшие части его и оставались еще не заняты войсками, теперь пока войска имели назначением поддерживать, в случае надобности, комиссаров, разосланных для арестования, — три первые бригады занимали те пункты, по соседству которых были расположены квартиры арестуемых лиц, — и ограждать безопасность элизейской братии и прикрывать ее бегство из Парижа в случае неудачи дела; для этого стояли у Элизе Канробер с пехотою и Ребелль с кавалериею.

Распоряжение Мопы было исполнено аккуратно и успешно; ровно в четверть седьмого — по тогдашнему времени года это было еще до рассвета — каждый комиссар вошел в назначенную ему дверь. В одну и ту же минуту комиссары арестовали знаменитейших генералов Франции: генерал Шангарнье (главный генерал крайних монархистов), генерал Бедо, генерал Ламорисьер (тогда главный генерал либеральной части монархистов, готовый на союз с республиканцами в случае серьезной опасности, — которой еще не ждали, — со стороны президента), генерал Кавеньяк (главный генерал умеренных республиканцев), генерал Леффло были подняты с постелей и препровожа-

* Площадь Согласия. — Ред.

дены через спящий город в тюрьму. В ту же минуту то же было сделано с главными лицами, заведующими порядком заседаний Законодательного собрания, со многими главнейшими или опаснейшими по твердости характера депутатами; в числе других были арестованы Тьер, Мио (демократ), полковник Шаррас (едва ли не даровитейший из всех политических военных людей нынешней Франции — один из немногих депутатов, совершенно ясно понимавших положение дел, как уже было замечено выше, ждавший подобной катастрофы, предлагавший простое, легкое средство устранить ее, но не успевший убедить ни массу своих собратьев республиканцев, ни массу монархистов, одинаково бывших слепыми, а сам не имевший возможности принять команду, потому что был только полковник) *, многие другие демократы; были арестованы и те не бывшие депутатами лица, которые считались главными людьми тайных обществ. Общей целью этих ночных арестов было то, чтобы, когда город проснется поутру, армия увидела себя без генералов, стоящих за закон, Законодательное собрание — без людей, на которых лежала обязанность созвать его, все политические партии остались бы парализованы отсутствием своих предводителей. Число всех лиц, арестованных в четверть седьмого ночью с 1 на 2 декабря, было 78 человек; 18 из них были депутаты ²⁴.

Было еще темно, когда Морни с отрядом пехоты приехал в министерство внутренних дел, занял его и взял в свои руки рукоятку того французского административного механизма, благодаря которому человек, сидящий на этом месте, распоряжается всею нацией. Морни сел за этот стол и уже диктовал по телеграфу во все департаменты о том, с каким энтузиазмом Париж принял новые распоряжения, а Париж еще спал, и о новых распоряжениях еще никто не знал.

Когда стало светать, парижане увидели на стенах прокламации президента и постепенно узнали, что в эту ночь арестовано множество знаменитейших людей Франции, что все генералы, на помощь которых могли бы рассчитывать друзья закона и порядка, брошены в тюрьмы. Город узнавал об арестах, как мы сказали, постепенно и очень медленно. Газеты, за которые привыкли люди хвататься, чтобы узнать факты, узнать правду о том, что думают делать другие, все были захвачены и остановлены в типографиях.

Двери Законодательного собрания были заперты; перед ними стояли солдаты. Но депутаты, начавшие сходитьсь на заседание, нашли средство войти в зал собрания через квартиру одного из сановников Законодательного собрания, находившую-

* Взятое в скобки — вставка Н. Г. Чернышевского в текст Кинг-леса. — Ред.

ся в том же здании. Их собралось уже очень много, некоторые из них успели отыскать Дюпена²⁵, своего президента; он было не хотел идти в заседание (15), но они заставили его идти в зал и сесть на его председательское место, когда вломился в зал отряд солдат и вытеснил из него депутатов, нанося удары прикладами. В то же самое время отряд легкой кавалерии с наглыми обидами разогнал других депутатов, толпившихся у боковых дверей зала. Двенадцать человек из числа разгоняемых депутатов были арестованы и отправлены в тюрьму.

Между тем (все поутру 2 декабря) президент, сопровождаемый своим дядею принцем Иеронимом и графом Флаго²⁶, который, кажется, до некоторой степени знал о замысле раньше, с множеством генералов, многочисленным штабом проехал по некоторым из главных улиц. Кажется, что по своей театральной мании он ждал от этого кавалькадирования решительного торжества своему делу, — и точно, непопулярность Законодательного собрания (16), внезапность и ловкость удара, нанесенного в ту ночь, давали надежду на успех. Но президент ошибся: он не сообразил, какими глазами все еще продолжал смотреть на его личные претензии насмешливый парижский народ. Минута, когда парижане перестали смеяться над ним, была уже очень близка, но еще не пришла. Да он и не сделал того, что нужно было для получения аплодисментов, — не поехал хоть сколько-нибудь на риск: он ехал по тем улицам и частям набережной, где стояли войска, подле самых солдат. Прием, сделанный ему на улицах парижанами, был ни расположенный, ни враждебный, а леденящий, спокойный и презрительный.

Встретив такое фиаско, президент упал духом. Опять, хоть не так безнадежно, как в Страсбурге и Булони, он был ошеломлен столкновением с действительностью. И не удивительно было, что он смутился и оробел: по своей старой склонности, он сочинил и назначил разыграть в этот день большой спектакль императорской встречи его — в роли аустерлицкого победителя — французского нациию. Когда, вышедши из комнаты, где все это было сочинено и снабжено декорациями, он поехал по улицам, — он ехал, ехал и с каждой минутой, с каждым шагом все яснее видел, что Париж слишком занят серьезными делами, слишком солиден и полон презрения к фокуснику, чтобы приветствовать его императором. Вещь в самом деле замечательная: парижское население было так надменно перед ним или так мало хотело думать о нем, что не порадовало его даже тем, чтобы смотреть на него хоть с любопытством, которого, казалось бы, заслуживал он после проделки, устроенной тою ночью. Как же это, даже и не смотрят на него? ведь это он, император, теперь уж с настоящею генеральскою свитою, на настоящих лошадях, в неподдельных мундирах — и день светлый, можно бы видеть его. Да, на него светило настоящее, не сче-

ническое солнце, но декабрьское, на котором замерзнешь. Принц Луи-Наполеон поехал домой и больше не высывал носа в публику.

Он безвыходно сидел в Элизе, почти все один, в запертой комнате, — сообщники не могли никого допускать к растерявшемуся своему представителю. Воротившись с своей поездки, он, даже забыв снять свои регалии, сел в кабинете спиной к окну, лицом к камину, повесив голову, и сидел, сидел много, много часов, опершись локтями на колени, закрыв лицо руками.

Так рассказывают; а как бы то ни было, положительный факт то, что в это время опасности сообщники его не допускали до него никого, не допускали до него и никаких известий, кроме тех, какие передавали ему сами. Сам ли он инстинктивно пожелал, или его сотоварищи и без его просьбы рассудили, что он губит их своим унынием, — но его устранили, оградил от всяких тревожных известий и стерегли; рассудили, что нельзя допускать до его ушей ничего, кроме того, что найдут удобным сказать ему Персиньи или Флери; рассудили, что невозможно допустить его увидеть какого-нибудь адъютанта, прискакавшего от Сент-Арно, или Маньяна, или какого-нибудь комиссара, приехавшего от Мопы с известиями, которыми расстраивался даже сам Мопы.

Выгнанные из своего зала депутаты собрались в мэрстве (mairie) 10-го округа (17). Там, по предложению знаменитого Беррье (предводителя либерального отдела легитимистов или умеренных легитимистов)²⁷, собрание вотировало, что действия Луи-Наполеона лишают его президентского сана (18) и постановило, что члены Верховного суда должны собраться и приступить к суду над президентом и его сообщниками. Только что были вотированы эти решения, как на двор мэрства пришел батальон венсенских стрелков и двинулся в зал. Один из вице-президентов собрания вышел навстречу солдатам на лестницу и сказал: «Остановитесь, предоставьте свободу Собранию». Офицер, к которому прямо относились эти слова, понял опасность поручения, данного ему, и отвечал: «Я не больше, как исполнитель, — пойду спросить нового приказа у своего командира».

А между тем подошли еще несколько батальонов бригады Форе, вместе с самим Форе, и окружили мэрство. Венсенским стрелкам было скомандовано: «заряжай». К дверям зала подошли два полицейские комиссара, — объявили, что им приказано очистить зал, просили Собрание не противиться этому. Депутаты отказались уступить. Пришел третий комиссар, стал говорить более повелительным языком, но также поколебался, когда ему объявили противозаконность исполнения им поручения. Наконец приехал адъютант Маньяна с письменным приказом командиру батальона очистить зал, если понадобится,

то и силою, и отвести в Мазасскую тюрьму всех депутатов, которые будут противиться. Язык этого приказа свидетельствует, как малодушно прикрывался Маньян обязанностью повиноваться военному министру: он не забыл прибавить снова, что делает свое распоряжение «вследствие приказаний военного министра». В зале было тогда 220 депутатов; все они объявили, что не хотят удалиться и уступят только силе. Президента, Дюпена, тут не было, потому председательствовал старший вице-президент, Бенуа д'Ази, полицейские взяли за руки его и другого вице-президента и повели из зала. Все депутаты пошли за ними и, между двумя рядами солдат, пошли по улицам за своими вице-президентами; пленное Собрание шло через Rue de Grenelle, Rue St.-Guillaume, Rue Neuve de l'Université, Rue de Beaune и, наконец, было приведено на Quai d'Orsay. В их лице Франция шла пленная по улицам своей столицы; такое зрелище было грустно смотревшим на него парижанам, но грусть этих зрителей была похожа на чувство, с каким люди, проходя мимо какой-нибудь неприятной уличной сцены, жалеют, что никто не приходит прекратить ее, а сами идут мимо. Депутаты, собиравшиеся в мэрство, слишком надеясь на силу закона (19), позабыли или не захотели позаботиться, чтобы собралось большое стечение народа по соседству зала, в котором они заседали; зрители этого конца свободных учреждений не были многочисленны, — это были только люди, случайно проходившие мимо. Не было между ними бури негодования. В злой час республиканцы приняли закон, чтобы представители народа получали жалованье; это узаконение подорвало кредит Собрания, потому что уничтожало мнение о бескорыстии, которым облагораживается парламент в глазах свободного народа. Парижские работники, храбрые и воинственные, но не простяки и отчасти люди завистливые, сравнивали свою поденную плату с платою депутатам и не находили оснований становиться за людей, которые служат патриотами по найму за 25 франков в день (20). Но уже по своему развитому чувству, тонко замечавшему разницу между пристойным и непристойным, парижский простолудин был расположен оскорбляться сценою, которую теперь видел. Он раздумывал, как ему поступить при этом зрелище, которое выводило Францию из ряда свободных государств. А между тем отворились ворота казармы d'Orsay, депутаты были введены на ее двор, и ворота опять затворились.

Было еще только два часа дня. Нужно было дождаться темноты, чтобы сделать то, что хотели дальше сделать с этими пленными. В половине пятого три депутата пришли к казарме и потребовали, чтобы их также отвели к прежним пленным. В половине девятого вечером были приведены в казарму 12 депутатов, взятых солдатами у дворца Законодательного собрания. Таким образом, теперь было в казарме 232 депутата.

В три четверти десятого въехало на двор казармы множество закрытых фур без окон, — тех фур, в которых возят преступников; все депутаты были брошены в них и были отвезены, одни — в Валерьевский форт, другие — в Венсенский форт, третьи — в Мазасскую тюрьму. Таким образом, к рассвету 3 декабря все знаменитые люди Законодательного собрания и все лучшие генералы Франции были в тюрьмах: кроме Шангарнье, Бедо, Ламорисьера, Кавеньяка и Лефло, кроме Тьера, полковника Шарраса, Мио, арестованных прошлой ночью, теперь сидели в плену еще 232 депутата, в том числе люди знаменитые: Беррье (предводитель либеральных легитимистов)*, Одилон Барро (предводитель либеральных орлеанистов)*, Гюстав де Бомон, Бенуа д'Ази, герцог Брольи, адмирал Сесиль, Шамбоаль, де Корсаль, Дюфор, Дювержье де Горани, де Фаллу, генерал Лористон, Ланжюине, герцог де Люин, герцог Монтебелло, генерал Раду Лафосс, генерал Удино, Ремюза, Токвилль. В числе этих 232 человек находилось 12 человек бывших министров, в том числе 9 человек, бывших министрами во время президентства Луи-Наполеона. Таковы были люди, брошенные в тюрьму; а бросавшие их были: принц Луи Бонапарте, Морни, Мопа, Сент-Арно, урожденный ле Руа, действовавшие по совету и согласию Фиалена де Персиньи, под понуждением от Флери. Правда, что этим людям помогала армия; но мы видели, что Маньян, командовавший ею, прятался под приказ военного министра, и если бы был предан суду в случае неудачи, то, без сомнения, стал бы доказывать, что был только орудием, а не самостоятельным лицом, когда делал все то, что делал.

По конституции 1848 года, преступления против нее подвергались преследованию Верховного суда, особенно учрежденного только для этих дел. Он собрался; отряд солдат вошел в зал, судьи были согнаны с своих мест. Но прежде чем солдаты вошли, они успели составить формальный акт о том, что начинают процесс против «бывшего президента», и, сходя с своих мест, объявили, что только «отсрочивают продолжение заседания до дня, который будет определен ими по усмотрению», и приказали отнести к «бывшему президенту» формальную повестку о том, что он предан суду.

Уже издавна храбрые парижане привыкли встречать беззаконие вооруженным сопротивлением. Но теперь было много причин, заставлявших парижский народ находить, что в настоящую минуту было бы неблагоприятно обращаться к оружию. События 1848 года наполнили людей ужасом, внушили им ненависть к социализму (21). Люди, испытывавшие, что значит целые месяцы и годы трепетать за свою жизнь и собственность, были доведены этим до такого унылого состояния, что готовы были

* Взятое в скобки — пояснения Н. Г. Чернышевского. — Ред.

стать за всякое правительство, хоть бы и незаконное, против всякого восстания, хотя бы и законного (22). Надобно прибавить, что чувство пренебрежения к президенту не исчезло тотчас же после переворота, сделанного в ночь с 1 на 2 декабря: мы увидим, что оно было уничтожено бойнею 4 декабря; но до вечера 4 декабря самая эксцентричность дела так напоминала собою страбургский фарс и нелепую сцену в Булони, что в продолжение целых 54 часов после рассвета 2 декабря негодование публики ослаблялось чувством, что все это дело — не более как смешно. Все презрительно повторяли: «Сулук! Сулук!»²⁸ — да, Луи-Наполеон казался Парижу похож на негра, провозгласившего себя императором и разыгрывавшего из себя пародию на Наполеона I, а многим казалось, что подражание 18-му Брюмера, сочиненное президентом теперь, точно такая же кукольная комедия, как его прежние подражания возвращению с Эльбы. Разница была очень видна всякому: на этот раз труппа принца состояла не из нескольких десятков людей в поддельных мундирах, с поддельными знаменами, — он распоряжался для своего спектакля всеми средствами могущественнейшего гражданского и военного административного механизма в целом свете; но все-таки господствовала мысль, что он спотыкается, быстро сам летит с ног, скоро будет в необходимости спастись и подвергнется наказанию. Кроме этого чувства, бездействие объясняется и тем, что заговорщики успели парализовать национальную гвардию, что масса работников не видела ничего противного своим интересам в деле 2 декабря. Уничтожение ценза и немедленное предоставление народу права избрать диктатора для Франции (23) были приманками, которыми обольстилось много честных легковверных сердец между парижскими работниками; а менее благородные, доступные чувству зависти, с удовольствием смотрели на проделку, посредством которой люди, подобные Ламорисьеру, Бедо, Кавеньяку, подобные де Люину, Токвиллю, герцогу Брольи, были запрыганы в полицейские фуры для мошенников, были развезены в них по тюрьмам персонами, подобными Морни, Мопе и Сент-Арно, урожденному Ле Руа (24). По всему этому не было достаточного материала на то, чтобы немедленно формировались силы для вооруженного восстания. Богатый и средний классы негодовали, но ужасались мысли о восстании; бедному классу она была менее страшна, но в нем не было негодования. Кроме того, — вещь известная, — в парижском населении тогда и не было настоящей боевой силы. Оно всегда изобиловало воинственными и отважными людьми, для которых бой сам по себе наслаждение; но тогда эта часть французского народа еще не существовала, не успела возродиться после уничтожения результатом великой битвы июньских дней 1848 (года), арестами, эмиграцией, ссылками, следовавшими за поражением инсургентов. Люди баррикад были тогда лишены

оружия, лишены своих предводителей и истреблены до такой степени, что немногие уцелевшие были слишком малочисленны для серьезной борьбы; их беспомощность еще более обессиливалась теперь тем, что в ночь с 1 на 2 декабря вдруг исчезли их командиры, главные люди тайных обществ, внезапно арестованные, подобно депутатам и генералам, и сидевшие теперь по тюрьмам.

Впрочем, еще был остаток старых инсургентских * сил, — было несколько людей, хотевших попытаться построить несколько баррикад; была горсть других людей, решившихся на то же самое не по любви к восстаниям, а по другим, почти прямо противоположным побуждениям: горсть людей, в которых было столько мужества, столько гордости, столько преданности закону и свободе, что они не могли не взяться за оружие против декабрьской проделки; знаменитейшим из этих людей был Виктор Гюго (25). Он и некоторые другие депутаты, избежавшие ареста, составили из себя «Комитет сопротивления», чтобы силою оружия отстоять власть закона. Они сформировали свой комитет в первый же день кризиса, 2 декабря.

Несколько депутатов отправилось в Сент-Антуанское предместье поднимать народ. Имена этих депутатов были: Шельше (Шельхер, Schoelcher), Боден, Обри, Дюваль, Ше, Малардье, де Флотт (26), и нашли энергических товарищей себе в Курне, квартира которого сделалась помещением их штаба, Ксавье Дюррье, Кеслере, Рюэне, Леметре, Вабрипоне (Wabignon), Лежене и других журналистах демократических газет. Больше своею личною энергиею, чем содействием народа, они успели построить маленькую баррикаду на углу улицы св. Маргариты. Против них пошел батальон 19-го пехотного полка, — и произошла сцена, думая о которой, сначала улыбнешься, потом чувствуешь невольное удивление к трогательной совестливости — почти педантству — этих храбрых людей, хотевших испытать, не победит ли вооруженную силу безоружное могущество закона. Положив ружья, перекинув через плечо свои депутатские шарфы, чтобы солдаты видели, что они представители нации, депутаты эти стали перед баррикадою, — один из них, Шарль Боден, держал в руках экземпляр конституции. Приблизившись на несколько шагов к баррикаде, шедшая в атаку колонна остановилась. Несколько секунд царствовало молчание: с одной стороны был закон, признанный Франциею, с другой — был линейный батальон. Но дело зависело от принятия правила: «закону должно повиноваться», — а командир батальона не считал этого правила аксиомой; посмотрев молча несколько секунд на безоружных депутатов, он сделал командный жест, солдаты передней шеренги приложились, взвели курки, — еще секунда — и пули полетели. Боден пал без дыхания: голова его была пробита

* Повстанческих.

несколькими пулями; упал также мертвым еще другой депутат; несколько других были ранены. Конституция упала на землю из руки, державшей ее. Уцелевшие взяли свои ружья. Одна из их пуль убила офицера, скомандовавшего стрелять. За тело Шарля Бодена загорелся бой, о каких говорит «Илиада». Батальон остался победителем; четверо солдат подняли и унесли труп Бодена. Масса сент-антуанских простолюдинов держалась в стороне²⁹; эта попытка сопротивления не удалась, умерла.

После того «Комитет сопротивления» стал возводить свои баррикады, местом их был лабиринт проулков между Hôtel de Ville и соседнею частью бульваров, — привычный центр парижских восстаний. Но инсургенты по своей малочисленности не имели возможности занять также и дома, примыкающие к баррикадам; войска, не подвергаясь фланговому огню из окон, могли безопасно двигаться по улицам и легко брали баррикаду за баррикадой. Это дело, начавшись 2 декабря, заняло и часть следующего дня. Потом наступление войск ослабилось; ночь с 3-го на 4-е и все утро 4-го числа инсургенты почти с беспрепятственной свободой провели в постройке баррикад на этом центральном пункте Парижа*.

В 2 часа дня 4-го числа положение Парижа было следующее. Лабиринт мелких улиц между Hôtel de Ville и соседнею частью бульваров был баррикадирован; инсургенты держали за собою эту местность без боя. В остальных частях города все было тихо: над Парижем тяготела армия; число солдат, бывших в строю по улицам и площадям столицы, простиралось до 48 000 человек (точная по спискам цифра — 47 928); в этой армии были войска всех родов оружия: пехота, кавалерия, артиллерия, инженеры и саперы, жандармы. Сильные отряды пехоты были поставлены на таких позициях, что могли одновременно со всех сторон окружности двинуться на баррикадированную местность, бывшую в их центре. Искусственными средствами солдаты были приведены в озлобление на парижан (27). Им прямо говорили, что они не должны давать никакого снисхождения и людям не сражающимся, которые только мешают войску своим любопытством; не должны щадить и безоружных зрителей; не давать пощады не только инсургентам, но и никому из тех, которые, хоть и не были замечены сражающимися, покажутся похожими на стоявших за инсургентов, — убивать всех таких. Подумаем, что эта обязанность разбирать, кто из безоружных похож на желавшего сражаться, была возложена на рассвирепевших солдат, — и мы поймем, что из такой инструкции очень натурально выходит то, что произошло вечером 4 декабря. Тот факт, что

* До этого места было напечатано в издании Эльпидина в Женеве, 1890 г.: «Заговорщики и соумышленники Людовика Бонапарте в 1851 году. — Изложение по Кинглеку Н. Г. Чернышевского с его примечаниями». — Ред.

инструкция, дававшаяся солдатам, была именно такая, я знаю из источника, очень благоприятного Элизейскому дворцу. По причинам, которые были тогда неизвестны, солдаты были оставляемы в бездействии; между головами колонн и передовыми позициями инсургентов было большое расстояние.

Отчего происходило роковое, раздражающее бездействие — теперь вещь известная: Маньян медлил вступить в дело потому, что кто-нибудь трусил: или сам он, или президент, или Сент-Арно. Сам Маньян в своем рапорте объясняет свое промедление такими выражениями, которыми оправдывается мнение людей, думающих, что и промедление, как все остальное, было преднамеренным средством приготовить случай для совершения убийств в громадном размере, — было средством ожесточить солдат и выманить мирное население под ружья. Но я не верю этому: не верю собственно потому только, что заговорщикам было невыгодно терять на это ожидание целых семь часов короткого декабрьского дня; поэтому я отвергаю то объяснение дела, которое потрудился сообщить сам Маньян. Думаю, что его понятия о честности, раскрытые (процессом по Булоньскому делу) * в палате пэров в 1840 году ³⁰, дают мне право по собственному моему усмотрению судить о том, какого внимания заслуживают слова такого господина. Я объясняю бездействие войск таким образом. Борьба с инсургентами, с военной стороны, была легка, но Маньян не мог не видеть, что в политическом отношении он подвергается через нее большой опасности. Механическая часть проделки, устроенной в ночь с 1 на 2 декабря, была исполнена с успехом, до удивительности полным; но в других отношениях дело элизейской братии казалось решительно неудавшимся: ни один человек с честною или громкою репутацией не захотел идти на поддержку президенту. Уже давно было много людей, которые из желания упрочить порядок и спокойствие желали, чтобы президент успел низвергнуть или переделать конституцию; но, желая этого, они полагали, что он возьмется за подобное дело не иначе, как при помощи большинства или хотя нескольких государственных людей, считавшихся ревнителями порядка. Эти надежды были совершенно обмануты проделкою 2 декабря, — надеявшиеся увидели всех знаменитых защитников порядка брошенными в тюрьму, а людьми, помогавшими президенту своим сотрудничеством и одобрением, они увидели Морни, Мопа или де Мопа, Сент-Арно, урожденного ле Руа. Список нового министерства, обнародованный 2 декабря, не заключал в себе ни одного уважаемого хотя кем-нибудь имени; и элизейские заговорщики, испуганные одиночеством, в котором видели себя, прибегли к курьезной уловке. Они назначили «совещательную комиссию» и обнародовали спи-

* Взятое в скобки — пояснения Н. Г. Чернышевского. — Ред.

сок ее членов, в который, кроме самих себя и людей, готовых служить им, поместили 80 человек хорошей репутации, — все эти 80 имен были подлогом. Честные люди, их носившие, один за другим протестовали против предположения, что они согласились быть «советниками» Луи Бонапарте, Морни, Мопя, Флери и Сент-Арно, урожденного ле Руа. Элизейская братия получила, однакоже, большой выигрыш от этой штуки: на несколько часов почти все, а многие даже на несколько дней были обмануты относительно числа и свойства людей, действительно помогавших президенту. Но Маньян, разумеется, знал истину. Утром 4 декабря он видел, что, несмотря на полный видимый успех, элизейская братия не имеет поддержки ни от одного человека с солидной репутациею; потому он имел полное основание трусить, и в этом, по всей вероятности, была истинная причина его бездействия.

И точно: при одиночестве, в котором были оставлены заговорщики, итти против инсургентов, хотя и слабых числом, было очень опасно генералу, командующему войсками. Действовать против инсургентов в защиту закона, по приказанию правительства — дело не опасное; но теперь закон был на стороне инсургентов, а компания, забравшаяся на министерские места, не имела таких почтенных имен, чтобы незаконность формы закрывалась личным авторитетом их. Потому, хоть Маньян и имел возлюбленный ему приказ военного министра, он должен был сильно задумываться над вопросом, что́ будет с ним, если он выстрелит по парижанам, а заговор между тем провалится от беспомощности заговорщиков.

Но как бы то ни было, Маньяну объяснили, наконец, что он уже скомпрометировал себя безвозвратно и что его участь неразлучна с участью заговорщиков; что хоть он и станет прикрываться приказом военного министра в предыдущих своих действиях, но свидетельство каждого из двадцати генералов, собиравшихся у него 27 ноября, уличит его, что и сам он был заговорщиком. Умное разъяснение этого пункта избавило Флери от надобности показать Маньяну свой пистолет. Главнокомандующий согласился двинуть войска на инсургентов. Он уже потерял большую часть короткого декабрьского дня, но в 2 часа пополудни колонны его пошли, в 3 часа головы их уже подошли с разных сторон к самым баррикадам.

Аванпост инсургентов на северо-восточном краю их позиции прикрывался маленькою баррикадою, перерезывавшею бульвар близ театра Gymnase. Человек двадцать, с оружием и барабаном, взятым из кладовой театра, стояли за этою баррикадою; на верху ее развевался маленький флаг, который удалось достать им.

В 60—70 саженьях от нее была голова сильной колонны, занимавшей всю западную часть бульвара; несколько орудий бы-

ло поставлено впереди солдат. На нейтральном пространстве между баррикадою и головою колонны лавки и почти все окна были заперты, но по тротуарам стояло множество любопытных, в том числе много женщин. Эти люди явно подвергали себя опасности от выстрелов, которые будут направлены неудачно, не прямо. Но вовсе не в таком положении были люди, находившиеся далее на запад, дальше от баррикады, чем стояла голова колонны: от той линии, на которой стояла голова колонны, до церкви Магдалины вся ширина улицы была занята войсками. Но тротуары, окна, балконы этой блестящей части бульваров были наполнены зрителями и зрительницами, смотревшими на бездействующие войска, будто на военный парад. Этим людям не было никакой причины думать, что они подвергаются хоть малейшей опасности: они не видели никого, с кем бы сражаться войску. Правда, по стенам были выставлены объявления, советовавшие народу не толпиться посредине улиц, говорившие, что собрания будут разгоняемы без обычных предварительных оповещаний о том, чтобы разошлись сами. Но и те, кому случилось прочесть эти объявления, натурально предполагали, что угроза относится к шумным толпам, которые стали бы неприятно мешать движениям войск: никому не могла притти мысль понять объявление как смертный приговор мирным зрителям.

В 3 часа одно из орудий, поставленных перед головою колонны, сделало выстрел по баррикаде; ядро перелетело высоко над нею. Солдаты, стоявшие в голове колонны, пустили с десяток пуль в баррикаду; инсургенты тоже отвечали несколькими пулями: но ни с той, ни с другой стороны никто даже и не был ранен, и этот ничтожный обмен нескольких пуль был сделан так вяло и безвредно, что даже зрители, стоявшие на тротуарах пространства между головою колонны и баррикадою, почти без опасным для себя свое место. А зрителям, стоявшим позади войск, не было никакой причины опасаться за себя: там не было видно никого, кто был бы против войск. Итак, по всему протяжении бульвара от церкви Магдалины до Rue du Sentier тротуары, окна, балконы оставались наполнены мужчинами, женщинами, детьми, а от Rue du Sentier до головы колонны, бывшей близ театра Gymnase, зрители тоже остались попрежнему на тротуарах; но окна на этой части бульвара были заперты. Все было тихо.

Некоторые утверждают, будто в это время был сделан выстрел из окна или с кровли дома, стоящего близ угла Rue du Sentier. Другие утверждают, что этого не было. Один из свидетелей показывает, что первый выстрел был сделан солдатом, стоявшим в центре одного из батальонов и выстрелившим вверх, на воздух. Но за этим выстрелом, каков бы он ни был, последовало вот что: солдаты, бывшие в голове колонны (по соседству Rue du Sentier), повернулись фронтом с востока — от барри-

кады — на юг, на линию домов, идущих по южной стороне бульваров, и открыли огонь. Ружья некоторых пришили в упор в грудь зрителям, беспечно смотревшим на них плотной массой с тротуара; другие стреляли в зрителей и зрительниц, беззаботно стоявших по многу человек у окон и теснившихся на балконах. Большая часть офицеров не участвовала в командных словах «налево полукругом, приложись и стреляй», но и не произносившие этих слов офицеры были так же взволнованы, как солдаты: по крайней мере, капитан Джесс, рассказ которого об этой сцене (напечатанный в «Times»'e) — ³¹ самый холодный, основательный и обстоятельный, — капитан Джесс, стоявший на балконе бульвара близ угла Монмартрской улицы, видел, что все офицеры, которые были видны с этого балкона, держат себя так, как будто одобряют все, что стали делать солдаты.

Порыв, овладевший солдатами или наброшенный командирами на солдат, бывших в голове колонны, был порывом панического ужаса, приводящего в свирепое исступление; как паническое чувство, он с быстрою заразительностью охватывал солдат, от шеренги на шеренгу, с бульвара Bonne Nouvelle на Boulevard Poissonnière, откуда на Boulevard Montmartre, быстро пронесся по всей длине Монмартрского бульвара и перешел на Boulevard des Italiens. Таким образом, посредством маневра, называемого по строевой тактике «налево кругом, в полуоборот», мгновенно сформировалась из войск, бывших колонною, обращенною на восток, против баррикады, длинная линия строя, обращенного фронтом на юг, против линии домов по бульварам, и этот строй, состоявший из 16 000 человек, стрелял в толпу, тесными рядами стоявшую на тротуаре, — в мужчин, женщин и детей, стоявших на балконах и у окон домов. Стрельбе в окна и по балконам придавалась особенная убийственность тем, что когда уж и началась она на восточной части Boulevard Montmartre, люди, стоявшие у окон и на балконах далее на запад, не могли видеть или понять, что войска стреляют там, на востоке, по окнам и балконам, стреляют боевыми патронами, и они оставались на своих местах спокойно до тех пор, пока зараза стрельбы доходила своим быстрым полетом до солдат, бывших против них, и пули летели в них, — только тут, по стуку пуль о стены и дребезжанью разбитых стекол, они понимали, что это такое, если не понимали по ранам своим или не были убиты. У одного из окон стоял русский помещик с сестрою (28); вдруг полетели на них пули, и оба были ранены. Английский медик, смотревший из окна того дома, имел счастье остаться не ранен. «И когда я стал перевязывать раны русских, — говорит он, — я был так тронут забвением сестры о себе в заботе о брате, забвением брата о себе в заботе о сестре, что никогда не благодарил так горячо судьбу за то, что я умею делать перевязки и лечить».

Из людей, стоявших на тротуаре и не сваленных первым залпом, одни ринулись где бы спрятаться или хоть полуприкрыться от пуль; другие бросились навзничь на землю, чтобы ползком убраться прочь, в надежде, что, прилегли, будут ниже полета пуль. Порыв стрелять в толпу охватил солдат мгновенно, но не на мгновение: они заряжали, стреляли, и заряжали с какою-то странно усердною к начатому занятию и торопливо все пускали и пускали пули в людей, будто их собственная жизнь зависела от того, сколько людей успеют они убить в заданный срок упражнения.

Когда толпа исчезла, солдаты старательно прицеливались в каждого отставшего, старавшегося убраться прочь, чтобы спастись; а если кто из таких думал спастись тем, что шел к солдатам и просил пощады, солдаты заставляли его отойти или убеждали остановиться не подходя, потом велели ему бежать и старались подстрелить на бегу. Эта бойня безоружных мужчин и женщин продолжалась четверть часа или даже минут двадцать. В числе лиц, стоявших на одном из балконов по бульвару (близ угла Rue Montmartre), был английский офицер; судя по пункту, с которого он смотрел на эту сцену, знанию военного дела, с которым он наблюдал ее, хладнокровию, которое он сохранил при наблюдении и описании ее, и его полному пониманию важной ответственности, которую берет на себя специалист, офицер, при подобных описаниях, — судя по всему этому, надобно думать, что на его рассказе всегда будут, — как делаю я, — основываться историки, которые будут стараться о верном изображении того, как создалась вторая французская империя. Это капитан Джесс.

В ту минуту, когда началась стрельба, он стоял и смотрел на войска, как на военный парад; подле него стояла его жена. С балкона, на котором они стояли, он мог обозревать бульвар на восток на протяжении около 800 ярдов (350 сажен, около $\frac{2}{3}$ версты), ему видна была и голова колонны; перенося взгляд на запад, он видел все протяжение бульвара до того места, с которого имя Boulevard Montmartre заменяется именем Boulevard des Italiens, И вот его слова: «Я вышел на балкон, где стояла моя жена, и, оставшись там, смотрел на войска. Весь бульвар, насколько видно было глазу, был покрыт войсками, преимущественно пехотою, стоявшею повзводно, по интервалам в четверть дистанции (in subdivisions at quarter distance) (29). По местам были орудия, поставленные по несколько вместе; орудия были 12-фунтовые пушки и гаубицы. Некоторые из них стояли на подъеме Boulevard Poissonnière. Офицеры курили сигары (30).

Окна были наполнены людьми, — более всего женщинами, лапочниками, прислугою, детьми или, как мы, случайными посетителями Парижа. Вдруг в то время, как я смотрел в бинокль на войска к востоку от меня, к голове колонны, послышалось оттуда несколько ружейных выстрелов, голова колонны имела

тысяч до трех. В несколько мгновений все они начали стрелять; занятие стрельбою быстро распространялось все ближе к нам, и линия огня, на несколько мгновений приостановившись в ходе, стала охватывать войска все ближе к нам. Но огонь был так правилен, что сначала я думал, что это стреляют холостыми рядами в знак торжества от какого-нибудь известия, что где-нибудь взята баррикада, или для сигнала, чтобы обозначить другим войскам свою позицию. Только уже тогда, когда подошло это на 50 ярдов (сажен 20) ко мне, я распознал по звуку выстрелов, что они не холостые, а боевые; но и в эту минуту я не верил свидетельству своих ушей, потому что глаза мои не отыскивали никакого неприятеля, — и я продолжал смотреть на солдат, пока рота, бывшая против нашего балкона, взвела курки, и какой-то плутоватый солдат, проворнее других — еще юноша, без усов, без волоска на подбородке — приложился в меня. Тотчас же я подбросил мою отступавшую жену на окно, выходявшее на балкон, чтобы прикрыл ее угол простенка, и в этот самый миг пуля ударилась в потолок балкона над нами и осыпала нас кусочками и пылью разбитой штукатурки. Через секунду я снял жену на пол, уже в комнате, и еще через одну секунду целый залп ударил пулями по всему фасаду дома, по балкону, по окнам. Одна пуля разбила в нашей комнате зеркало над камином, другая — колпак столовых часов; в окнах уцелело лишь одно стекло; шторы и рамы были изорваны, разбиты; вся комната изъязвлена пулями. Железная решетка балкона, хоть и не высокая, была большою защитою, но все-таки пули летели в эту комнату с балконом; потому, выждав паузу, когда солдаты заряжали ружья, я взял жену за руку, и мы убежали в задние комнаты. Трескотня ружейных выстрелов длилась после этого более четверти часа; через несколько минут после начала ее пушки были сняты с передков и наведены на магазин г. Салландруза, через пять домов от нашего направо (ближе к голове колонны). Зачем все это делалось — оставалось загадкою, не понятною никому из бывших в одном доме с нами, — ни иностранцы, ни французы не могли постичь этого. Некоторые думали, не перешли ли войска на сторону инсургентов; другие говорили: не выстрелил ли кто-нибудь в солдат из какого-нибудь дома? — но ни из нашего, ни из какого другого на Boulevard Montmartre не было сделано такого выстрела, — мы видели бы его с балкона, если бы он был. По всей вероятности, это убийство людей без всякого повода было следствием панического страха, ужаснувшего солдат мыслью, не скрываются <ли> враги в домах по бульвару, побудившего их обезопасить себя, предупредить врагов; или это было просто делом кровожадности. Солдаты, как я уже сказал, делали залп за залпом более четверти часа, хоть ни один выстрел не отвечал им. Они убили множество несчастных людей, стоявших на тротуаре и не успевших добиться себе убежища ни в одном доме;

несколько человек было убито у нашей двери». Подобное тому, что с хладнокровием наблюдал капитан Джесс, с ужасом видели тысячи других мужчин и женщин.

Если огромное большинство офицеров не давало команды стрелять, то, например, полковник Рошфор³² не следовал этому примеру. Он был улан и перед тем временем уже произвел с своими уланами бойню между сидевшими на стульях перед дверьми у кофейной Тортони. Потом он вообразил, что сделан по войску выстрел в той части бульвара, которая была занята пехотой, и произвел новую атаку на толпу, и военный элизейский историк этих событий, Модюи³³, с торжеством рассказывает, что до 30 трупов были трофеями этого подвига; он, впрочем, выражается, что убиты были вооруженные люди; нет, доказан факт, что в этом месте, на Boulevard Poissonnière, не было ни одного вооруженного человека; трупы были трупы мирных зрителей, — почти все убитые были нарядно одеты. От Rue du Sentier до западного конца Boulevard Montmartre на протяжении 1 000 ярдов (около 425 сажень, почти целой версты) линия бульваров была усеяна трупами; а по местам они лежали грудями: раненые ползли несколько шагов, пока подползали до трупа, через который не могли перебраться, и умирали на нем, — вот, вероятно, причина, почему очень многие трупы лежали один на другом. Перед одною из лавок было насчитано 33 трупа. На мирной маленькой площадке дворика, открытого на бульвар и называющегося Cité Bergère *, насчитано было 37 трупов. Число убийц было — тысячи солдат; число убитых навсегда останется неизвестно; но из этих убийц и этих убитых не было ни одного сражающегося: битвы не было, не было даже простого уличного беспорядка, не было даже ссоры, даже спора, — нет, просто убийцы убивали безоружных мужчин, убивали женщин, детей. Каждый труп свидетельствовал: это просто убийство. Трупы, лежавшие несколько особо от других, врезались в памяти людей глубже, чем трупы, лежавшие помногу вместе. У некоторых остался перед глазами вид убитого старика, седого; зонтик лежал подле него — его оружие. Другие с ужасом вспоминали о щегольски одетом человеке, вышедшем, как видно, погулять; он сидел мертвый, прислонившись спиною к стене; у ног его лежала сигара, упавшая из его руки. У третьих остался в памяти ребенок; он мертвый остался прислонившимся к стене; это был типографский ученик: в его руке замерли корректуры, которые он нес куда-то, залитые его кровью; листы их колебались ветерком. Военный элизейский историк этих подвигов как будто рад тому, что убито было много женщин: высказав всем женщинам вообще порицание за то, что женщины, бывшие тут, преступно старались прятать мужчин от огня солдат, полковник Модюи имеет храбрость продолжать такими словами: «многие из

* Поселение пастушек. — Ред.

бульварных амазонок дорого заплатились за свое неблагоприятное столкновение с этою баррикадою нового рода», — то есть с живою баррикадою, вдруг сформировавшеюся из солдат, — и имеет храбрость выражать надежду, что женщины воспользуются этим уроком «и извлекут себе из него ум на будущее время». Одна убитая так и лежала, как упала, как бежала, — с малюткой на руках: незачем было брать малютку из рук убитой, — дитя тоже было убито. Выражения, которые очень давно стали только уже эффективной метафорой, теперь снова получили свое древнее буквальное значение, понадобились для буквального изображения действительного факта: «Я избиваю от старцев, бредущих, уже только опираясь о стену, до малюток, еще не умеющих ходить, не опираясь о стену». Из ружейных ран льется очень мало крови, меньше, чем из всяких других ран; но тут все-таки тротуар и мостовая во стольких местах были залиты лужами крови, что потом трудно было пройти, не зачерпнув крови в обувь. Около каждого дерева на парижских бульварах оставлено невымощенным небольшое местечко, чтобы дать волю дереву разрастаться толще. Кровь, собиравшаяся лужами на асфальтовой мостовой, медленно стекала в эти ямочки, свернулась там в кровяное желе, и оно оставалось тут много дней; это видели все, кто хотел заглянуть. «Кровь убитых, — говорит капитан Джесс, — стояла, свернувшись в ямках у деревьев, когда мы проходили по бульварам на другой день в 12-м часу утра». «Бульвары и соседние улицы, — продолжает он, — были совершенно такие пруды крови, как на дворе бойни». Неимоверно, но положительно: по некоторым домам на бульваре стреляли даже из пушек. На северной стороне бульвара тротуар был покрыт штукатуркою и обломками, какие падают только от артиллерийских залпов, — это факт.

Солдаты вламывались во многие дома, гнались за жившими в них из этажа в этаж, наконец ловили их и убивали. Если и положим, что они делали так в обольщении своею мыслью, будто из этих домов стреляли по ним, все-таки вещь несомненная, что едва ли был хоть один случай, — а вероятно, совершенно не был ни одного случая, — в котором это не было бы напрасным мнением. Оно рождалось таким образом: кто-нибудь из солдат яростно бежал по направлению к какому-нибудь дому, преследуя уходящего зрителя; другие тотчас же воображали, что и этого дома был сделан выстрел; целая толпа убийц вламывалась в двери и истребляла всех в этом доме. Так было с ковровым магазином Салландруза. 14 человек, бывших там, думали был укрыться за тюками ковров. Солдаты перебили их, лежавших на полу.

В то время как это делалось на бульваре, четыре бригады сходились с разных сторон к той местности, где была действительно сделана, хоть и слабая и опрометчиво ранняя, попытка сопротивления. Артиллерия разбивала, потом пехота без серъ-

езной борьбы брала баррикаду за баррикадой; но делом распоряжались таким способом, чтобы — все равно, будет ли борьба, или не будет ее — все-таки было убито как можно больше людей: войска окружили эту местность так, чтобы некуда было убежать из нее, и, подвигаясь, втесняли людей в такие улицы, выход из которых был загорожен другими отрядами, и тут все согнанные — инсургенты ли, или нет, все равно — были убиваемы из ружей. Благодаря такому изобретению Маньян мог сказать в своем рапорте, что «те, которые защищали баррикады в Бофурском квартале, были преданы смерти». «Преданы смерти», — это правда; одни ли они — об этом он и не говорил; итак, он выразился хорошо; и правительство, благодаря тому же изобретению, не солгало, объявив, что «из людей, защищавших баррикаду, бывшую у Сент-Мартенских ворот, войска не пощадили ни одного». Рапорт Маньяна напечатан в «Монитере», уверение правительства в газете «Patrie», личном органе президента. Некоторые из убитых, точно, были инсургенты, еще сражавшиеся или уже бежавшие; но огромное большинство были просто незащищенные прохожие, пойманные солдатами, — прохожих ловили, потом расстреливали. Какое бы объяснение ни хотел кто давать убийству мирных зрителей на бульварах, — я подробнее займусь этим после, — но расстреливание пленных в кварталах, где были баррикады, не нуждается в догадках для объяснения: причину его было то, что солдатам сказано было: «не давать пощады никому», — это факт. Разумеется, все-таки были случаи, что солдаты, уступая голосу своего человеческого чувства, давали пощаду кое-кому из попадавшихся им; но эта снисходительность была обращена в вину им, и они заглаживали свою вину новым расстреливанием. Разумеется, иная дверь отворялась сострадательною рукою для приюта бегущим, но приют за нею скоро кончался. Например, когда была взята баррикада у Сент-Денисских ворот, позади ее было поймано до 100 человек, — и все они были расстреляны. Но их крови было мало: солдаты вошли в дома, где, по их мнению, прятались от них бежавшие, еще набрали там больше 30 человек и тоже расстреляли их. Это рассказывал сам офицер, занимавшийся тут расстреливанием, и рассказывал не из раскаяния, а просто для описания своего подвига. Как поступали солдаты с людьми, даже и не вбежавшими с улицы в дома, а с людьми, жившими в домах, если подозревали, что в этих домах есть беглецы, — как они поступали в таких случаях, можно сообразить по тому, что произошло в одном из маленьких проулков. Описавши взятие баррикады с улицы Montorgueil, военный элизейский историк говорит, что тотчас же велено было обыскивать кофейные и трактиры, и продолжает: «в них было взято сто пленников, из которых у большей части руки еще были черны от пороха, — ясная улика их участия в борьбе. Как же возможно

было не исполнить над очень многими из них страшного правила военного положения?»

Это убивание производилось по приказаниям, совершенно не-отклонимым и, однакоже, так обстоятельно обдуманном, что расстреливавшие могли позволить многим из несчастных распорядиться перед смертью деньгами, бывшими при них. Так, когда одному сказали, что надобно расстрелять его, он попросил командующего офицера, чтобы были пересланы к его матери 15 франков, бывшие при нем. Офицер согласился, записал адрес матери его, принял от него 15 франков, потом убил его. Таких случаев было много.

Огромные толпы пленников были приводимы в префектуру полиции, но главные начальники рассудили, что неудобно было бы, если бы изнутри этого здания слышались на улицах ружейные залпы расстреливания. Конечно, только по этому соображению и был принят другой способ расправы с пленными. Этот способ — вещь изумительная, но вот что засвидетельствовано одним из депутатов Законодательного собрания, который сам видел это своими глазами: пленные, которых решено было убить, были постепенно приводимы по несколько человек на один из дворов префектуры; руки у них были связаны на спине; агенты Мопы подходили к приведенным и били их по голове палками с большою свинцовою шишкою и убивали, — это способ, принятый на парижских бойнях для битья быков. Это изумительно. Но именно так рассказывает Ксавье Дюррье, депутат, видевший это из окна комнаты, в которой сидел под арестом. В комнатах, выходивших окнами на этот двор, сидело много арестованных депутатов; они все видели это: «мы все видели это», — говорит Ксавье Дюррье. Тела с размозженными головами были оставляемы на помосте двора; одни падали уже безжизненные, другие еще шевелились.

Встречаются случаи, что войско, сражаясь с инсургентами, по необходимости принуждено бывает вредить выстрелами безоружным людям, подвергивающимся под линию боевого огня. Это вещь, понятная всякому. Иногда бывает больше: командир войск велит наносить смерть людям, которые не сражаются против него, даже и не мешают действию войск, но которые, по его верному или ошибочному мнению, могут сделаться причиною затруднения или опасности для войск, если не уйдут, — он обращает против них оружие из предосторожности; но в таком случае он предупреждает их настоятельнейшими убеждениями уйти, несколько раз предостерегает их, что, если они не послушаются, он обратит против них оружие. Такие случаи можно назвать надобностью из предосторожности убивать зрителей, по безрассудству или злонамеренности вредных войскам. Бывали случаи более страшные: такое убийство делалось иногда и без предварительных предостережений, — командир не упрашивал зрителей уйти или не давал

им времени на то, чтобы уйти. Это надобно назвать злостным убийством зрителей; но все-таки зрители были убиваемы потому, что их присутствие считалось могущим повредить войску; потому убийство, хотя и злостное, не было убийством только по прихоти командира. Бывали и такие случаи, что солдаты, не сражающиеся, не подвергающиеся никакой действительной опасности, вдруг стреляли в толпу мужчин и женщин, не мешавшую им. Такой случай мы видели; это — убийство по пустой мечте. Бывало иногда даже и в недавние времена, что когда побежденные уже бросили оружие и сдались, прося пощады, солдаты, умоляемые о пощаде, отвергали мольбу и тут же убивали просивших о ней. Это называется: «не давать пощады». Бывало даже и то, что побежденные, бросившие оружие и сдавшиеся на волю победителя и не бывшие убиты им тотчас же, успевали таким образом стать в положение взятых в плен победившими солдатами; но вслед за тем, через такое время, какое, например, нужно, чтобы солдаты успели спросить решения у офицера, находящегося в нескольких шагах от них, эти сдавшиеся были предаваемы смерти. Это называется «убийство пленных». Бывало и то, что солдаты после боя на улицах вламывались в дома, где, по их мнению, находились люди, помогавшие их противникам, и в своей ярости убивали мужчин и женщин, которых не видели сражающимися против них. Это — убийство не сражавшихся, но убийство, совершенное людьми, еще разгоряченными от сражения. Бывало и то, что солдаты, хватая безоружных людей, которых считали помощниками своих противников, успевали, однакоже, сдерживать свою ярость и не убивали их, а брали в плен; но потом, по получении приказаний от людей, еще более жестоких, чем самые раздраженные солдаты, эти люди были убиваемы. Это называется «хладнокровное убийство не сражающихся».

Вот список не менее как девяти видов убивания целой массы людей — девяти видов, столь различных, что они разнятся между собою не второстепенными признаками, а тем, что каждый следующий много преступнее предыдущего. Теперь мы видим положительный факт, что 4 декабря в Париже были сделаны дела, относящиеся ко всем этим девяти категориям; другой столь же положительный факт: если не каждое отдельное из этого множества дел было совершено по особому приказанию элизейской братии, то все их без исключения произвела все-таки элизейская братия. Надобно еще прибавить: это убивание пленных было убивание таких людей, которых нельзя было винить ни в чем, кроме того, что они взялись за оружие не в нарушение, а на защиту законов своего отечества.

Но было еще другое дело, на которое надобно было употребить армию, — только согласятся ли исполнять такое дело офицеры и солдаты? Во время восстания в громадном городе, каков Париж, бесчисленная полицейская команда, если станет усердст-

зовать, может хватать множество людей; войска также могут отступить от исполнения ужасного приказа не давать пощады безоружным людям, захватываемым ими, и оставлять многих в живых. Так и случилось. Пленники, набранные таким образом, были под стражею гражданской власти. Но правительство, жалея, что захваченные оставлены живыми, может желать предать их смерти и с тем вместе находить невыгодным для себя убивать их рукою гражданской власти. В таком случае, если честь и гордость военного сословия не мешает ему, оно может найти наилучшим употребить пехотных солдат, — не для военного дела, а для исполнения обязанности палачей, взамен гражданских своих агентов, которые привыкли считать такую обязанность слишком унижительною; и чтобы прикрыть дело, правительство может приказывать пехотным солдатам исполнять его среди мертвой ночи.

Было ли так действительно? Правда ли, что с одобрения министерства внутренних дел и префектуры полиции, по приказаниям принца Луи Бонапарте, Сент-Арно, Маньяна, Морни и Мопэ, полное дело такого рода было совершено парижскою армиею?

Люди, живущие не в Париже, находят, что неизвестно, что же такое сделалось с массами пленников, приведенных в тюрьмы и другие места заключения 4 и 5 декабря, — куда ж они девались? Люди, живущие в Париже, находят, что в этом нет никакой неизвестности, что сомневаться тут не в чем. Их аргументы отчасти вот каковы. Одно семейство, желавшее узнать, куда девался ушедший из дому и не возвращавшийся родственник, обратилось с просьбою узнать об этом к человеку, занимавшему такое положение в обществе, что семейство это считало его могущим спросить у официальных людей о судьбе пропавшего. Желая исполнить просьбу, он познакомился с одним из *juge substitut* — помощников судьи первой инстанции. Когда речь коснулась предмета, помощник судьи закипел негодованием от воспоминания о том, чему был свидетелем, вместе с тем, кажется, и от оскорбленной гордости, что посторонняя власть вмешалась тут в дело судьи. Он рассказал вот что: ему было приказано отправиться в некоторые тюрьмы и сделать разбор пленным затем, чтобы определить, кого из них оставить под арестом, кого выпустить; в то время как он занимался этим, в комнату вошли унтер-офицеры и солдаты и грубо объявили, что имеют приказание взять тех пленных, у которых пальцы черны. Не слушая протестаций помощника судьи, они стали смотреть руки у пленных, решили, что руки у многих черны, и вывели всех этих людей, — затем, как понимал помощник судьи, чтобы расстрелять их. В том, что увиденные действительно были расстреляны, нет, по его словам, никакого сомнения, но все-таки он не был очевидцем того, как их расстреливали. Впрочем, это дополняется другим фактом. В ночь с 4 на 5 декабря и точно так же в следующую ночь жители тихих кварталов Парижа слы-

шали ружейные залпы — залпы целых взводов солдат; таких залпов никогда не слыживали они в такое время ни прежде, ни после. Звук шел главным образом с Марсова поля, но также и из других мест, в особенности из Люксанбургского сада и с эспланады Дома инвалидов; те из слышавших, которые были неподалеку от этой эспланады, говорят, что после каждого залпа слышали также крики и стоны, что раз среди этого смутного шума они даже расслышали несколько жалобных слов, кончившихся вдруг пронзительным стоном, — им казалось, что это был голос юноши, тяжело раненного и потом получившего смертельную рану.

Отчасти по фактам такого рода, а еще больше по всеобщей молве, Париж убедился тогда и — справедливо ли, или ошибочно — остается убежден, что в ночь с 4-го на 5-е и в следующую ночь пленники были расстреливаемы целыми толпами и тела их были брошены в ямы. Приверженцы императора, например, Гранье де Кассаньяк, утверждают, напротив, что солдаты не были употребляемы на должность палачей. Итак, на одной чашке весов лежит отрицание партизанов императора, имеющие тот вес, какой найдем возможным признавать за ним, на другой чашке — убеждение парижан, основанное на фактах, не составляющих полной юридической улики. Но при этом не мешает подумать и о том, почему подобный вопрос остается сомнителен, если он сомнителен. Вопрос прост: правда ли, что в ночь с четверга на пятницу 4/5 декабря и с пятницы на субботу 5/6 декабря целые толпы людей, набранных из парижского населения, были уведены из тюрем и расстреляны на местах, находящихся тоже в самой столице, между прочим, на Марсовом поле и в Люксанбургском саду? Это такой вопрос, который был бы до несомненности разъяснен тогда же в одни сутки, много — в двое суток, если бы Париж не утратил свободы изустного слова и печатного слова. Да и теперь, хоть прошло уже несколько лет, когда свобода будет восстановлена во Франции, этот вопрос разрешится быстро и правдиво. Но люди, отнявшие у Парижа свободу изустного и печатного слова, — те самые люди, о которых утверждает Париж, что они в эти две ночи убивали целые толпы своих соотечественников расстреливанием. Итак, дело сводится к тому, что обвиняемые в таком действии люди отняли у Франции и Европы вернейшее средство дознаться истины по этому предмету. Когда процесс приводится в такое положение, правосудие не оказывается столь тупо и беспомощно, чтобы подобная уловка против него удавалась.

При подобных случаях оно, мудро отступая от обыкновенного своего правила, выслушивает неполную улику против утайщика и потом, требуя, чтобы скрывающий истину возвратил ее на свет или принял последствия своего скрывательства, переносит с обвинителя на обвиненного обязанность представить полное доказа-

тельство и, если оно не представлено, признает обвиненного уличенным. Принц Луи Бонапарт и его компаньоны закрыли обыкновенные пути к отысканию истины, потому они останутся признанными за виновных в том, в чем винит их Париж, или должны доказать, что они не расстреливали толпы парижан ночью 4 и ночью 5 декабря.

Число убитых войсками в течение с лишком полутора суток (40 часов), следовавших за началом убийств на бульварах, навсегда останется неизвестно. Тела были похоронены почти все в ночное время. Стараясь хоть приблизительно определить количество их, мы не можем совершенно положиться даже и на показания офицеров, убивавших и хоронивших: довольно долгое время они находили выгоднее для своей служебной карьеры считаться действовавшими тут со всеусердием. Но все-таки вот одно из таких показаний — признание командира одного из убивавших полков, высказанное еще под свежим впечатлением дела. Нельзя принимать его слова ни за совершенно точные, ни даже за приблизительно точные; но все-таки он сам был совершителем дела, о котором говорил, и говорил он с желанием, чтобы ему поверили, потому его свидетельство имеет хоть тот вес, — если даже не имеет более важного веса, — что представляет его понятие о том, как надобно ему говорить, чтобы его слова показались верными правде. Его слова состояли в том, что его полк, — только один его полк, — убил 2400 человек. Если принять, что эти слова сколько-нибудь близки к истине и что другие полки усердствовали не меньше, чем его полк, то для выражения суммы убитых понадобится очень большая цифра: число полков, действовавших против парижан, было от 30 до 50, из них до 20 принимали участие в убийствах.

Армия, уничтожившая столько врагов, сама потеряла только 25 человек убитыми во все время этих своих подвигов (с 3 до 6 декабря).

Едва ли есть на земле город с таким воинственным населением, как Париж. Его жители менее всех других горожан Европы расположены трусливо преувеличивать цену жизни, и своей и чужой. У них любовь к борьбе имеет силу брать верх над боязнью и жалостью, и они — люди, привычные к великим битвам на улицах. Но они не были привычны видеть, что убивают массу безоружных, беззащитных людей. Вид того, что совершалось 4 декабря, поразила столицу Франции, как появление чумы. Англичанин, зоркий наблюдатель, бывший тут, говорит, что у людей, удалявшихся с мест убийства, лица были мертвенно посинелые, позеленелые, каких он никогда не видывал. Конечно, никогда; потому что кто же когда прежде видывал людей, бывших зрителями таких убийств? Говорят, что вид этой сцены, стон убитых потрясли крепость нервов у многих мужчин, так что они рыдали, как маленькие дети.

К рассвету 5 декабря вооруженное восстание было уже прекращено. Оно и с самого начала было слабо. Но нравственное сопротивление действиям президента и его сообщников быстро усиливалось в первые дни и стало уже очень грозно, когда вечером 4 декабря начались убийства. Эти убийства навели ужас, и вооруженное восстание уронило своим падением все надежды людей, думавших, что одною силою общественного мнения и смеха заговорщики будут сведены из Элизейского дворца в тюрьму. Дело людей, хотевших действовать этою нравственною силою, не имело ничего общего с делом людей, поднявших восстание; но оно могло иметь успех только при сохранении бодрости народом; а народ, озадаченный проделкою 2 декабря, был теперь поражен ужасом.

По кратоте, по величию, по исторической славе, по воинским подвигам, по могуществу нравственного руководства целою великою нациею, по власти венчать и низлагать ее государей нет на земле города, равного Парижу. Но, пораженная, как ударом паралича, убийством 4 декабря, прекрасная, героичная столица Франции была связанная предана в руки принца Луи Бонапарте и Морни, и Мопы, или де Мопы, и Сент-Арно, урожденного ле Руа, и выгода, извлеченная принцем из этого дела, была выгода прочная. Во французской политической теории есть аксиома, что не может стать правителем Франции тот, над кем смеются. С 1836 до 1848 г. принц Луи Бонапарте высовывался из темного ничтожества лишь затем, чтобы смешить; став президентом, он только стал более постоянным предметом презрительных насмешек, которыми так умеют владеть французы, — для проверки этого довольно просмотреть «Charivari»³⁴ за 1849, 1850 и первые 11 месяцев 1851 года (запрещение этого журнала и было одним из первых актов верховной власти в руках заговорщиков). Даже внезапность и полная успешность удара, нанесенного закону в ночь с 1 на 2 декабря, не заставила Париж смотреть на президента серьезно. Но с трех часов вечера 4 декабря взгляд на него должен был измениться, и вышло так, что именно те, которые жарче всех стали говорить против президента, больше всех помогли его успеху; и тут, как в других случаях, судьба принца Луи Бонапарте была оригинальна: чем усерднее противники его доказывали, что он, собственно он сам, хитрый и злодей, своим умом придумал и устроил убийство, — мнение, которое я на следующих страницах подвергну разбору, — тем полнее снимали они с него репутацию смешной бездарности, репутацию, мешавшую ему действительно упрочить свою власть. Когда настала ночь 4 декабря, он был уже закрыт от насмешек горами трупов, лежавших на бульварах.

В провинциях дело шло так же, как в столице. Еще до рассвета 2 декабря Морни забрался в здание министерства внутренних дел, телеграфировал оттуда свои приказания на немедленное и усерднейшее исполнение всем префектам, — приказал

префектам отставить от должности всех тех мэров, мировых судей и других начальствующих лиц, которые не дадут немедленной подписки в том, что преданы президенту и принимают все его распоряжения. Во Франции административный механизм устроен так, что дает министру внутренних дел почти непреодолимую власть над провинциями, а успешность средств принуждения, которые имел Морни как министр внутренних дел, усиливалась тем, что он обращался к провинциям с напоминанием о том, как ужасна опасность анархии и какие злодеи социалисты, — анархия и социализм уже давно были фантомами, которыми запугивались провинциалы (31). Все 40 000 общин Франции были извещены, что немедленно должны сделать выбор между социализмом, анархией и грабежом, с одной стороны, с другой — добродетельным диктатором и законодателем, рекомендуемым и патентованным подписью господина де Морни. Даже такой человек, как даровитый Монталамбер (32) ³⁵, так отлично попался в эту дилемму, что публично высказал свое убеждение, что она верна, что Франции действительно один выбор: Луи Бонапарте или «погибель Франции» (33). В провинциях, как в Париже, были люди, у которых преданность закону была сильнее боязни борьбы с заговорщиками, захватившими власть, и сильнее боязни социализма; но департаменты были оставлены во мраке распоряжениями министра внутренних дел, потому не могли так быстро, как Париж, увидеть, что дело 2 декабря совершено только горстью соумышленников, без содействия государственных людей, бывших друзьями закона и порядка; в первые минуты по получении прокламаций, провинции изумились и смутились, но скоро поняли дело так, что президент, конечно, действовал при помощи знаменитейших государственных людей, что поэтому надобно надеяться, что он произведет только благотворные перемены в конституции, возвратит Франции хоть часть того спокойствия и той свободы, которыми она пользовалась при Луи-Филиппе. Поэтому, если и были кое-где по провинциям восстания, то они были ничтожны, а всякий департамент, в котором можно было ждать их, был провозглашаем или уже прежде провозглашен находящимся на военном положении. За каждой попыткой восстания в провинциях следовали убийства, ссылки, заключение в тюрьму, секвестрация имуществ; всем этим с безграничною властью распоряжались командиры войск, назначенные из генералов, ненавидевших законный порядок и нацию, его любившую, пылающих чувством, которое известно под именем «усердия». Некоторые из них в своей ярости переходили всякие границы политического благоразумия, хотя бы и самого свирепого. Например, в департаменте Аллье было назначено предавать военному суду всех тех, о которых «начальство знает, что они брались за оружие», и отправлять в ссылку всех «известных за людей социалистского образа мыслей» — ссылать их просто по административному распоряжению,

без всякого суда, и секвестровать их имущество. Таким образом, то, что человек имеет в своих мыслях известное убеждение по теоретическим вопросам, уже вменялось в уголовное преступление, и арестованные были казнимы или вовсе без суда, или по суду людей, принявших на себя обязанность палача. Фамилия генерала, издавшего такое постановление, — Энар³⁶; оно было тотчас же одобрено и обнародовано правительством (в «Монитёре», 28 декабря).

Свирепость, с которой действовала элизейская братия, без сомнения, происходила оттого, что она трепетала за себя; но когда заговорщики начали опомниться от страха, ими стало управлять другое побуждение, которое, однакоже, вело их по той же дороге: теперь они уже придавали своим действиям такой колорит, которым думали приобрести поддержку и расположение огромного числа людей, — людей, которые мучились боязнью демократов и желали одного — безопасности. Более трех лет масса жила в боязни «социалистов»; и хоть сами по себе приверженцы социализма никогда не были так сильны, чтобы человек с характером мог опасаться их, но они были более или менее связаны с горячими демократами, которых называли «красными»; а республиканские учреждения были новы и слабы, потому нация, натурально, могла опасаться анархии; но многие находят, что приверженцы порядка, — эта масса образованного общества, чуждая всяким партиям, одинаково расположенная поддерживать существующий порядок, какова бы ни была форма правления, — что эта масса, опиравшаяся на всю массу сельского населения, имевшая за себя большинство писателей и владеющая почти всею недвижимою собственностью, почти всеми капиталами, могла быть осторожна и без трусости. Однакоже, как бы ни было, основательною боязнью или фантомом она была запугана, боязнь привела ее в расслабление, которое нельзя не назвать унижительным. Эти люди, потерявшие всякую бодрость духа, умиленно смотрели на правительство, как на своего естественного покровителя, и готовы были продать свою свободу за безопасность от анархии. И вот элизейская братия, оправившись от своего страха, увидела теперь, если не рассчитывала на это и прежде, что получит себе большую выгоду, если уверит эту массу, что ее предприятие — война против социализма. Те горсти людей, которые дрались на баррикадах после ночного переворота 1/2 декабря, действительно состояли отчасти из социалистов, а отчасти и из людей, которые взялись за оружие без всякого социализма, только потому, что были люди высокого мужества, не способные смотреть сложа руки на то, что попирается закон. Но элизейская компания была владычицею, единственною владычицею печатного станка; преувеличивая вспышки, происходившие в некоторых городах, и соединяя всех бравшихся за оружие под название одной ненавистой партии, она уверила тысячи, может быть, миллионы людей, что занимается энергиче-

скою, отчаянную борьбою против социализма. По мере того, как это уверение было принимаемо за правду, громадные толпы шли на сторону правительства ³⁷, и надобно полагать, что даже между высшими классами, гордо оставшимися в отчужденности от Элизейского дворца, было много людей, в глубине души радовавшихся тому, что избавились от страха, внушавшегося им демократами, хоть избавление и было куплено тою ценою, что Франция переходила на время в руки людей, подобных Морни и Мопа.

Да, многим казалось, что проделка элизейской братии счастливо выручила их от демократических страхов, вывела на безопасный путь беспечной жизни. Когда араб приходит к решению, что в бурнусе, день и ночь бессменно одевающем его, население уже слишком размножилось, он кладет бурнус на муравейник, чтобы одна порода насекомых была изгнана другою, и когда это исполнится, он легко стряхивает победителей ударом хлыста или чубука. Образованное общество Франции думало поступить по этому способу с своим отечеством, — и первая часть дела была исполнена успешно: красная порода была перебита, передавлена или изгнана; но вслед за тем оказалось, что голодная бесцветная порода, порода, употребленная на исполнение этого дела, решительно не хочет быть стряхнута с бурнуса, прицепилась к нему и до сих пор, через столько лет, все еще цепко держится за него и ест очень хорошо.

Войска, действовавшие в провинциях, в точности подражали парижской армии. Но правительство опасалось, что солдаты, при всей своей горячности, уничтожат только наружный слой недовольных, что палаш и пуля не пробьют самого сердца нации: армия убивала людей на улицах, дорогах и полях, стреляла и в окна домов, расстреливала толпы пленных, — все это так, но она не имела способности отыскивать негодующих друзей порядка и закона, не компрометировавших себя наружным образом. Потому Морни послал по провинциям людей черной репутации, вооруженных ужасающим полномочием. Эти люди назывались комиссарами правительства; куда ни приезжал комиссар, население трепетало: по опыту 1848 г. оно знало, что в числе этих уполномоченных грозного министерства внутренних дел бывают люди, известные полиции и своими преступлениями, как своими услугами, и что иной такой властитель заставляет население дорого платиться за охранение порядка (34).

Были времена, когда угасавшая искра национальной жизни поддерживалась служителями веры, и когда это бывало, то возникала в народе глубокая любовь к своей церкви, непоколебимо противостоявшая потом течению веков. Так было два раза в России (35). Во Франции церковь, правда, уже не пользовалась силою, какую имела прежде, но добродетельная жизнь ее смиренных, трудящихся священников все-таки уже возвратила ей более значительное влияние на умы французов, чем предполагала

Европа. Потому, когда вся светская правительственная власть в государстве была захвачена горстью соумышленников, когда вдруг были низвергнуты ими и парламентская, и судебная власть, которая могла обуздать их, французская церковь, уцелевшая среди этого разрушения, вдруг явилась имеющею очень много силы помочь или повредить нации. Она могла стать между солдатом и его безоружною жертвою, могла закрыть народ от его ярости, могла вынудить уступки в пользу низложенной нации. Или, действуя еще энергичнее, она могла сделать прямой выбор между добром и злом, — и она сделала прямой выбор.

Массу французского духовенства составляют люди, ревностно преданные церкви, бескорыстные. Но церковь, которой они служили, уже была привлечена на сторону президента тем, что французская армия при нем осаждала, взяла, заняла Рим и восстановила светскую власть папы. Поэтому хоть духовенство и видело, что Мопа, подкравшись ночью, арестовал генералов и государственных людей Франции и закрыл Национальное законодательное собрание, но все-таки оно, из-за римского дела, захотело стать на сторону Мопы. Насколько имело оно участие в политических делах этого кризиса, оно превратило французскую церковь в агентство министра внутренних дел. В селах, когда пришло время плебисцита (подачи голосов в одобрение или осуждение действий президента и предлагаемой им новой конституции) *, священники раздавали народу билеты с словом «да» и усердно посылали его вотировать.

Все учреждения Франции были низвергнуты или поработаны, элизейская братия видела полную возможность пользоваться своим торжеством и воспользовалась им вполне. Заговорщики решились сделать, чтобы не осталось во Франции людей, достойных называться мужчинами. По особенностям политического состояния Франции в течение уже многих лет (36), едва ли не большинство энергических людей Франции принадлежало к клубам, которые по закону считались «тайными обществами» (37). Сеть, накинутая на этих людей, должна была захватить десятки и сотни тысяч честных граждан; по приблизительному счету полагали, что в тогдашнем населении Франции было до 2 миллионов человек, продолжавших участвовать или прежде участвовавших в тайных обществах. А если француз когда-нибудь участвовал в обществе, запрещенном по закону, этого было уже достаточно, чтобы к нему могли быть применены законы, которые он тогда нарушал. Но правительство 2 декабря не удовольствовалось ни этим, ни чем-либо подобным: оно поступило гораздо решительнее.

Принц Луи Бонапарте, по внушению и одобрению Морни и Мопы, издал декрет с обратным действием, объявлявший, что правительство имеет право арестовать всякого когда-либо принадле-

* Взятое в скобки — пояснение Н. Г. Чернышевского. — *Ред.*

жавшего к какому-нибудь тайному обществу и ссылать его без суда в Алжирию, в места заключения уголовных преступников, или в знойные болота Кайенны. Этот декрет, подписанный 8 число декабря и обнародованный в «Монитёре» 9 декабря, применялся к такому множеству людей, к какому в Англии прилагался бы закон, который объявлял бы подлежащими ссылке всех когда-либо присутствовавших на политическом митинге; но такой закон был бы во сто раз милостивее изданного новым французским правительством: быть сосланным в Кайенну значит быть осужденным на медленную, мучительную, ужасную смерть. Морни и Мопя настойчиво применяли этот закон с свирепостью, которая вначале была производима в них смертельным страхом за самих себя, потом продолжаема была ими по гнусному расчету приобрести популярность у консерваторов тем, чтобы называть толпы людей социалистами и искоренять их под этим именем. Никогда не будет с точностью определено громадное число всех людей, которые были во все это время убиты или брошены в тюрьмы во Франции, или отосланы на смерть в Африку и Кайенну. Но панегирист Луи Бонапарте и его соумышленников Гранье де Кассаньяк признается, что число людей, сосланных в течение немногих недель новым правительством, простиралось до ужасной цифры 26 500 человек.

Франция могла бы без заметного ослабления вынести потерю многих десятков тысяч обыкновенных солдат и работников; но никакая нация в свете — ни даже сама французская, столь изобилующая людьми, готовыми рисковать жизнью за свободу и честь родины — не может вынести потерю с лишком 25 000 человек, взятых на отбор из самых энергических и мужественных граждан; потерпев потерю стольких таких людей в один месяц, Франция не могла не стать на целые годы страной увядшею, лишенною бодрости духа. Вот почему справедливо мое выражение: Францию обезлюдил.

Но, кроме людей убитых и людей сосланных, было несколько тысяч французов, которых новое правительство подвергло страданиям столь ужасным, что нельзя и пересказывать их подробности. Я говорю о людях, которые были заперты в казематы крепостей и в трюмы кораблей «Канада» и «Дюеклен». Это были большею частью республиканцы. Особенно известны страдания одного отдела их, состоявшего из 2000 человек. В такой большой массе очень большую долю составляли литераторы; это может показаться удивительно; тут были писатели, довольно известные редакторы газет, сотрудники газет; кроме того, было много юристов, медиков, других людей подобных профессий, — людей, принимающих участие в политических делах законным порядком литературной борьбы, а не мятежа. Они были мучимы от 2 до 3 месяцев. Многие из них были выпущены дышать свежим воздухом не раньше 10 марта. Они были содержимы в таких гнусных страданиях, что, когда они были выпущены, неприятно и страшно было

смотреть на них. Многие должны были отправиться прямо в госпитали. Я должен указать источники, на которых основываюсь, — это рассказы Ксавье Дюррье и Ипполита Мажана — «Le Coup d'Etat», par Xavier Durrieu, ancien Représentant du Peuple; «Histoire de la Terreur Bonapartiste», par Hyppolite Magen *. Но у кого нет специальной надобности изучить в подробности дело 2 декабря, тот пусть лучше не читает этих страшных страниц: всякий, кто читает их, тот долго мучится воспоминаниями прочтенного; эти видения долго будут тяготеть над его мыслями, и не скоро он успеет отделаться от картин гнусного мучения, которому подвергались люди, наши современники.

Наконец пришел срок так называемого плебисцита — подачи голосов по вопросу, принимает ли Франция власть Луи Бонапарте и его конституцию. Дело было устроено так, что покорность диктатуре Луи Бонапарте была для Франции единственным средством избежать анархии полного хаоса. Президент объявлял в своей прокламации, что если Франция не хочет давать ему президентства, то может избрать на его место другого; но этот выбор предоставлялся ей только на словах, а не на деле: на деле вотирование состояло только в ответе «да» или «нет» на вопрос, быть ли президентом Луи Бонапарте; голоса, поданные за какого-нибудь другого кандидата, не должны были приниматься за поданные. Ясно, что «нет» оставляло бы государство без правительства, — анархия, которую влекло это за собою, уже и сама по себе была угрозой, достаточною, чтобы вынудить «да». Потому, если бы собиранье голосов и было ведено с полною честностью, уже самый способ постановки вопроса отнимал всякую свободу выбора: та административная централизация, которая в феврале 1848 года заставляла нацию объявить, что ей нравится республика, — потому что иначе нация подвергалась бы анархии, — теперь заставляла беспомощную нацию стать на колена и сказать, что ей приятно иметь единовластным законодателем персону, рекомендуемую господином Морни.

Имея в своем распоряжении армию и всю правительственную власть и предложив нации вопрос в такой форме, элизейская братия могла бы, кажется, безопасно для себя предоставить делу вотирования идти к неизбежному результату без дальнейшего стеснения свободы; если бы она поступила так, она придала бы хоть некоторую благовидность своему уверению, что плебисцит надобно считать за утверждение ее деяний волею нации. Но эта братия, думая о своих деяниях и имея руки, покрытые кровью, не рискнула предоставить хоть вида свободы выбору. Она поступила вот каким способом: она объявила 32 департамента находящимися на военном положении; а чтобы поставить всякий другой из осталь-

* «Государственный переворот», сочинение Ксавье Дюррье, бывшего народного депутата; «История бонапартистского террора», сочинение Ипполита Мажана. — Ред.

ных департаментов в такое же положение, ей нужно было только взять лист бумаги и перо с чернилами; потому можно по полной справедливости сказать, что вся Франция была под тяготением военного положения.

Итак, каждый избиратель вотировал под палашом. Но палаш, занесенный над ним, далеко не единственное обстоятельство, которым этот плебисцит à la Bonaparte отличается от свободного вотирования. Чтобы масса могла выразить какое-нибудь мнение, людям, ее составляющим, надобно согласиться между собою. Заговорщики 2 декабря давали ей приглашение согласиться с ними, — действовали в этом смысле всеми правительственными средствами; противники их не имели никакой возможности переговорить, чтобы согласиться между собою. Были безусловно запрещены не только всякие публичные собрания для совещаний о вотировании, — были невозможны даже и небольшие собрания в домах частных людей для этих совещаний. Газеты — главнейшее средство согласиться в том, как надобно вотировать. Но кроме газет, издаваемых элизейскими компаньонами, не было тогда никаких газет: все не расположенные в пользу заговорщиков замолкли. Нельзя было напечатать ни одного слова, неблагоприятного кандидату господина Морни. Ставилось в преступление даже то, если кто стал бы печатать или раздавать билеты для вотирования против Луи Бонапарте, и во время церемонии, называвшейся «выбором», действительно было арестовано несколько лиц за то преступление, что раздавали отрицательные билеты или убеждали других вотировать против президента. Скоро все увидели, что каждый противник элизейского правительства был на выборах так беспомощен и одинок, как слепой и глухой.

В Шерском департаменте генерал д'Альфонс³⁸ декретировал, что всякий «распространяющий слухи или внушающий опасения, беспокоящие народ», будет немедленно арестован и предан военному суду. Префект департамента Верхней Гаронны формально запретил всякие собрания, «как бы малочисленны они ни были», и объявил, что всякий, кто нарушит это приказание, будет сочтен за члена тайного общества и, сообразно страшному декрету 8 декабря, будет сослан; что всякая раздача печатных или даже писанных билетов для вотирования, не одобренных мэром или мировым судьей, будет сочтена за преступление; что будет почтен виновным в возбуждении междоусобной войны и немедленно предан суду всякий, кто «будет распространять какое-либо мнение», — это буквально так сказано в декрете префекта, доходившего почти до помешательства в своей ярости против свободы. В третьем департаменте помощник префекта объявил, что будет арестован всякий, кто «усомнится» в добросовестности действий правительства.

Вот какие средства были приняты генералами, префектами и помощниками префектов для обеспечения выбора. Но едва ли даже и нужно было такое усердствование, потому что при самом начале

своего дела элизейская братия приняла меру, которая и одна была бы уже достаточна для вынуждения согласия. Общее вотирование было назначено 20 и 21 декабря; а армии было приказано вотировать гораздо раньше — в течение 48 часов от получения депеши о том, рассылавшейся 3 декабря. Таким образом, все военные силы Франции вотировали, можно сказать, под ружьем, в строю, и результат их вотирования был уже обнародован задолго до того времени, когда стала вотировать остальная нация. Итак, если бы Франция осмелилась вотировать против президента, она бы поставила себя в немедленное и прямое столкновение с своею армиею, — и притом в такое время, когда была отдана на ее произвол военным положением.

Застигнутая врасплох, смущенная, совершенно безоружная и беспомощная Франция должна была или решиться на поднятие безнадежной войны против своего могущественного правительственного механизма и своей огромной армии, наступившей ей на горло, или разом поддаться Луи Бонапарте и Морни, и Мопя, и господину ле Руа, по прозванию Сент-Арно. Она поддалась. Элизейские компаньоны потребовали у Франции <ответить> или «да», или «нет» на вопрос, поручает ли она Луи Бонапарте собственную его волю сочинить новую конституцию для управления Францией, и когда уже известною нам методою, сгоняя людей вотировать бессмысленными стадами, они получили от них билеты с «да», число которых благорассудили показать в 8 миллионов, то Парижу было объявлено, что особа, так долго бывшая любимым предметом его насмешек, стала теперь единовластным законодателем его, Парижа, и всей Франции. В сочинительстве законов, каким желал он подчинить страну, принц Луи Бонапарте был искусник; он издавна учился тому, как облекать азиатское самовластие терминологиею, заимствованною из устройства свободных европейских государств. При советах и содействии Морни и, без сомнения, с полным одобрением остальных заговорщиков он составил акт, по названию бывший «конституциею», а по действительному смыслу — постановлением о том, что он должен повелевать, а Франция должна платить ему дань и повиноваться³⁹.

Мы видели, что успех заговора 2 декабря основался на убийстве, которое было совершено над множеством людей на бульварах 4 декабря; и так как это странное происшествие стало причиною важной перемены в государственном устройстве и политике Франции и даже в судьбе Европы, то надобно по возможности разобрать, как и отчего оно произошло. К началу вечера 4 декабря дело заговорщиков казалось почти безнадежно упавшим от одиночества, в котором беспомощно оставались принц Луи Бонапарте и его сообщники. Но в это время, в 3 часа пополудни, началось убивание толпы, и когда трупы были убраны с бульвара, Париж и Франция были уже под полною властью Элизейского дворца. Пострадавшие и оскорбленные французы, видя такую при-

чину такого результата, натурально, были расположены думать, что бульварное убийство было обдуманно устроено по злодейскому расчету для достижения цели, к которой привело. Как по мнению кембриджского теолога, человек, смотрящий на часы, необходимо должен получить убеждение в существовании часовщика, так люди, видевшие адское убийство, убедились, что тут действовали демоны. Они видели, что оно дало богатство и благоденствие элизейскому товариществу, и нашли, что безошибочно могут вывести из этого: люди, собравшие жатву, как свою, и посеяли ее. Но, насколько дело известно теперь, это заключение не имеет в свою опору убедительных доказательств; и, быть может, сообразнее будет с общими нашими понятиями о человеческой натуре, если мы примем такой взгляд, что бульварное убийство произошло от множества разнообразных обстоятельств, а не произведено холодным расчетом президента, сообразившего, что ему нужно убить множество мирных мужчин и женщин, чтобы ужас этой сцены отнял всякую бодрость духа у парижан. Можно объяснить дело, и не прибегая к ужасной гипотезе такого расчета.

Армия, как мы видели, кипела ненавистью ко всем не-военным и ее ожесточение было заботливо раздуваемо президентом и Сент-Арно (38). Это чувство, если бы не подкрепилось другими побуждениями, не довело бы храбрую французскую армию до того, чтобы стрелять в упор в толпу беззащитных мужчин и женщин; но в душе элизейской братии и командовавших генералов было другое чувство, более сильное, и от них заразило оно солдат и офицеров.

Когда живым существом — человеком или животным — овладевает ужас, это существо, смотря по различию темперамента и обстоятельств, или повергается в бессильное, недвижимое оцепенение, или мечется с истерической энергиею; в последнем случае ужас бывает самую пламенную и слепую из всех страстей. Во французах нервическая впечатлительность южных племен соединяется с очень большим количеством энергии, принадлежащей северным племенам, потому они очень способны увлекаться в обе формы ужаса: и в тот ужас, от которого люди начинают слепо убивать других, и в тот, от которого люди повергаются в оцепенение. 4 декабря в Париже были обе эти формы ужаса: армия свирепствовала, народ повергся в оцепенение, но и армия, и народ одинаково были под властью ужаса. Правда, между зрителями на бульварах не было людей вооруженных, которые могли бы довести солдат до свирепого панического ужаса материальным образом; если и было два-три выстрела из окон, — вещь сомнительная, — два-три выстрела на улице, покрытой людьми, очевидно сошедшимися только посмотреть на парад, а вовсе не сражаться, не могли бы испугать отличных солдат, каковы французские, — это для них пустяки. Но дело в том, что президент и его сообщники хоть получили полный успех в машинальной части дела, но не

получили поддержки от людей с репутациею и авторитетом⁴⁰. Потому они, очевидно, были в опасности; и если Морни и Флери еще сохраняли мужество и 4 декабря поутру, то нет никакого сомнения, что президент, его дядя Иероним, сын Иеронима Пьер⁴¹, Мопэ, Сент-Арно, Маньян трусили, видя опасность положения, в которое поставили себя.

Душевное состояние президента было, судя по всему, очень похоже на то, какое овладевало им прежде, в Страсбурге и Булони, и опять потом под Маджентою и Сольферино. Как он был оцепеневшим от страха во все время маджентской битвы, это видели все, потому что он имел необдуманность не спрятаться от своего войска⁴². Но в день сольферинской битвы были приняты меры, чтобы посторонние глаза не могли видеть, каково он чувствует себя, а потом его сотоварищи стали очень усердно уверять Европу, что во время этого сражения он не только был в состоянии делать распоряжения, но даже находился на таких пунктах, где была очень большая опасность. «Тут император Наполеон, — по словам «Монитёра», — превзошел, можно сказать, самого себя; его видели повсюду, повсюду руководящего битвою; все окружающие его содрогались, видя, каким опасностям он подвергает себя; он один казался не видящим опасности». Такое усердие хвалителей заставило англичан наполовину поверить, что он держал тут себя мужественно. Но во Франции хлопоты об этом не удались по неприятному обстоятельству, произошедшему оттого, что французский император некстати поддался и тут своему пристрастию к блеску и театральной парадности: кроме многочисленного штаба, он имел при себе кавалерийский отряд, в прекрасных новых, очень нарядных мундирах, и известную «Конвойную сотню» — «Cent gardes». Штаб и этот отряд составляли очень большую и видную массу, плотно занимавшую целые сотни футов по фронту и в глубину; если бы такая масса людей действительно подъезжала хоть близко к таким пунктам, где шло сражение, то нет никакой человеческой возможности, чтобы многие из нее не были ранены и убиты. Но из всего этого полчища никто не был убит, никто даже не был ранен, кроме одного солдата из конвойной сотни, о котором «Монитёр» утверждает, будто бы у него действительно была оцарапана пулею кожа, — это «Монитёр» говорит в опровержение слуха, что раненый не был и оцарапан, а только мундир его был в одном месте порван, — порван, быть может, и действительно пулею. При таком обстоятельстве как же могла Франция поверить словам хвалителей? Возможно ли было, чтобы огромный отряд людей — и притом же конных людей — двигался весь день под убийственным огнем и остался до такой степени неприкосновенен для пуль и ядер? Но «Монитёр» не смутился этим затруднением; он призвал на помощь себе небесное провидение и объявил, что «покров божественный», охраняющий императора Наполеона, «распростерся тут и на его свиту», — «la protection dont Dieu l'a

couvert s'est étendue à son état major» («Moniteur», 29 июня 1859). Париж хохотал; потому умнейшие из империалистов рассудили, что вопрос о том, как держал себя их государь при Сольферино, — один из тех вопросов, о которых лучше всего молчать.

Преднамеренно распускаемая ложь часто порождает мнение такое же неверное, но прямо противоположное тому, в котором хотели уверить. Я должен предостеречь и против этого. Как при Сольферино, так и при Мадженте, прежде того в Страсбурге и Булони и теперь во время декабрьского кризиса Луи Бонапарте растерялся, упал духом, но ни в одном из этих случаев его трусость не должно считать ничем, кроме той потери присутствия духа, которой подвергается в опасные минуты большинство обыкновенных людей не-военного звания. Но должно сказать, что во всех этих пяти случаях он сам же вздумал ставить себя в положения, требующие мужества, — хотел разыграть роль героя, несогласную с его темпераментом. Она была для него невозможна: мало того, что он, подобно большинству обыкновенных людей, совершенно терял способность соображать и действовать, когда видел перед собою опасность, — кроме того, он не мог и скрывать этой потери всякой бодрости: его лицо, его взгляд выдавали его. Когда он встревожен, то, быть может, по какому-нибудь болезненному физическому недостатку в сердце или артериальной системе, лицо его мертвеет, зеленеет. Если бы, бледнея и зеленея, он сохранял присутствие духа, бледность только свидетельствовала бы силу его характера, побеждающего физическую слабость; но когда душа дрожит вместе с телом, человек не годится в распорядители опасных дел и наводит уныние, трусость на тех, которым должен давать приказания. Натурально, что трусость президента должна была убивать бодрость и в его помощниках. А мы знаем много фактов, показывающих, что с ночи 1 декабря до вечера 4 декабря президент действительно очень боялся за себя и не знал, что ему делать. У него был давно обдуманый план выборов; 2 декабря он обнародовал его как закон, а 3 декабря отменил, уступая предполагаемому им недовольству парижан этими правилами. Он сжигал заботился о том, чтобы подле него был сильный кавалерийский корпус, — чтобы служить ему конвоем, когда вздумается ему, что пора бежать; почти все время кризиса стояли на дворе Элизейского дворца экипажи и верховые лошади для его бегства. В это же время он прибег и к отчаянному средству — обнародовать фальшивый список членов совещательной комиссии. Но всего лучше можно судить о состоянии его духа по той позитуре, в какой застаёт его история, когда ловит его при попытке приобрести милость солдат.

Когда человек нехраброго десятка видит себя в опасности, видит свою жизнь зависящею от каприза солдат, он по инстинктивному движению хватается все деньги, какие есть у него, и отдает их солдатам с уверениями, что любит их и благодарит перед ними.

Точно так поступил и Луи Бонапарте. Эту вещь нельзя было утаить, и его историк Гранье де Кассаньяк рассудил, что уж все-таки лучше всего будет, если рассказать ее величественным слогом классической древности, — назвать солдат победителями эффектного греческого слова, а французские пятифранковые монеты называть «оболами». «У президента оставалось из всего фамильного его богатства, полученного по наследству, 50 000 франков. Он знал, что в некоторых случаях прежних смут войско поддавалось инсургентам не столько потому, что было побеждено, сколько потому, что было изнурено от голода. Потому он взял все деньги, какие оставались у него из прежнего богатства, — все, до последнего пятифранковика, — и поручил полковнику Флери итти и раздать солдатам, победителям демагогии, раздать им поротно, повзводно этот его последний обол». Президент в одном из своих прежних воззваний к парижской армии говорил, что не скажет солдатам: «посылаю вас вперед», а станет сам впереди и скажет: «следуйте за мной». Едва ли пристойно было обращаться с пустыми актерскими словами подобного рода к настоящим солдатам; а во всяком случае президент не имел обязанности исполнять их, потому что на улицах Парижа едва ли могла когда-нибудь произойти такая битва, чтобы литератору, хотя бы он и был президентом, нужно было с аффектациею становиться впереди солдат, закаленных в войне; но все-таки между хвастовством президента и характером, какой выказал он на деле, такая разница, что нельзя не усмехнуться при встрече с ним. Президент клялся, что поведет солдат на врага, а вместо того выслал им денег. По всей вероятности, такая замена не была огорчительна для солдат, и я упоминаю об этой взятке, которою подкупал он людей, пугавших его своим оружием, только потому, что она выказывает нам, в каком настроении духа находился он, и тем открывает причину убийств 4 декабря.

Другой ключ к той же тайне мы находим в декрете 5 декабря, которым президент постановил, что сражения с внутренними врагами, инсургентами, должны считаться в такую же честь и давать такие же награды войскам, как битвы с иноземными неприятелями. Правда, этот декрет был издан не до убийств, а уже после них, но настроение духа, в каком человек встречает опасность, можно отчасти отгадывать из того, что он делает в первое время по миновании опаснейшей минуты. Находя, что глава гордой и могущественной нации был способен подписать 5 декабря такой декрет, мы можем составить себе некоторое понятие о том, каковы были его ощущения накануне поутру, когда агония ужаса еще не сменялась непристойным восхищением о миновании беды.

В то время как принц Луи Бонапарте чуть не кланялся в ноги солдатам, его дядя Иероним находился в таком трепете, что неспособен был сдерживаться, и напечатал письмо, в котором обнаруживал свою трусость и даже выказывал намерение отступиться

от племянника. Он говорил, — и, быть может, говорил правду, — что хотя подвергал себя опасности, сопровождая президента в его поездке по улицам 2 декабря, но невиновен в заговоре и был чужд умыслов Элизейского дворца (это письмо было отправлено в печать вечером 4 декабря, когда Иероним еще не знал, что восстание уже почти подавлено). Сын Иеронима, Пьер, действительно порицал, как уверяют, действия президента, и порицал сильно; потому натурально было ему не желать класть голову на плаху или подвергаться каким-нибудь бедам из-за того только, что он двоюродный брат принцу Луи Бонапарте. Всякий и самый храбрый человек всегда будет принимать меры против того, чтобы его не казнили по ошибке, и нельзя осуждать принца Пьера-Наполеона за то, что он отделял свою судьбу от опасной судьбы элизейской компании, в умыслах которой не участвовал. Так; но видя, что даже его родственники отрекаются от него, президент должен был еще более трусить и наводить трусость на своих сообщников.

Мопа, или де Мопа, был человек крепкого, здорового телосложения, с румяными щеками, но бывает, что обширное и прочноеместилище не вмещает в себе крепкого духа и само не выдерживает опасности. Говорят, что цветущее здоровье изменило господину Мопу в критическое время от ночи 2-го до вечера 4-го декабря: он имел несчастье страдать немощью во весь этот период страха.

Надобно также повторить, что 4 декабря парижская армия была удерживаема в бездействии всю большую, лучшую для действия часть дня от утра до 2 часов пополудни.

Есть и другие факты, показывающие, что элизейская братия в это время трепетала того, что уже наделала, трепетала и того, что приходилось ей делать. Очевидное дело, что Маньян и двадцать генералов, обнимавшихся 27 ноября, видели теперь себя запутавшимися в такую опасность, какой не предполагали: одиночество, в котором покинут был президент, пренебрегаемый всеми людьми с хорошою репутациею и почтенным положением в обществе, — это одиночество и пренебрежение показывало всем помогавшим ему генералам, что непроницаемая, по их прежнему уверению, броня — «письменное приказание военного министра» — стала очень плохим прикрытием их телу.

Французы расположены думать и действовать гуртом; в их армии нет между солдатами и офицерами той разницы по общественному положению, которая в английской армии считается лучшей преградой распространению панического страха и других опрометчивых увлечений. Во французской армии порыв отваги или ужаса часто пробегает, как электрический удар, по всему войску, овладевает всею массою и солдат, и офицеров, и генералов. Чаще всего порыв начинается снизу, от рядовых солдат распространяется на командиров. Тут было наоборот: он шел от главных командиров через офицера на солдат. Шесть часов войско стояло

и стояло в строю в нескольких сотнях шагов от баррикад и все не атакowało их, — оно все ждало и все не получало приказа атаковать их. Ясно было, что правительство колеблется, а генералы понимали, что даже недолгое колебание в такое время — и признак, и причина опасности; когда же они увидели, что в колебании проведена уже большая часть дня, они не могли не понять, что элизейский заговор проваливается оттого, что не нашел себе поддержки, и не могли не знать, что если он провалится, то судьба их будет очень дурна.

По своему темпераменту французы более способны выдерживать долгие часы в битве, чем в бездейственном ожидании подобного рода, тяжело действующем на нервы. А смущающее ожидание опасной борьбы, когда длится много времени, легко перерождается у них в ту форму расстройств мысли, которая внушает человеку свирепость; 4 декабря войско было подвергнуто такому раздражающему тяготению страха. А у Маньяна и командовавших под его начальством генералов мучительность ожидания опасной битвы в течение более чем двух третей дня усиливалась ожиданием страшной ответственности перед законом: они сознавали, что если элизейский заговор рухнет, они будут преданы суду за свое совещание 27 ноября. Кто сообразит ощущения этих двадцати одного генерала и сколько-нибудь знает французскую армию, у того явственно зазвонят в ушах резкие восклицания, скрежет зубов и ругательства, какие слышатся от раздраженного французского генерала. Но если генералы, против обыкновения французских генералов, и молчали, то их лица и жесты, выражавшие ужас, не могли не быть быстро поняты зоркими французскими солдатами и офицерами. Офицеры и солдаты не могли с точностью определить, чем именно смущены и раздражены генералы, но такая неизвестность только увеличивала тревогу, заражавшую этих наблюдателей. А мы знаем, что были даны инструкции, приказывавшие войску беспощадно убивать всех, кто будет противиться или мешать ему; в них, конечно, не говорилось, что надобно или позволительно убивать мирных зрителей, не мешающих войску, но они своею свирепостью действовали на умы солдат так, что под влиянием их всякое опасение должно было принять в солдатах свирепый характер.

По всему этому я понимаю ход дела так: натуральный и очень основательный трепет президента и некоторых его сообщников за свою судьбу обратился в яростную тревогу, перешедши от них на генералов, от генералов этот ожесточающий страх за себя спустился все ниже и ниже в войско и охватил солдат с такою одуряющею силою, что они, не дожидаясь команды, вдруг повернулись фронтом к безоружной толпе и стали стрелять.

Если принять такое объяснение, то надобно будет бросить теорию, приписывающую принцу Луи Бонапарте злодейское умышленное устройство убийств на бульварах для наведения страха на

Париж и для подавления оппозиций; но хоть и можно будет в таком случае сказать, что он не давал точных и подробных приказаний о том, что надобно убивать мирную толпу, все-таки нельзя отвергнуть того, что убийство это было произведено им вместе с Морни, Мопя и Сент-Арно, при соучастии и одобрении Флери и Персиньи. Эта компания придумала и совершила дело 2 декабря; она же для поддержки своего ночного дела поставила армию из парижских улиц; она своими внушениями направила мысли солдат к убиванию парижан; наконец, по ее колебанию и колебанию Маньяна, бывшего ее орудием, армия, поставленная в виду баррикада, была удерживаема в бездейственном ожидании до того, что генералы заразились в измененной форме ужасом, сообщавшимся им из Элизейского дворца, от генералов он сообщился солдатам в виде свирепого панического одурения, бывшего непосредственною причиною убийства. Я должен также просить не забывать, что сомнение, которое я стараюсь разъяснить, относится только к убийству мирной толпы на бульваре. То, что убивание пленных, взятых в баррикадированных кварталах, было делом предумышленным, исполнявшимся вследствие точных приказаний из Элизейского дворца, — это положительный факт, о котором невозможно спорить. Надобно прибавить и то: люди, руки которых облились кровью этих убийц, взяли и добычу, приобретенную убийствами. Сент-Арно уже нет в живых. Но Луи-Наполеон Бонапарте, Морни, Флери, Мопя, Маньян, Персиньи — эти господа все еще живы, и в их шкатулках продолжают накапливаться деньги, собираемые с французской нации.

Вещь известная, что самые напрактиковавшиеся игроки иногда утомляются своими продолжительными усилиями вперед рассчитывать шансы игры и тогда, в своей взволнованной неизвестности будущего, охотно принимают даваемый на-авось совет гораздо менее опытного, но твердого духом молодого сотоварища; и когда этот горячий юноша, смело восклицая: «счастье повинуется моей воле», говорит: «ставь вот эту карту», выхватывает карты из опытной руки и сам бодро становится на место изнуренного расчетами и мнительностью, бледный старый игрок покоряется силе крепких нервов юноши, и если юноша выигрывает, старик проникается благодарностью к нему за удачу страшного риска, в который был введен им. Полковник Флери вел вперед элизейских своих сотоварищей, владычествовал над ними в период кризиса пламенностью и твердостью своего характера, и колеблющиеся подчинялись его руководству. Прибавляют, что не раз ему приходилось не ограничиваться убеждениями, приходилось прибегать к угрозам, силою вынуждать остальных идти по его указанию; было ли это, или довольно было и мягких средств убеждения, но положительный факт то, что он заслужил их благодарность, приказывая им продолжать и продолжать игру, — он сорвал банк и выиграл им — Францию. Они поступили круто с вы-

игранною в банк страну: отняли у нее свободу, запустили лапы в ее кошельки, стали обогащаться ее богатством. Они воссели ее царями и повелителями, перед лицом всей Европы насиловали ее, как угодно было их душе. Ненавистники свободы и недоброжелатели Франции во всех странах Европы увеселялись этим зрелищем.

Таковы были дела, совершенные принцем Луи Бонапарте. То, что клятвою обязался он сделать, известно всем, — он публично дал эту клятву 20 декабря 1848 года. Он стоял в Национальном собрании, подняв руку к небу, и произносил слова президентской присяги: «Пред лицом бога и пред французским народом, в собрании его представителей, клянусь остаться верен единой и нераздельной демократической республике и исполнять все обязанности, возлагаемые на меня конституциею». Он дал эту присягу как правитель; как частный человек, он поручился за ее исполнение своею личною честью в тех словах, которыми добровольно дополнил ее тут же: по записке, обдуманно написанной, он прочел собранию: «Воля нации и присяга, данная теперь мною, определяют мои обязанности. Они ясны: я буду исполнять их, как честный человек. Я буду считать врагом Франции всякого, кто захотел бы незаконными средствами изменить учреждения, которые установила для себя Франция».

В Европе были тогда сотни тысяч мужчин и миллионы женщин, искренно убежденных, что определить границу, разделяющую доброе от злого, — дело духовенства, что дело хорошо, если духовенство благословляет его. Теперь, — утром, на 30-й день после 2 декабря, — лучи 12 000 восковых свеч пробивались сквозь густой зимний туман, висевший в воздухе, и разливали потускневший свет свой по громадному пространству церкви, служащей памятником веков, памятником странно разнохарактерных переворотов французской истории. В этой церкви собрался сонм епископов, священников и диаконов римского отдела церкви христовой. Этот сонм епископов, священников, диаконов собрался, стоял и ждал прибытия человека, дававшего присягу 20 декабря 1848 года; им, по их мнению, принадлежало право устанавливать отношения между человеком и богом, и человек, дававший тогда ту присягу, благоволил теперь уведомить их, что вновь явится пред лицо божие, — и на этот раз при их содействии. И вот он прибыл. На том месте, где преклоняли колена короли Франции, стоял теперь непременный режиссер труппы, дававшей спектакли в Страсбурге и Булони, а подле него, как и следует, Морни, с приятностью размышляющий о величине выигранной ставки, и Маньян, основательно претендующий теперь на суммы уже гораздо побольше 100 тыс. франков, и Мопэ, уже исцелившийся от недуга, и Сент-Арно, урожденный ле Руа, и Фиален, принявший имя Персиньи, и двигатель всего дела Флери, которому, вероятно, хотелось поскорее отделаться от скучной церемонии, чтобы заняться кутежом

на нынешние богатые средства, а пока, во время скучной церемонии, вероятно, размышлявший с зевотою о том, как странно это случилось, что он стал владыкою судьбы великой нации благодаря своему пламенному пристрастию к кутежу. Когда духовенство увидело, что присягатель и его компаньоны готовы, оно начало обряд. Надев ризы, во всю длину обшитые знаками креста господня, и приняв через это вид возвысившихся над всякою земною суетою и боязнью, епископы и священники пошли к алтарю, во скурили кадила фимиама господу богу, и коленопреклонялись пред ним, и воздвигались от коленопреклонения, и снова коленопреклонялись, и воздвигались и, наконец, в слух тысячей воспели гимн славословия, издревле служащий выражением благодарной хвалы всеильному богу за великие милости, оказываемые его десницею; хвала богу воспевалась теперь в Notre Dame за то, что совершено было принцем Луи Бонапарте в эти тридцать дней, начинающая с ночи 1—2 декабря. И, пропев «Тебе бога хвалим», епископы и весь сонм духовенства возвысили голоса и воскликнули: «Domine, salvum fac Ludovicum Napoleonem», — «боже, да сохраняеши Луи-Наполеона».

Что же такое зло, что добро? И кто заслуживает того, чтобы за него молилась вся нация? Если совестливые и набожные люди во Франции, возмущенные декабрьскими деяниями, обращались с этими вопросами к французской церкви, она им дала ответ в этот день в кафедральном соборе столицы.

В следующем декабре форма государственной системы была приведена в соответствие с ее сущностью, и президент республики стал тем, что называют «император французов»; он благоизволил принять титул: «Наполеон III, милостию божиею и волею народа император французов».

Когда думаешь о событиях декабря 1851 года, внимание естественно влечется сосредоточиваться на людях, которые были деятелями в них, и на других лицах, которые хотели действовать, — конечно, не в том духе, — но не могли, потому что упали в ямы, выкопанные для них злоумышленниками. Но все-таки нельзя же не видеть, что главный факт этого времени — не действия или судьба отдельных лиц, а покорная уступка массы людям, захватившим власть. Странно кажется, что в это критическое время нация, давно уже бывшая свободною и всегда бывшая храброю, бездействовала. Причиною бездействия была ненависть, внушенная ей к демократам. Чистая демократия тогда была выставлена французам столь враждебною личной свободе, столь опасною и тяжелою, что не только люди, имевшие политический образ мыслей, несогласный с демократами, но и вся масса, вообще не вмешивавшаяся в политические споры, была восстановлена против демократов; поэтому демократические учреждения должны были лишиться своей хилой жизни, как только будет обращено против них оружие солдат. Подобные случаи многочисленны в истории.

Но обыкновенно солдаты были двигаемы против демократических учреждений вождем, получившим славу в войне. Теперь пример Франции доказал, что в таких обстоятельствах лицу, распоряжающемуся армиею, не нужно иметь и военной славы, довольно иметь немножко хитрости, — этого уже достаточно: человек, до той поры предводительствовавший только актерами в поддельных мундирах, стал диктатором, законодателем, абсолютным монархом. Пример этот научает и другой истине. Обыкновенно переход от свободы к деспотизму совершался постепенно; декабрьские события доказали, что он может совершиться мгновенно, когда нация, возненавидевшая демократические учреждения, имеет сильную административную централизацию и большую армию.

Франция потеряла свободу; но мы совершенно ошиблись бы, если бы вообразили, что абсолютная монархия, основанная во Франции, была похожа на те абсолютные монархии, в которых правительство спокойно за себя, потому что масса управляемой нации расположена довольствоваться этою формою государственного устройства. Нет, во Франции вся масса порядочных людей отвернулась от нового правительства и осталась тверда в этом: она не только не удостоила своим содействием компанию, занявшую Тюильри, но презрительно смотрела и смотрит на тех немногих из своей среды, которые дали заманить себя в Тюильри деньгами. Она осталась при своем решении — ждать удобного времени, а в ожидании его не делать ничего не согласного с ее намерением подвергнуть элизейскую компанию беспощадной ответственности, как только настанет возможность. Ясно, какой результат должен был произойти из этого положения вещей. Наполеон III стоял на краю бездны, — ежеминутно ему угрожала казнь по закону; а между тем он имел в своих руках всю правительственную силу; инстинкт самосохранения, руководящий всяким живым существом, направлял его к тому, чтобы употреблять эту силу на устранение гибели от себя и своих сообщников. Ясно, что это должно было сделаться основанием всей его политики и по внутренним, и по внешним делам. Итак, с 2 декабря 1851 года все действия французского правительства по иностранной политике были направляемы к тому, чтобы поддерживать престол, воздвигнутый г-ном Морни и его сотоварищами.

Итак, если я подробно рассказывал переворот, произошедший в государственном устройстве Франции, я только делал то, что необходимо для настоящего предмета моей книги. Возникновение англо-французской войны с Россиею не может быть понято, если не будем подробно знать, в чем состояла сущность иностранной политики нового французского правительства; эта политика была тогда еще незнакома европейским народам, — они еще не сообразили, что она безусловно руководится личными необходимостями людей, захвативших власть, и мы теперь не могли бы верно понять ее целей, если бы не составили себе довольно подробного

понятия о событиях, посредством которых ход европейских дел стал зависеть от надежд и опасений компании, состоящей из принца Луи Бонапарте, Морни, Флери, Маньяна, Персиньи, Мопя и Сент-Арно, урожденного ле Руа.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ПЕРВОЙ

(1). Это правда, она не могла жить, потому что не удовлетворяла почти никого; она была странною амфибией между республиканским и монархическим устройством: в сущности дела президент имел власть более обширную, чем прежний король, и гораздо более эффективное по тогдашнему времени основание для этой власти: выбор был в глазах массы французов более хорошим правом на доверие, чем наследственность⁴³. На бумаге эта черта французской конституции казалась заимствованною из американской (президент избирается нацию, а не законодательную властью; право назначения министров принадлежит президенту); но по различию отношений, на деле выходило совершенно иное. Американцы имели привычку не давать никакой безответственности министрам; президент, их назначающий и председательствующий в их совете, был не более, как поверенный американцев. Насмешливо и утрированно, но очень ярко выставляется это отношение известным анекдотом о том, как какой-то честный портной или сапожник в Вашингтоне шел по улице, прогуливался, делать ему было нечего, он шел мимо «Белого дома», в котором живет президент. «Дай зайду» — зашел. «Зачем вы?» — спрашивает его слуга. Он сказал. — «Пожалуйста!» Слуга провел его по всем парадным комнатам, ремесленник очень внимательно осматривал мебель и вышел из Белого дома успокоившись: он заходил посмотреть, не крадет ли, или не портит ли президент казенную мебель⁴⁴. Во Франции привычки были не те. Перенести слова американской конституции во французскую значило перенести мебель из Белого дома в Тюильри. Мебель та же, но ее значение для посетителей будет другое: кресло будет стоять на месте престола. — Надобно сказать, что из 1200 членов Конститутивного собрания, вотировавшего конституцию 1848 года, 900 человек очень хорошо понимали это, но они были люди; одни из них ошиблись в выборе средства для достижения своих целей, другие прежними ошибками отняли у себя возможность отвратить ошибку в этом случае. Собрание делилось по вопросу об этой черте конституции таким образом: около 600 голосов принадлежало людям, желавшим восстановления монархии; но республика была провозглашена еще так недавно, что в ту пору (осень 1848 г.) невозможно было думать о попытке восстановления; надобно было сделать отсрочку; да притом они и сами еще не поладили между собою, которого из двух претендентов восстановить — легитимистского или орлеанистского; и поэтому также была нужна им отсрочка; а между

тем важно было, чтобы во время отсрочки сущность администрации была согласна с монархическими преданиями, т. е. чтобы сам глава совета министров имел прямое, самобытное значение в глазах нации; для этого американская форма была удобна: нация прямо выбирает президента, он носит свой сан независимо ни от кого. Около 300 человек из республиканцев (Кавеньяк, Марра — Marrast)⁴⁵ полагали, что нечего делать, надобно принять американскую форму, что вероятность восстановления монархии гораздо меньше, чем возможность нового, еще более страшного восстания, подобного ужасной июньской резне. Вот только эти 300 человек и ошибались тогда в понимании положения дел; они не заметили, что удар, нанесенный крайним республиканцам вследствие июньского поражения инсургентов, был слишком тяжел, что крайние республиканцы надолго стали бессильны. Но и эта ошибка была натуральна: ошибавшиеся сами нанесли этот удар, они еще не успели убедиться, что прежние противники действительно стали безопасны для них: какая армия ждет, что война кончится на другой день после боя? — она еще долго все остерегается новых попыток нападения, содержит усиленные караулы, держится в лагерьном порядке. Итак, эти 300 человек думали: «надобно еще принимать меры предосторожности против врагов»; а главная мера предосторожности против нового восстания была, конечно, усиление значения правительства и главы правительства в глазах нации. Для этого американская форма была удобна, и они вотировали ее вместе с монархистами; итак, только они и не заметили того, что форма, вотируемая ими, несообразна с республиканскими учреждениями при данном положении; остальные 300 республиканцев видели это, как видели монархисты, потому вотировали против. Они еще так недавно были во вражде с другими 300 республиканцами, что не могли убедить их в искренности своего желания мириться, а может быть, еще и в самом деле считали делом возможным скоро оправиться и возобновить борьбу; но по нежеланию ли умеренных республиканцев мириться с ними, или потому, что недостаточно сами хлопотали об этом, они были в ту минуту бесильны в Собрании. Вот сущность дела: 600 голосов были за американскую форму, как за полезную для восстановления монархии, 300 голосов было за нее, как за полезную для сохранения тишины; эти 300 ошиблись, те 600 в сущности дела не ошиблись, но в своих надеждах ошиблись: восстановилась не та монархия, какой они хотели⁴⁶.

Почему же было таково положение дел осенью 1848 года, что монархисты вотировали за республиканское учреждение, половина республиканцев за учреждение, требуемое монархистами? Здесь было бы неуместно длинно объяснять это, но сущность дела состояла в том, в чем теперь признаются рассудительные люди обеих боровшихся партий и каждого из двух главных отделов, боровшихся внутри каждой партии: правительство орлеанской династии

наделало очень много ошибок и тем восстановило против себя общественное мнение. Республиканцы вздумали, что могут, пользуясь этим, низвергнуть монархические учреждения; легитимисты смотрели на них с удовольствием, даже помогали им, думая совершенно справедливо: «низвергайте, пожалуйста, Луи-Филиппа, вы этим приведете нацию к возведению на престол государя из другой династии, потому что французы еще не думают о республиканских учреждениях, а привычки у них монархические». Это была совершенная правда; ошибались легитимисты только в том, что думали: «единственный серьезный претендент — наш; ведь бонапартистской партии вовсе не существует между политическими людьми». Между политическими людьми действительно почти вовсе не было бонапартистов; легитимисты ошиблись только в том, что не думали о равнодушии массы ко всяким политическим партиям, — равнодушии, которое существует не только почти на всем континенте Европы (кроме разве Швейцарии), но и в самой Англии, где масса — ныне в восторге от Росселя, завтра восхищается Кобденом, послезавтра — Робертом Пилем⁴⁷, а вообще знает только «парламент — восхитительная вещь» и «да здравствует король» (или королева), а что такое делает парламент, какое значение имеет король, этого и в Англии масса не знает: ей некогда думать об этом. В Англии политические люди, наученные долгим опытом, увидели все, что время бороться против слова «парламент» уже прошло, что время успешно бороться против титула «король» еще не настало; а династия и двор убедились, что политические люди действительно так думают. Потому, по общему согласию династии, двора и политических людей всех партий, согласились оставить вне круга борьбы престол и парламент, не поднимать массу ни против того, ни против другого, потому что все попытки к этому кончались бы или уже неудачей, или еще неудачей. Потому в Англии уже довольно давно все идет уже мирно и еще мирно. Но Франция занялась политической жизнью нового направления гораздо позднее Англии; у политических людей и у двора Франции еще нет столько опытности, чтобы двор искренно убедился в невозможности бороться против парламентской формы; оттого политические партии и принуждены беспрестанно обращаться к крайнему напряжению сил нации, а масса нации, тоже еще неопытная, поддается на эти попытки: то ловится на слове «республика» и воображает, что может уже отбросить прежнюю привычку любить короля, то ловится на слове «король» и воображает, что ненавидит республику, между тем как на самом деле мало понимает, что такое за вещь республика, что такое монархия и какая разница между этими формами, и есть ли между ними какая-нибудь разница, в самом деле интересная для нее, французской нации. Итак, легитимисты думали поймать нацию на слове республика, чтобы заменить государя одной династии государем другой; а республиканцы всеусердно работали в

пользу республики. Но сами они стали замечать, что слово республика что-то плоховато интересует народ, кажется ему пресновато и непонятно; чем бы подправить его по народному вкусу? — Думали, думали, и решили: подправить социальною теориею. Это было тем натуральнее, что почти все республиканцы были не совсем староверы в политической экономии: любили побранивать Мальтуса, кстати Адама Смита, кстати даже и Жан-Батиста Сэ, и Мишеля Шевалье, и Росси ⁴⁸, но они занимались этим только между делом и от нечего делать; это казалось им вещью не важною, и вот этою мелочью, по их мнению, они поладили с социалистами. Социалисты (особенно Луи Блан ⁴⁹, бывший в 1846—1847 годах главным представителем социализма в публике и у парижских простолюдинов, как Эжен Сю — у парижских швей) поверили, что республиканцы очень сильно полюбили социализм, и принялись работать для возбуждения массы на пользу республиканцев, а республиканцы стали говорить тоном социалистов. Парижские простолюдины знали, что такое социализм, но не знали определенно, что такое республика; они не знали того, что у них во Франции слово республика означает вовсе не то, что в Швейцарии или Америке, что там оно значит то, что во Франции называется «парламентское правление», по примеру Англии; в Англии это выражение «парламентское правление» было принято в конце XVII века, чтобы кончить волнения полюбовною сделкою. Теперь уже и сами англичане забыли это (т. е. масса и простого народа, и публики, и писателей — забыла). Французы с голоса забывших смысл своего слова англичан тоже ошиблись, не сообразили, что нынешняя английская форма отличается от нынешней швейцарской только именем, только титулом первого правителя: в Англии этот сановник называется первый министр, в Швейцарии — президент республики; форма правления одна и та же. Но действительно есть факт, соответствующий разнице названий: в стороне от настоящего правительства (комитета, составляемого из господствующей в нижней палате партии лицом, которому поручает это дело партия; лицо это — первый министр, комитет — министерство, в котором он председатель), в стороне от этого правительства в Англии стоит двор, центр которого — династия. Двор не имеет силы вмешиваться в управление государством, он увидел уже очень давно, что бессилен против парламента, т. е., в сущности, против нижней палаты, которая безусловно проводит по всем важным делам свою волю, допуская верхнюю палату только быть своею советницею, пока сама остается холодна; но как только в нижней палате большинство одной партии над другою твердо и как только большинство горячо хочет чего-нибудь, верхняя палата отступает от своих советов и соглашается на все, чтобы не возбуждать серьезной борьбы, в которой, как сама знает, погибла бы. Будучи убеждена в том, что верхняя палата не служит и не желает служить серьезным ограничением ее

власти, нижняя палата оставляет ее существовать, как безвредную для себя в сущности, чтобы не волновать массу напрасною борьбою. Точно так обе палаты вместе оставляют существовать двор, который не служит серьезным ограничением власти парламента и комитета (министерства), управляющего делами по поручению нижней палаты. В Швейцарии нет ни палаты пэров, ни двора; от этого сущность дела очевиднее, чем в Англии; но и там и здесь она одна и та же. Какую же форму должно принять стремление Франции к такому управлению, как в Англии и Швейцарии: сохранится ли двор и палата пэров, как в Англии, устранился ли? Тут был спор не из-за сущности дела, но только из-за внешнего вида его, но спор очень горячий. Искренние приверженцы парламентского управления с сохранением английских форм (династическая оппозиция, т. е. оппозиция, желавшая сохранить орлеанскую династию, но не одобрявшая системы управления, по которой король Луи-Филипп имел очень большую действительную власть, какой вовсе не имеет в Англии царствующее лицо) не могли поладить с республиканцами. Это и было едва ли не главной причиною всех волнений, междоусобиц и переворотов, начавшихся в 1847 году агитациею против высокого ценза; династическая оппозиция, имевшая своим предводителем Одилона Барро, начала это движение ⁵⁰ при помощи всех других недовольных; когда оно разгорячило умы, то, по всегдашнему закону, стало переходить под руководство людей более смелых, республиканцев; неосторожное решение Луи-Филиппа и Гизо действовать силою вместо того, чтобы успокоить брожение уступкою, произвело февральский взрыв; это был довольно ранний период агитации, характер ее предводителей не определился, публика видела всяких недовольных королем созывающими ее на борьбу — против чего? Публика еще не успела разобрать: против ли министерства Гизо ⁵¹, или против всей системы управления Луи-Филиппа, или против английских учреждений, или против еще чего-нибудь другого? Публика не могла разобрать 25 февраля, кто же победил 24 февраля; но победа была решена битвою, бойцами были парижские работники *, нельзя было не уважить их, потому провозглашена была республика; а в Собрание, которому было поручено устроить республиканский порядок, попали без разбора все, кто прежде вооружался против низвергнутого правительства: человек 300 легитимистов, человек 300 бывшей династической оппозиции (орлеанисты), человек 300 умеренных республиканцев, которые желали только парламентского правления с устранением двора, и человек 300 представителей радикальных тенденций грамотной части простонародья (красные и социалисты). От этого и республика, и конституция вышли неудовлетворительные ни для кого.

* Рабочие. — Ред.

(2). В американской конституции нет правила, запрещающего вновь выбирать прежнего президента. Но республиканцы, вотиновавшие вместе с монархистами, понимали, чего хотят монархисты, потому монархисты и должны были сделать им эту уступку, чтобы сохранить их голоса: республиканцы ждали, когда вотиروвали конституцию, что монархисты будут иметь кандидатами на президентство кого-нибудь из своих, и хотели помешать неопределенному продлению власти монархического президента, если бы он был выбран.

(3). Такие условия действительно неблагоприятны. Если большинство Законодательного собрания рассудительно, оно само удержится от опрометчивых действий; если же оно нерассудительно, никакие ограничения не дадут благоразумия людям, распоряжающимся делами, т. е. все-таки тому же большинству. Тогдашнее Законодательное собрание состояло более чем на две трети из монархистов и приверженцев президента, хотевших изменить это правило. Но остальные были республиканцы; если бы они предвидели, что выйдет, они уступили бы; но они думали, что на президентских выборах им удастся провести своего кандидата, если тогдашний президент не будет в числе кандидатов. И монархисты, и республиканцы, как видим теперь, ошиблись. Правило именно потому и было вставлено в конституцию 1848 года, что республиканцы тогдашнего Собрания (1848 г.) ждали, что в следующем Собрании монархисты будут иметь большинство. А когда оба отдела республиканской партии в Собрании 1848 года соединялись, они имели большинство, потому что к ним присоединялись те из монархистов, которые не желали тогда решительной борьбы или по любви к спокойствию, или по расчету, что выгоднее отложить ее. Парламентское большинство, в сущности, не может быть связываемо ничем, кроме своего благоразумия или бессилия самого парламента. В Англии veto верхней палаты применяется, как мы сказали, лишь к мелким случаям; королевское veto вовсе не применяется на деле, оно остается лишь на бумаге. Но так как в Англии уже нет и еще нет таких вопросов, из-за которых та или другая партия готовы были идти на смертный бой, то обе они, которая бы ни была в большинстве, действуют, не слишком горячась. Напрасно приписывать это «благоразумию» английской природы, это просто особенность положения исторического периода, не более, как симптом известного положения дел по вопросам внутренней политики. По иностранным делам нижняя палата часто горячится очень сильно, но тут ведь уже обе партии сильно сближаются по сущности дела⁵².

(4). Монархисты Законодательного собрания продолжали считать опаснейшими своими врагами республиканцев, а президента менее опасным, и притом таким, которого могут они уничтожить даже без борьбы, при первом серьезном покушении его против существующего порядка, — потому что они думали в таком слу-

чае соединиться против президента с республиканцами; они полагали, что сам по себе он ничего не значит, что он только наместник, поддерживаемый ими в ожидании, пока им придет время открыто поставить своего президента на его место.

(5). Действительно, это чистая неправда. Собрание избегало всякой борьбы с президентом, опасаясь, что если раздражить его, он обернется к республиканцам; он и точно постоянно делал некоторые попытки этого, думая, не согласятся ли республиканцы на продление его власти, если он возьмет министров из их партии, т. е. отдаст управление делами в их руки, лишь бы сохранить за собою первое место в государстве; по какой системе управлять государством — ему было все равно, лишь бы считаться первым по почету лицом. Он не имел политических убеждений, кроме одного, что он должен быть главою французской державы. Но дело в том, что действительно монархисты оставляли его на месте не для него, а для себя; они не действовали против него, но вели дела к тому, чтобы поскорее пришла возможность заместить этого поверенного или президентом монархической партии, или и прямо королем.

(6). В армии тогда и состояла, конечно, сущность дела. Но армия стала за президента не по этому чувству, которое было слабо, да и то было возбуждаемо лишь искусственным образом. Важность заключается в том, что по самому характеру военной дисциплины армия обязана исполнять команду, какую бы ни получила; итак, следовало лишь сменить одних командиров другими, — и армия стреляла в какую угодно сторону — положение солдата в строю таково, что он не может поступать иначе. Пока Шангарнье был главнокомандующим, монархистам нечего было бояться армии. Главная ошибка монархистов была в том, что они дали Луи-Наполеону волю выдвинуть в командиры людей, не бывших монархистами; этими назначениями дело было решено, если монархисты не пошлют своих генералов принять команду над войсками прежде, чем войска будут поставлены в строй. Войско в строю — не больше, как машина, действующая штыками, палашами, пулями и ядрами. Затем оно и устроивается; чем ближе подходит оно к этому идеалу, тем оно лучше. В отличной армии два полка будут по команде сражаться один с другим, как гладиаторы.

(7). Подпись президента, по закону, не имела никакой силы без контрассигновки министра.

(8). При управлении умеренного республиканца Кавеньяка, его соперника по кандидатству на президентство.

(9). Это и правда. Масса искренно подавала голос за него, но не потому, что была за него, а потому, что была тогда на стороне его покровителей, монархистов, как за полгода перед тем была на стороне республиканцев; кого бы ни рекомендовали ей тогда монархисты, она выбрала бы всякого; и Шангарнье, и всякого дру-

гого; но счастье Луи-Наполеона было в том, что монархисты не успели сойтись ни на каком другом кандидате⁵³: легитимисты не соглашались на орлеанистских кандидатов, орлеанисты — на легитимистских; нейтрального не нашлось никого, кроме него; на него сильнее всех указывал Тьер; указывал также Эмиль Жиарден; покровительство Тьера было главною опорою его счастья; содействие Эмиля Жиардена было очень полезно потому, что Жиарден, журналист необыкновенно даровитый, не имел себе соперников между людьми, занимавшимися политическою полемикою; газета Жиардена «Press» была тогда наиболее читаемая и любимая, она отняла сотни тысяч, если не два-три миллиона, голосов у Кавеньяка. Жиарден был равнодушен к вопросу о монархической или республиканской форме правления. Человек вполне практический, он видел бессилие умеренных республиканцев сделать что-нибудь, — видел, что надобно что-нибудь сделать для успокоения Франции, думал, что всякое твердое правительство займется реформами, истинно полезными, потому говорил: не надобно колебаться, надобно отдать власть или монархистам, или крайним республиканцам, — кому-нибудь, для него было все равно, — только отдать ее в руки людей с определенными планами реформ. Он думал, что при тогдашнем положении дел и монархисты должны будут делать широкие реформы; крайние республиканцы были тогда поражены июньским ударом; потому он стал за монархистов и могущественно поддерживал их кандидата. После он также увидел, что ошибся, — увидел очень скоро, через несколько месяцев после выборов, — но уже было поздно. Никто не повредил кандидату Кавеньяка столько, как он.

(10). Все это правда. Но всего этого было бы мало, — успех был просто насильно взвален на плечи президенту силою хода обстоятельств; точно так и с таким же успехом действовал бы на его месте всякий другой политический авантюрист, глупый или умный — все равно, лишь бы человек, не служащий какому-нибудь определенному убеждению, а думающий только о том, чтобы захватить побольше власти. Тут совершалась во Франции известная басня, — и несколько раз, и при последнем разе шла в присутствии Луи-Наполеона, прежде присутствовали другие и поступали так же. Басня вот какая. Лев и медведь поймали оленя общими трудами; поймавши, подрались из-за раздела добычи; оба они звери почти равносильные, потому бой был почти равно тяжел для обоих; они оба переранились и изнурились; медведь был побежден, но лев остался едва жив и не мог ничего сделать против лисицы, которая спокойно пришла, села и стала кушать оленя пред глазами неподвижного льва. Напрасно басня говорит, что это была именно лисица, — так же успешно и спокойно мог бы кушать очень не сильный перед здоровым львом или медведем всякий зверь, лишь бы имел влечение к мясной пище и привелось ему проходить по соседству: волк, шакал, собака, — все равно, большой хитрости

не требуется. Хитрость будто только в том, чтобы дожидаться безопасного времени, потому что, сунься этот слабый зверь одною минутою раньше, лев и медведь бросили бы (хоть на минуту) драку и растерзали постороннего посетителя; но это ожидание ведь не от хитрости, оно просто от сознания своей слабости перед борющимися: как сунешься, когда жилы дрожат от страха? — ноги не двигаются: страшно, рев идет ужасный; рев утих, раздается глухой хрип побежденного, слабые стоны победителя, — ноги зрителя идут вперед, потому что жилы его перестали дрожать, а вкусный вид оленьего мяса уж давно тянул к себе его аппетит. Эта пьеса несколько раз повторилась во Франции в бурное время 1847 (конца) — 1851 (до конца) года. Два отдела орлеанистов (гизотовский и тьеровский) пошли на смертный бой из-за власти; когда оба отдела друг друга так, что французы подумали: те и другие никуда не годятся, негодяи, — то пришли республиканцы и взяли власть (февральская революция). Очень слабые до февральской революции, республиканцы стали действительно очень сильны, когда успели взять власть; во Франции всегда так: масса народа любит спокойствие; если какая-нибудь рука благодаря случаю захватит команду над армиею, железными дорогами и телеграфом, народ думает: «а бог с ними, пусть управляют, как хотят, ведь мы-то, по совести говоря перед самими собою, этих их дел не понимаем, из-за чего там они спорят в палате и в газетах, хоть и говорим другим, что понимаем, — чорт их разберет, а любопытно послушать и почитать, потому что занимательно, как роман, даже лучше Монте-Кристо, ей-богу; — так пусть себе управляют, лишь бы не мешали нам заниматься нашими серьезными делами: пахать землю, работать на фабриках, заводах, торговать, быть фабрикантами, помещиками, — нам, пахарям и землевладельцам, фабричным и фабрикантам, мелким лавочникам и негодьям, не хочется ссориться с армиею, полициею и всем чиновничеством из-за формы правления; пусть себе управляют, лишь бы был порядок, без которого нам нельзя заниматься делами». Итак, если бы республиканцы не подняли сами нового шума ссорою между собою, сидели бы они правителями; но два их отдела, красные и умеренные, поссорились и отделали друг друга (теперь уж не на одних словах, а и оружием на улицах Парижа) так, что один из соперников (красные, социалисты) остался на месте замертво, другой (умеренные республиканцы) тотчас после победы тоже повалился, истекая кровью (ужасная трехдневная июньская битва 1848 года, — такая, что со времени Ватерлооской до сих пор едва ли была столь кровопролитная и ожесточенная, кроме главного севастопольского штурма⁵⁴. Число убитых, конечно, неизвестно: дрались ведь не одни состоявшие в списках полковых штабов или в списках красных клубов, — дрались всякие люди, и женщины, и дети, пули поражали всех, от архиепископа, тоже убитого пулею, до малюток, — кто считал, кто может сосчитать? — но число уби-

тых было едва ли меньше, чем потом при Мадженте или Сольферино, а вероятно, больше). Итак, республиканцы сами перебили себя; пришли монархисты и взяли власть (выборы президента; Луи-Наполеон выбран как поверенный монархистов); министры — монархисты; начальствуют армиею — монархисты; истинный повелитель Франции — поверенный монархистов, генерал Шангарнье, главнокомандующий армиею Парижа и соседних департаментов и национальной гвардиею Парижа и этих департаментов (1-го военного округа), он может по первому слову своих поверителей, монархистов, арестовать президента; это для Шангарнье так же легко, как отправить на гауптвахту провинившегося ротного командира. Но монархисты ссорятся, — шум опять только на словах, потому что в июне бойцы на военном оружии перебиты; на словах ссоры тянутся долго, потому эта ссора идет долго; легитимисты думают: «Шангарнье чуть ли не орлеанист; не сменить ли его?» Орлеанисты думают: «Шангарнье чуть ли не легитимист; не сменить ли его?» (а Шангарнье — просто человек, желающий восстановления королевской власти, т. е. правления, какое было с 1815 до 1848 года; ему все равно, орлеанисты или легитимисты будут управлять). Итак, оба отдела монархистов говорят: сменить Шангарнье. Сменяют. Без Шангарнье остаются командирами генералы, готовые служить, пожалуй, и президенту; они идут к нему и говорят: «Не угодно ли принять власть; мы полагаем, что при вас нам будет лучше служба, чем при монархистах, когда нам загораживали дорогу люди, исключительно преданные монархическому порядку, между тем как для нас всякий порядок хорош, лишь бы был порядок и было бы служащим людям хорошее повышение по службе; принимайте-ко власть; мы люди простые, военные, этих форм не знаем, как они устраиваются, — так форму устройте вы». — «Хорошо», — говорит президент, назначает своих людей на главные места по командованию войсками и полициею, — и дело сделано; тогда происходит и эффектная развязка (2 декабря 1851 г.). Что тут хитрого? Дело простое. Сначала приходят монархисты и говорят: «Возьмите-ко покуда титул президента». — «Хорошо-с», — отвечает Луи-Наполеон. Потом приходят генералы и говорят: «Возьмите-ко кстати уж и власть президента или императора, ведь это все равно». — «Очень благодарен», — говорит Луи-Наполеон. И не по его хитростям приходили к нему, хоть он и хитрил, — хитрость была видна почти всем, насквозь, — а потому, что не к кому было притти, кроме как к нему.

(11). Это даже и не искусство, — это действует само данное положение, сама натура. Вообразите, в предыдущей басне, простяка волка смотрящим на бой медведя и льва, — все еще нерешительный бой, — и прибавьте обстоятельство, что бьющиеся требуют от зрителя: «прими чью-нибудь сторону» — как он будет переминаясь, вилять туда и сюда, и все-таки не двигаться с места просто потому, что если он подойдет близко и один из борющихся

заденет его лапою, то из него тут же и дух вылетит; но опять же и не переминаясь нельзя, потому что ведь кто жнибудь одолеет, — и если, если останется не очень изранен? Отгонит его от лакомого оленя да еще, пожалуй, цапнет слегка за то, что не помогал. Что ж ему делать, как не переминаясь и не вилять? Так поступила бы даже и самая простодушная, добрая собака и не заслужила бы тем ни репутации хитрости, ни репутации двоедушия: нет, в ней действовала только основательная робость. Похвалу или порицание заслуживает только то, с какими намерениями было выжидание и как зритель воспользовался успехом, давшимся ему в руки без всякого его искусства.

(12). Отказали потому, что деньги свои президент расходовал главным образом на подкуп войск. Увеличивать его содержание значило увеличивать подкупы.

(13). Этот закон определял, что для права подавать голос на выборах нужно иметь известную давность места жительства; таким образом, работники, часто переменяющие место жительства, теряли право голоса, и число избирателей уменьшалось с 9 миллионов до 6 или даже 5. Три или четыре миллиона, терявшие право голоса, втировали большею частью за «красных». В этом и состояла цель закона, чтобы отнять важнейшую часть силы на выборах у «красной» партии, — так тогда назывались, кроме прежних «красных» 1849 года (партия Ледрю-Роллена)⁵⁵, и социалисты, и почти все умеренные республиканцы. Все эти три отдела левой стороны уже принуждены были тогда вновь помириться и действовать заодно, как было до 1848 года, потому что опять уже чувствовали свое бессилие в одиночестве друг от друга, — бессилие, до которого довели друг друга ссорами в апреле и мае 1848 года, когда соединенными силами умеренных и красных республиканцев подавлены были социалисты; потом июньскою битвою, когда силою умеренных республиканцев (резерв которых составляли монархисты) подавлены были парижские работники, — а кстати запутаны в дело и обессилены красные республиканцы, — хотя это восстание было чисто восстание проголодавшихся людей, и никто из политических деятелей не принимал в нем участия: красные и социалисты видели, что в случае восстания гибель инсургентов неизбежна при тогдашних обстоятельствах, потому всячески отклоняли от него работников; но голод был сильнее рассудка в несчастных. Доказано, что подстрекателями были только одни, малочисленные тогда, бонапартисты; но их подстрекание не было важно; существенною причиною восстания была крутость и опрометчивость, с которою закрыты были знаменитые «национальные мастерские», — нелепое учреждение, устроенное умеренными республиканцами в противодействие социалистам; когда основатели убедились, что социалисты действительно обессилены майскими неудачными агитациями, они тотчас же решили закрыть «национальные мастерские», как уже ненужные против социали-

стов; закрыть их следовало, они стоили огромных расходов и были устроены нелепо, приучали к праздности (принципом их было: не давать серьезной работы, а только занимать день работника пу-
стяками), — но сделать такую перемену следовало не в один же день, а постепенно, чтобы дать набранным в них десяткам тысяч людей время разойтись по фабрикам; поступили не так: закрыли в один день; на другой день работникам их не на что было купить хлеба, и они поднялись. Масса инсургентов билась ни из-за чего, ни с какими надеждами, кроме отчаяния⁵⁶. Потому-то такой ужасной битвы не бывало еще никогда на улицах Парижа. Даже резни Большой революции ничтожны перед этою, даже то побоище, которым проложил себе карьеру Наполеон I, когда в первый раз было открыто им, что главное искусство в подобных случаях — уметь действовать картечью на близкой дистанции (Вандемьеровское восстание с знаменитым продольным картечным огнем по улице Ле-Пельтье)⁵⁷.

(14). Все это очень преувеличено, хотя часть правды тут есть. Солдаты всегда смотрят с некоторым пренебрежением на невоенное население городов, в которых стоят; это можно сказать и об австрийской, и о прусской, и даже об английской армии. Но из этого ничего не следует: солдат чувствует свою силу только в дисциплине, в уменье держаться строем, в единодушном действии по команде. Конечно, всякому солдату покажется странно быть под прямым начальством человека невоенного; но невоенный и не возьмет прямого начальства, потому что не умеет командовать. Солдаты парижского гарнизона даже и не заметили бы, от кого назначен командир, стоящий перед их фронтом, лишь бы он был генерал и лишь бы полковые, батальонные, ротные командиры встречали его за несомненного, подлинного своего командира, — а они не могли бы поступать иначе. Собрание, конечно, назначило бы командиром своего охранительного корпуса генерала. Оно отвергло проект не по опасению раздражить армию, а по нежеланию ссориться с президентом, которого все еще считало бессильным, — так оно само понимало это; а на самом деле тут уже действовал инстинкт, что президент может в случае ссоры обратиться к республиканцам и к парижскому народу; республиканцы в это время уже начинали несколько — хоть еще очень мало — оправляться от прежних поражений, а парижские простолюдины тогда ненавидели Собрание, как реакционное. Президента не любили ни республиканцы, ни простолюдины, но считали его менее сильным врагом, чем монархистов. — Солдаты несколько были расположены к президенту, — они полагали, что он хлопочет об увеличении жалованья им; кроме того, он часто угощал их. Но это расположение было слабо, да и если б и было много сильнее, то ничего еще не значило бы: армия исполняет волю той власти, приказания которой принимает командир, распоряжающийся ее действиями; не надобно забывать, что армия — орудие войны, устроенное именно

так, чтобы действовать механически. Если бы в ночь 2 декабря Кавеньяк (республиканец) или Шангарнье (монархист) не спал, а собрал несколько человек адъютантов и разослал их по казармам с приказаниями, догадавшись во-время принять на себя роль диктатора (или генерала Законодательного собрания, все равно, — лишь бы роль главного командира), то адъютанты его преспокойно повели бы солдат арестовать президента, военного министра и всех других заговорщиков. Это и говорил Шаррас уже несколько дней, но не успел во-время втолковать никому из старших генералов монархической или республиканской партии; а сам он не мог принять команды, потому что еще не был даже и бригадным генералом (генерал-майором). Когда Шангарнье, Кавеньяк, Ламорисьер, арестованные, ехали в тюрьму, то, конечно, каждый из них вспоминал: «эх, если бы я хоть вчера под вечер догадался, что дремать не следует, что уже пора принять меры».

(15). Дюпен Старший — трусливый эгоист; бывши поверенным по частным делам Луи-Филиппа, т. е. бывши очень близким, домашним человеком орлеанского короля, он не постыдился потом уверять, что обратился в республиканскую веру; теперь был опять монархистом, потому что монархисты имели твердую надежду восстановить королевский престол; через несколько времени не постыдился принять должность, впрочем, независимую и чистую должность по высшему судилищу Франции, кассационному суду при Луи-Наполеоне. Он не бесчестный человек, каковы герои рассказываемой Кинглеком драмы, но один из самых плохих по характеру между деятелями времен, предшествовавших империи. В душе он орлеанист, насколько может без вреда себе быть им.

(16). За реакционное направление большинства монархистов, господствовавших в нем.

(17). Париж был разделен тогда на 12 частей (округов или мэртств); *mairie* — здание полицейского управления округом, с прекрасным залом, довольно крепкое, ограждаемое полицейскими солдатами округа; мэр 10-го округа был самый преданный из всех мэров монархическому большинству Законодательного собрания.

(18). Конституция 1848 года говорила, что если президент предпримет что-либо против законного порядка или против Законодательного собрания, он этим самым делом уже низлагает себя с своего места, — что Законодательное собрание даже уже и не имеет права решать этого, а только заявляет, как факт уже совершившийся, и что, даже не ожидая и этого заявления со стороны Законодательного собрания, а тем больше по его заявлению, собирается Верховный суд, члены которого уже вперед назначены, и делает распоряжение об арестовании преступника, если он еще не арестован. — Постановления конституции были, как видим, очень точны и сильны; но, как мы знаем, Законодательное собрание

было непопулярно и непредусмотрительно. Форт ничего не значит, как бы силен ни был, если гарнизон не умеет владеть орудиями, а кроме того, спит, не поставив караульных. Пять человек без всякой помехи перелезли тайком через стену, заперли двери казармы, — а те все еще спали, — привезли пушку со стены, через которую перелезли, зарядили пушку картечью, навели в окно казармы, и тогда закричали: вставайте, господа, и сдавайтесь: видите, фитиль готов, и картечь в пушке ваша собственная, прекрасная». Спавшие вздумали было погорячиться спросонья, еще не поняв милого оборота, но через минуту, как увидим ниже, опомнились, рассудили, что поздно, сдались и сами связывали руки друг другу. Такова была часть мелодрамы, относившаяся к конституции и законным властям. Она была действительно водевильна. Но потом над народом, над окрестными жителями, которых должен был охранять форт, разыгралась другая часть мелодрамы, менее забавная. Кинглек будет рассказывать о ней через несколько страниц. Истолкование же первой части пьесы: форт — конституция 1848 года, построение очень уродливое по смешению в нем совершенно разнохарактерных систем, но, впрочем, при всей своей уродливости само по себе крепкое; пушки на стенах форта суть войска, артиллеристы же гарнизона суть генералы и государственные люди Франции, обязанные употреблять оные пушки на оборону одного форта, пушка же, привезенная к окну казармы, есть часть французской армии (4 бригады пехоты и пр.), обращенная на укрощение духа таковых артиллеристов, картечь же есть подлинная картечь, с присовокуплением пуль, палашей и других обыкновенных видов оружия.

(19). Отчасти, конечно, они руководились этим чувством; но главное было то, что они не доверяли парижанам: огромное большинство собравшихся были монархисты (как и сами вице-президенты); созвать народ значило звать его на баррикады; они не знали, пойдет ли он на баррикады по их призыву, и несомненно знали, что крик на баррикадах был бы *vive la république* *, — и притом наверное даже *vive la république démocratique et sociale* **. Это было страшнее для них, чем все, чего самые предупредительные или самые боязливые могли ждать для себя (и, по их мнению, для Франции) от самого крутого наполеоновского деспотизма. В эти минуты прямо предложилась к немедленному ответу в мыслях каждого депутата знаменитая тогдашняя полемическая фраза: *la France, sera-t-elle cosaque (napoléonienne) ou sociale (rouge, barbare)?* *** — и все монархисты отвечали: лучше пусть будет наполеоновскою, чем красною. Они не захотели понять, что именно па-

* Да здравствует республика. — Ред.

** Да здравствует социальная демократическая республика. — Ред.

*** Будет ли Франция казацкой (наполеоновской) или социальной (красной, варварской)? — Ред.

роfёопiеппе и будет rouge, гораздо более rouge, чем все, чего они боялись от социалистского терроризма, легковерно созданного их робкою фантазиею. Если б не это, у депутатов достало бы мужества остановиться, хоть и шли они между двух рядов штыков, закричать народу и командовать солдатам: «вяжи батальонных», и наверное сами солдаты конвою так же машинально перевязали бы своих командиров, как прежде арестовали своих пленников, и пошли бы вместе с народом на других солдат, командиры которых не трусили бы, а Маньян, главнокомандующий, наверное, трусил бы и бежал бы. Дело еще могло бы повернуться и в эти минуты. Но депутаты, не лишённые мужества лично за себя, боялись отдавать Францию в руки врагов, которых, по своему заблуждению, считали более вредными для нее, чем того врага, который арестовал их. Они не трусили, они поступили честно; они только ошибались все еще и в эту минуту, как прежде, как, по всему, что видно со стороны, продолжает и до сих пор ошибаться и масса французских роялистов, сильная сочувствием большей части департаментов, и масса французских республиканцев, сильная расположением простолюдинов Парижа. Эти массы, разнящиеся между собою не столько по существу стремлений, сколько по именам, которыми зовут их, все еще не могут, кажется, понять друг друга. В мелких частных делах такие взаимные ошибки, может быть, неизвинительны, когда тянутся так упрямо, так долго; но в истории народов иначе не бывает; всегда бывает нужно очень много времени, чтобы партии поняли друг друга и примирились хоть настолько, чтобы дружно стремиться к тому, чего одинаково желают. Быть может, это жалко; быть может, это дико; но это идет через всю историю всех наций, и несправедливы к французам те, которые судят о них дурно из-за этого грустного недоразумения их. Даром и скоро ничто не достается нациям; все приобретается только долгом, трудным опытом жизни.

(20). Кинглек тут понимает дело, как тори; если бы речь шла о мнении французских легитимистов крайнего отдела, он был бы прав. Но даже легитимисты отдела Беррье, наверное, не совсем так смотрели на дело. Смешно и вредно для кредита нынешней английской палаты общин было бы, если б ее члены вздумали назначить себе жалованье: все они люди с независимыми от своего обыкновенного труда средствами жизни, почти все люди богатые. Другие и не идут в нынешнюю палату общин и не могут идти, если бы даже захотели голодать в ней; в Англии еще остается обычай, что почти все расходы по выборам несет сам кандидат. Не говоря о подкупе, без которого не обходится дело в мелких городах (более убыточных для кандидатов, чем большие города и графства), совершенно чистые и публичные расходы на выборы довольно велики: печатание объявлений, наем помещений для предварительных собраний избирателей, наем прислуги, без которой нельзя же

обойтись при таких хлопотах, и пр. т. п., — все это стоит тысяч и тысяч рублей каждому кандидату. — Во Франции издавна обычай совершенно иной, такой же, как в Америке; там кандидат в стороне; он хлопочет лишь у главных людей своей партии, чтоб они рекомендовали его комитету партии, заведующему выборами, — хлопотал за себя перед этим комитетом, — и только; комитет назначает или отвергает претендента на кандидатство; если он отвергнут, он отходит в сторону: некому подавать голос за него на выборах; если комитет назначает его своим кандидатом, ему опять не остается ничего делать самому: все хлопоты ведет комитет, все расходы несет комитет, — деньги на это вносит по подписке вся партия. Потому во Франции, как в Америке, шли в депутаты и люди, живущие своим трудом, не имеющие лишних денег; они сильно нуждались: занятия по депутатству отнимали много времени, т. е. и дохода, у этих небогатых адвокатов, медиков, журналистов, небогатых купцов, маленьких фабрикантов, — все это знали; им справедливо было получать вознаграждение. Это понимали все во Франции, кроме одного очень небольшого отдела из множества партий. А в особенности понимали это парижские работники: ведь они были республиканцы, а коренным правилом республиканцев было: «государство не нищий: оно не принимает даром ничьих услуг; за всякую службу — жалованье; иная служба обидна для нации и вредна, потому что неаккуратна». Над жалованьем депутатам шутили, как шутят над всем, но шутили невинно, понимая, что шутят, а что в самом деле жалованью следует быть, по французским обычаям; да и жалованье было очень умеренно: 25 фр. в день — около 9000 фр. в год, — это жалованье члена суда второй инстанции или чиновника, соответствующего нашему начальнику отделения, не больше. Парижане не любили тогдашних депутатов не за их жалованье, а за то, что они были люди не той партии, как сами парижане⁵⁸.

(21). Точнее будет сказать так: до 1848 года, когда часть парижских работников кричала: *vive la république sociale*! — либеральные люди других сословий, не бывшие социалистами, думали, что эта прибавка «*sociale*» — просто мечтательное слово, ничего не значащее в сущности; а *république* сама по себе, разумеется, не была страшилищем для образованных людей нации, в 60 лет сменившей у себя чуть ли не 15 конституций и правительств; потому и легитимисты, не только умеренные республиканцы, играли словом «*sociale*», одобрительно смотрели на то, когда клубисты звали простолюдинов к оружию «во имя социализма». Теперь все поняли, что под словом «*république sociale*» парижские простолюдины разумеют не пустой звук, а преобразование экономических учреждений. Почти никто из не разделявших этого желания и не мог себе представить отчетливо, в чем же может состоять требуемое преобразование, — это дело не такое простое, как рассуждение о том, английская или американская конституция лучше; тут,

чтобы понять, надобно серьезно думать, а охота думать серьезно о каком-нибудь предмете бывает только почти у специалистов или у людей, ждущих себе улучшения быта от этого предмета. Образованные классы находили, что в экономическом отношении им и теперь хорошо; потому не имели охоты думать о коренных преобразованиях экономических. А надобно же было составить себе какое-нибудь мнение о социализме; они и приняли в буквальном смысле полемически резкие выражения той части специалистов, которая была против другой части специалистов, называвшейся социальной школой. Выражения: «это разбой, это грабеж», употреблявшиеся в полемическом азарте одною школою ученых, стали обозначать для их неученых последователей сущность противоположной теории. Это все равно, как люди, не занимавшиеся химиею серьезно, воображали некогда, что химик Сталь — невежда, потому что последователи Лавуазье называли его так; потом невеждою признали Лавуазье, по Берцелиусу; потом Берцелиуса, по Либиху, или это все равно, как по теории Лейбница Декарт будет безнравственным философом, по юмовской — Кант, и т. д., — все это чисто только следствие неумения понимать ученую полемику; когда оно прилагается к философским и химическим вопросам, от этого еще нет резни на улицах и беды для государства: философы и химики не арестуются, их последователи не казнятся: и, сохраняя голову на плечах, сохраняют возможность вести науку вперед, что бы ни кричала толпа образованных безграмотных. Но плохо дело, когда такое же дикое непонимание переносится на полемику об общественных вопросах: тогда оружием заставляют противников молчать, — так было сделано во Франции в мае — сентябре 1848 года, — и общественная жизнь замирает от стеснения общественной мысли. — Этот результат и оказался в декабре 1851 года. Люди, которые могли бы вызвать массу парижского народа на защиту закона, были истреблены или изгнаны; остались только люди, видевшие в простолюдинах разбойников и грабителей, — и предпочли склониться под власть «Сент-Арно, урожденного ле Руа» и господина Флери, лишь бы не отдаваться под защиту «разбойникам», то есть огромному большинству парижского населения. Очень странны должны быть понятия людей, воображавших, что может в одном городе жить миллион разбойников, — уж слишком много что-то. Но так они действительно рассудили и геройски сами пошли в тюрьму и дали задушить Францию⁵⁹.

(22). Это совершенная правда, но опять надобно выразиться точнее. Все время с марта 1848 года до декабрьского переворота действительно было проведено образованными классами в постоянном опасении восстаний, резни и грабежа. До июньской резни они действительно могли опасаться попыток насильственного введения экономических преобразований, хотя теперь уже и давно доказано,

что ни один из тогдашних представителей социализма во Франции не думал об этом, — напротив, все до одного они считали всякое насилие вредным и поставляли всю надежду на успех в действовании мирным и законным путем объяснений. Но положим, тогда не хотели верить им в этом; положим, до июня могли опасаться их. А чего ж было бояться их после июньской битвы, какие бы умыслы они ни имели? Они были уничтожены, они были совершенно бессильны вредить или волновать, если б и хотели. Но толпа продолжает кричать, когда уже не о чем кричать, и сама запугивает себя своим криком. Это было все то же самое, как наш почтенный Сергей Глинка продолжал предостерегать русскую нацию против Наполеона I до конца своей жизни, когда не только сам Наполеон, но, вероятно, уже и Гудсон Лоу, стороживший его на Св. Елене, давно умер⁶⁰. Почтенный ратник 1812 года продолжал и в 1832 году, и позднее воображать, что Кутузов стоит в Тарутинском лагере и что завтра Мюрат внезапно атакует его авангард. Эта фантазия задним числом постоянно действует в истории, и напрасно порицать за нее только нашего милого ратника, трепетавшего мыслью на 20 лет назад, или тогдашних образованных французов, трепетавших в конце 1851 года врага, забитого ими же самими наповал летом 1848 года: масса англичан до сих пор воображает, что папа все собирается не ныне завтра врасплох захватить их в свои руки, — эта фантазия задним числом уже с лишком на 250 лет. Но из фантазии ничего важного в действительности не выходит: она может только замаскировывать действительные причины. Французы фантазировали на тему: «социализм ужасен», и трепетали; это правда; но из этого никак не следует, что они приводимы были в трепет действительно своею фантазиею, — трепет происходил от другой причины, очень солидной, совершенно основательной, которая только на словах, для украшения речи, уступала первенство фантазии, бывающей всегда более удобною для риторических упражнений, а на деле очень прямо действовала на нервы, без всякого посредства фантазии. Парижские работники были республиканцы; большинство населения департаментов были монархисты. Если бы была возможность думать, что для разрешения вопроса о форме правления будет добросовестно взято достаточное время, какое нужно, чтобы или Парижу убедиться, что провинциалы не желают республики, или провинциалам иметь время обдумать, действительно ли они твердые монархисты, — если бы добросовестно положено было ждать такого разъяснения вопроса, то действительно нечего было бы бояться никаких смут; или парижане рассудили бы: «точно, они монархисты, где ж нам совладеть с целой Францией? надобно уступить, пусть будет опять король», или бы провинциалы сказали: «оно точно, мы было привыкли думать, что мы монархисты; а рассудивши, увидели, что это для нас все равно; какая форма правления нравится Парижу,

та и наша; все равно, как и во всем, мы полагаемся на вкус парижан, — и в модах, и в биржевых делах, и в науках». В том и в другом случае дело решалось бы мирно, добровольною и рассудительною уступкою той или другой стороны, смотря по тому, какая нашла бы себя слабою в пункте несогласия. Но так рассудительно дело бывает только в книгах, а не в жизни. Положение дела с зимы 1848 года было таково: существовала республика; управляли ею монархисты; монархисты знали, что всякие новые учреждения упрочиваются привычкою к ним; итак, если ждать, пока можно будет рассудительно и мирно решить вопрос, то — кто же знает? — шутя* в это время провинциалы привыкнув к республиканским учреждениям, и тогда дело монархистов будет сдано в архив. Итак, надобно спешить, пока в их руках администрация. Поэтому каждый день монархисты совещались о надобности поскорее низвергнуть республиканские учреждения. Пока они все еще удерживались от этого, потому что еще не поладили между собою, какими учреждениями заменить их: прежними легитимистскими или прежними орлеанистскими, или смешением тех и других, или чем-нибудь новым, — у них доставало рассудительности и добросовестности на то, чтобы не начинать дела прежде, чем они поладили о нем между собою; так; но ведь они были люди, — хоть и рассудительные, а все же люди; хоть и добросовестные, а все же люди со страстями; поэтому беспрестанно они слегка порывались все вместе на дело, которое сами все признавали преждевременным; тотчас же замечали ошибку и отдергивали руку назад; а нация и Париж все-таки видели, что монархистов забирает желание хватиться за дело: ныне кто-нибудь из них произнесет речь, что «чем скорее будет низвергнута республика, тем лучше», а другие не догадываются остеречься и аплодируют ему; завтра люди слышат, что ночью Шангарнье начинал было собирать войска для арестования республиканцев, да тут же кстати и президента, и делал это по приказанию монархистов; послезавтра какой-то дикарь встает в Законодательном собрании и предлагает перенести столицу из Парижа в Бурж, потому что — так прямо и говорит — в Бурже монархисты, они нас поддержат, а парижане нам гадки. Конечно, из всего этого ничего не выходило, рассудительные тотчас заглушали опрометчивых или бросали свою минутную опрометчивость. Но кто же мог поручиться, что завтра не будет исполнено ими того, от чего едва удержались они вчера? Они и сами не были уверены в себе: «да, мы можем увлечься», думал почти всякий и говорили многие из них. А люди, посторонние партиям, т. е. масса и образованного общества, не только простолудинов, и тем меньше могла быть уверена, что они не сделают преждевременной попытки, а преждевременная попытка восстановить королевский сан не могла обойтись без битвы с Парижем и без резни во многих дру-

* В смысле: пожалуй. — Ред.

гих городах. Каждый вечер французы засыпали с мыслью: ну, что будет, если ныне ночью Шангарнье получит приказание арестовать республиканцев, прогнать президента и провозгласить королем кого-нибудь из двух представителей двух бурбонских линий? — Да, всякий знал, что завтра же, быть может, легитимисты и орлеанисты начнут резаться с республиканцами в Париже и во всех больших городах, и если одолеют их, то начнут резаться между собою во всех департаментах: Север и земли по Рейну, по Роне и Сене, по низовью Луары станут за одну династию, остальная Франция, особенно южная часть центра и Бретань, — за другую, а везде противники большинства будут сильны, и повторится Вандейская война в увеличенном размере⁶¹. Вот была истинная причина тревоги, тоже отчасти преувеличенная, но солидная, действительная. О ней меньше толковали, чем о социалистском фантоме, потому что нечего было тут убеждать и доказывать: все сами видели, что этого следует бояться. — История именно тем и величественна и грустна, что сущность дела в ней всегда проста и солидна, что никакими фантазиями и эффектами не изменяется сущность дела, развивающаяся совершенно честно, только не так ровно и тихо, как приятно бы желать, но напрасно желать. История грустна именно тем, что низость, подлость, измена в ней такой же бессильный мираж, как и порывы великодушия, самопожертвования: то и другое одинаково только заставляют нас презирать или уважать отдельных деятелей; но не Наполеон победил Макка в Ульме⁶² — будь Наполеон генералом австрийской службы, поход кончился бы все равно гибельным для Австрии образом: Франция 1805 года не могла не победить Австрии того года; только поэтому и победил Наполеон. Будь полководец французов менее даровит, чем Наполеон, будь он даже бездарнее самого Макка, победа французов была бы только не так эффектна или не так быстра, а условия мира были бы те же самые. «Странная вещь, — говорили римляне во время борьбы Цезаря с Помпеем, — отчего это Лабейон всегда побеждал, пока был на стороне Цезаря, и всегда остается побежден с тех пор, как перешел на сторону Помпея?» Очень просто, — отвечали через несколько времени сами же они: на стороне Цезаря были все свежие силы Рима, на стороне Помпея — одна только гниль. Бессилие людей над ходом событий трагично; но история отнимает и возможность уныния за будущее, если отнимает грезы опрометчивых надежд: чему быть, того не миновать, говорит она, и из общего хода событий последних веков доказывает, что следует ждать все больших успехов знания и жизни.

(23). Формальная сущность прокламаций президента состояла в том, что: 1) ценз уничтожается; 2) все совершеннолетние французы призываются посредством правильного вотирования принять или отвергнуть президентство Луи-Наполеона и проект новой конституции, предлагаемый им.

(24). Надобно вспомнить также, что Кавеньяк был главным командиром, Ламорисьер — главным его помощником в страшном истреблении парижских простолюдинов в июне 1848 года; другие арестованные генералы также почти все были памятны парижскому простонародью по этому делу; еще не забыто было прозвище *les bourreaux de Cavaignac* — «кавеньяковы палачи». Ток-виль, Брольи, Одилон Барро, Тьер и другие были памятны как распорядители, приказывавшие тогда Кавеньяку истреблять инсургентов беспощадно и несколько раз отсылавшие из тогдашнего (конститутивного) правительствующего Законодательного собрания депутации инсургентов, являвшиеся с предложениями положить оружие; из 232 арестованных депутатов разве человек 10 было таких, которые не говорили тогда Кавеньяку: «бей, бей без пощады, без пощады!» — из остальных 222-х каждое имя, насколько было известно народу, настолько было известно ему по речам в этом тоне во время июньской резни. Дело не в том, были ли преступны тогдашние инсургенты, были ли правы большинство конститутивного собрания и генералы его, думая, что для спасения нации необходимо беспощадное истребление июньских инсургентов, — они искренно думали тогда это, они действовали по совести, как справедливый судья осуждает на наказание шайку разбойников; но дело не в том: дело в том, что истребленные тысячи людей были парижские простолюдины — родственники, приятели, товарищи по мастерской тем людям, которые теперь видели арестование Кавеньяка, его июньских помощников и его июньских повелителей, приказывавших ему не жалеть картечи. — «Действуйте картечью, генерал, и штыками, всякое другое оружие имеет мало действия; палаши, пули, ядра, бомбы — пожалуйста, не тратьте времени на эти пустяки; ваша тактика должна быть: сгонять инсургентов в густую массу, давать по ней несколько залпов картечи, потом двигать солдат в штыки с обоих концов улицы, чтобы некуда было бежать, потом отводить солдат в сторону и пускать картечь вдогонку тем, которые успеют увернуться от штыков». — Вот были инструкции, исполнявшиеся в июне 1848 года Кавеньяком: инструкции простые, но достойные великих полководцев, хоть составлялись статскими, а не военными людьми. Они думали тогда, что это необходимо. Так или нет — все равно. Но вот как отразилось это в декабре 1851 года: «Вы убийцы наших родных; какое нам дело спасать вас?»

(25). Виктор Гюго был в то время «красный» и, пожалуй, даже «социалист»; людей образованного общества, носивших такие прозвания, было довольно мало во Франции⁶³. Но это обстоятельство не должно мешать видеть, что он был отличным представителем той манеры, по которой обыкновенно поступает большинство людей: сущность не в том, на каком месте воинствует

человек, а в том, по какой стратегии он воинствует. До февраля 1848 года Виктор Гюго не знал, какой у него образ мыслей в политике, ему не приходилось думать об этом; а впрочем, он был прекраснейший человек и отличный семьянин, добрый, честный гражданин и сочувствовал всему хорошему, в том числе славе Наполеона I и рыцарскому великодушию императора Александра I, доброму сердцу герцогини Орлеанской, матери наследника тогдашнего короля Луи-Филиппа, и несчастьям благородной герцогини Беррийской, матери соперника этому королю и этому наследнику⁶⁴, сочувствовал прекрасному таланту Тьера, соперника Гизо, и гениально простому красноречию Гизо (едва ли не величайшего из тогдашних ораторов), честности Одилона Барро, противника Гизо и Тьера, гению и честности Араго, знаменитого астронома, главного представителя республиканцев в тогдашней палате, благородству фурьеристов, добродушию Луи Блана, великолепной диалектике Прудона; любил монархические учреждения и, кроме того, все остальное хорошее, в том числе и Спартанскую республику, и Вильгельма Телля, образ мыслей известный и заслуживающий всякого почтения уже и по одному тому, что из сотни честных, образованных людей чуть ли не 99 человек во всех странах света имеют именно такой образ мыслей (сами Гизо, Одилон Барро, Араго, Луи Блан, пожалуй даже и Прудон, сильно — хоть и не в такой степени, как Виктор Гюго — держались такого же образа мыслей. Его не держался Тьер, потому что был не очень честный и вовсе не добрый человек; не держался Луи-Филипп, потому что был хоть и добрый человек, но слишком большой хитрец; не держался полковник Шаррас, потому что был очень практически зоркий человек). Но вот пришло 24 февраля, — Франция в опасности, разделилась на два лагеря, каждый честный гражданин должен идти в тот или другой, смотря по своим убеждениям. Виктору Гюго вздумалось, что так как теперь во Франции республика, то честнее всего быть ему республиканцем; но каким же? Республиканцы были тогда умеренные и красные. Ему вздумалось, что умеренные честнее красных, он и стал умеренным. А красные боролись с ними, — ему показалось, что они — враги республики, он стал воинствовать против них: чуть ли не ему принадлежит благородное выражение, имевшее тогда очень большой успех: «я знаю две республиканские кокарды: истинную, трехцветную, национальную, и красную, незаконную», что-то в этом роде. Так он и поражал красных, пока не побил до конца; тогда ему стало жаль их, — в самом деле, положим, что они красные и беззаконники, а все же жалко: люди семейные, хорошие мастера, многие даже и по праздникам не бывают в пьяном виде; он рассудил, что надобно вступить за них, и вступился; вступался, вступался да вдруг и увидел, что сам стал красный и социалист, — искренно, видите ли, проникся чувствами своих клиентов; ну и

стал безбоязненно, как следует благородному человеку, высказывать свое новое имя «красный, социалист» и пошел на баррикады, когда понадобилось. Такие люди в исторических делах столь же благородны, сколько смешны, столь же благонамеренны, сколько вредны всем без исключения — и друзьям, и врагам, но масса всегда такова. На Викторе Гюго эта черта выразилась очень эффектно, потому что он был очень горячий человек, но больше или меньше почти все тогда поступали в этом же вкусе; разница была лишь в том, какой лагерь кому казался лучшим, и какая партия в лагере кому когда казалась честнее, а дух действий и основательность поступков были точно такие же. Эта манера идет через всю всемирную историю от египетских Фив и до нашего времени.

(26). Эти все были уже действительно политические люди с определенным образом мыслей, не то, что Виктор Гюго, все они принадлежали к партии, называвшейся тогда партией «социальной республики» и составившейся из соединения остатков смелого отдела бывших умеренных республиканцев, примирившихся с своими прежними врагами июньской битвы прежней партии «красных» и прежней партии социалистов. Шельхер известен тем, что по его настоянию временное правительство 1848 года провозгласило (в первое время после февральской революции) освобождение негров во французских колониях; де Флотт, по происхождению аристократ, был одним из лиц, наиболее строго наказанных правильным судебным порядком во время процессов по июньскому возмущению; он был потом в числе волонтеров Гарибальди, был, кажется, одним из его любимых товарищей и убит в сицилийско-неаполитанском походе Гарибальди. Это был человек бесстрастного мужества⁶⁵. Другие, пошедшие с ним 2 декабря в Сент-Антуанское предместье и присоединившиеся к ним там, перечисляемые Кинглеком в следующих строках, также были все люди действительно простого и твердого мужества, без фанфаронства, которым страдали люди вроде Виктора Гюго, Ламартина⁶⁶ и тому подобных героев, хоть и честных людей.

(27). Теперь озлобление действительно уже было, и было серьезно. Люди, стоящие в строю, постепенно ожесточаются против тех, битвы с которыми ждут; это уже и само по себе, независимо от всяких внушений, развивается из двух натуральных причин: одна — опасение за самого себя, чувство самозащиты, чувство воинственности, разгорающейся от раздражающего ожидания; вторая — физическая усталость, заставляющая солдата злиться на тех, которые служат причиной, что он подвергается изнурительному стоянию в строю, — эти люди уже действительно сделали ему сильную досаду, измучили его, если он стоит для них в строю несколько часов; а тут это тяжелое и раздражающее положение длилось уже более двух с половиною суток. Солдаты теперь были бы уже ожесточены на парижан, хотя бы прежде

были очень дружны с ними, и хотя бы не были угощаемы вином с раздражающими внушениями и обещаниями.

(28). *A Russian noble with his sister at his side* * — фамилии этих лиц не выставлено у Кинглека. Мне помнится, что я слышал от какого-то другого русского то же самое, но от кого — не умею теперь сказать в точности, — это было слышано мною давно, лет 5 назад; рассказчик не был ранен, говорил, что стоял не на балконе, а у окна ресторана. Разумеется, это другой случай: вероятно, и русских тут был не один десяток у разных окон и на разных балконах, и на разных местах тротуара.

(29). То есть в очень плотном строю.

(30). То есть перед этим было скомандовано соответственно нашему «вольно», — войска были не в боевой готовности, а в бездействии, в ожидании, — они стояли в строю, но не предвиделось надобности держать их в строевом порядке. Парижане очень хорошо понимают эту разницу по курению сигар офицерами, — итак, они знали тогда, что имеют перед собою солдат, которые очень далеки от всякого военного действия.

(31). То есть Морни просто-напросто пожал зрелый хлеб на почве, возделанной и засеянной монархистами. Те уж три с половиною года твердили провинциалам: не разбирая ничего, слушайтесь всего, что будет вам говорить правительство, иначе — анархия и социализм, резня и грабеж. Когда монархисты достаточно внушили это провинциалам и заместили (через своих министров, в особенности министров внутренних дел, поочередно назначаемых ими к президенту, — из этих министров внутренних дел известнейший — Леон Фоше, о котором выше упомянул Кинглек, объясняя карьеру Мопя), — когда монархисты заместили должности префектов и проч. людьми, готовыми исполнять всякое приказание министра внутренних дел, тогда Морни с несколькими солдатами и компаньонами пришел в кабинет министра внутренних дел пораньше поутру, когда чиновников еще не было в канцелярии, сел за стол, от которого шли телеграфические проволоки, и продиктовал провинциям: «Министр — я, Морни; итак, повинуйтесь мне». Это дело было очень немудрое, благодаря тому, что подготовка сделана была так отлично хорошо монархистами.

(32). Предводитель того отдела легитимистов, который отличался усердием к католичеству, — оратор действительно очень красноречивый, автор «Жития св. Елисаветы Венгерской» и знаменитой речи, имевшей в свое время великолепный успех и следующий смысл: «Некогда были совершаемы крестовые походы против иноземных врагов всякой святыни, мусульман; ныне должно предпринять столь же священный крестовый поход против

* Русский дворянин, рядом с которым была его сестра. — Ред.

внутренних еще злейших врагов всего, чем дорожат люди, против социалистов». Новый крестовый поход длился три года, и когда Флери, Морни, Персиньи увидели, что он увенчался полным успехом, они распорядились в ночь с 1 на 2 декабря упрочить — хоть не в руках крестоносцев, а в своих — результаты, доставленные счастливым походом рыцарски благородных, — действительно, в сущности, благородных и честных, — крестоносцев. — Сам Монталамбер едва ли человек совершенно чистый, но все-таки гораздо более чистый, нежели те, которые захватили власть в ночь с 1 на 2 декабря; а масса монархистов, приоткрывшая это дело, действительно состояла из людей совершенно чистых и благонамеренных; они только не понимали, что такое делают.

(33). Легитимисты тогда нашли и теперь продолжают находить, что Монталамбер выказался тут с дурной стороны, что измена его делу короля Генриха V была делом не одного бескорыстного убеждения, а в значительной степени и расчета: он надеялся стать министром у Луи Бонапарте. Вероятно, легитимисты правы. Но никто другой из них не последовал этому дурному примеру одного из своих предводителей, все остались верны делу того лица, которого считают законным королем Франции, Генриха V. Они участвовали в общей ошибке монархистов, имевшей результатом поражение; но, подобно другим отделам монархистов, они приобрели право на уважение честностью и верностью своим убеждениям, которую выказали, подвергнувшись неожиданному поражению.

(34). В числе экстраординарных комиссаров, разосланных в первое время после февральской революции тогдашним министром внутренних дел Ледрю-Ролленом, было несколько человек, выбранных очень неудачно. Они не могли сделать никакого важного вреда: при первом произвольном распоряжении жители города объявляли комиссару, чтоб он ехал назад в Париж, и он принужден был ехать со стыдом. Тогда было такое время, что в каждом городе население держало себя очень бодро; а временное правительство не поддерживало Ледрю-Роллена, — он был тогдашний предводитель «красных» республиканцев, а большинство временного правительства составляли «умеренные» республиканцы; Ледрю-Роллен никогда не имел силы отстоять и таких своих распоряжений, которые желал бы отстаивать; а комиссаров, которые не нравились департаментам, куда были посланы, он и сам не желал отстаивать, понимая, что это было бы вредно для него, при шаткости его положения. Он делал много опрометчивого, потому что был человек, очень быстро действовавший и притом не успевавший во-время отдать сам себе отчета в том, чего же именно он хочет, потому поступавший — ныне по внушению Мишеля де-Буржа, человека пожилого, солидного, твердого; завтра — по внушению Жана Рено, мечтателя⁶⁷; послезавтра — по внушению Ламар-

тина, который еще меньше его понимал, чего сам хочет, и т. д. Но он был человек неглупый и не имел упрямого самолюбия, поэтому всегда готов был и поправлять сделанную ошибку. Итак, 7 или 8 плохих или даже бесчестных людей, успевших тогда попасть в число 80 или 90 комиссаров, разосланных по провинциям, не успели сделать ничего важного, — не только подвергнуть кого-нибудь какому-нибудь тяжелому лишению, но и серьезно встревожить хоть кого-нибудь. Но шума и скандала из-за них было сделано очень много, главным образом по расчету умеренных республиканцев, желавших и успевших подорвать на этих случаях административную репутацию Ледрю-Роллена, чтобы захватить министерство внутренних дел в свои руки.

(35). Конечно, во время татарского ига и во время смут, следовавших за смертью Федора Ивановича⁶⁸. В тех отделах своего рассказа, который относится к России, Кинглек подробнее говорит об этом, а здесь только ссылается на свой главный источник по предмету отношений русской нации к православной церкви, книгу Артура Стэнли⁶⁹.

(36). Постоянно, с 1814; перед тем был лишь небольшой перерыв в блистательнейшую эпоху правления Наполеона I; а до этой эпохи (приблизительно 1807—1812 годы) было, приблизительно с 1760-х годов, то же самое, что после нее.

(37). Даже такой формалист, такой прямодушный консерватор и приверженец строгой законности, как Гизо, был членом клуба, открыто называвшегося комитетом для ведения выборов, а в сущности составлявшего под этим прикрытием тайное общество; Гизо прямо или косвенно действовал в нем почти все время Реставрации, особенно с 1822—1823 года до июльской революции.

(38). Проще сказать, как было замечено выше: большинство французских солдат и офицеров презирало невоенных людей, по тщеславию считать себя первым, лучшим сословием нации, — тщеславию, которое свойственно всякому сословию всякой нации, сознающей свою силу; так в Англии большинство коммерческих людей презирает остальную нацию, в том числе аристократию; большинство аристократов тоже презирает всю нацию, в том числе коммерческие классы; большинство английских моряков тоже презирает всю нацию, в том числе и аристократию и купцов. Армия в Англии очень слаба сравнительно с каждым из этих трех классов, но все-таки и она не совсем лишена того же чувства. То же во всякой другой нации, в том числе и во французской; сильные классы до 1852 года там были: аристократы, юристы, чиновники, публицисты (литераторы), негоцианты, военные; каждый из этих классов очень свысока смотрел на все остальные. В военных это чувство было особенно сильно, потому что их сословие было действительно очень сильно.

Глава вторая

Переговоры по турецким делам и объяснения покойного русского императора с английским посланником в Петербурге сэром Гамильтоном Сеймуром

Спор по вопросу о правах духовенства греческого и римского исповеданий в Палестине. — Мнение Западной Европы о чувствах русской нации по этому предмету. — Черногорские дела; требование, переданное Порте графом Лейнингеном, и объявление русского императора, что в случае отказа Порты он начинает с нею войну. — Разговоры русского императора с сэром Гамильтоном Сеймуром.

Почти тотчас же после декабрьского переворота результаты его начали отзываться на европейских делах. Элизейские компаньоны понимали, что им удалось поработить Францию и поправить ее законы только потому, что французский народ не желал возобновления смут; из этого ясно было им, что им надобно заняться и занять Францию чем-нибудь другим, кроме своей полицейской системы, — иначе их власть упадет, как только пройдет мимолетная боязнь анархии, фантастически запугавшая народ. По внутренним делам они стояли в таком положении, что не могли делать ничего, кроме стеснительного и неблагоприятного; итак, надобно было отвлечь внимание Франции от внутренних постыдных дел шумом иностранной политики. Надобно было спешить поднять этот шум, потому что иначе головы элизейских заговорщиков слетели бы с плеч; надобно было им быстро наваливать новые факты иностранной политики между собою и своими прежними деяниями, чтобы этими новыми предметами закрыться от опасности, которою грозило им воспоминание французов о плутовской проделке 2 декабря и убийствах 4 декабря. Колебаться им было невозможно. Тут дело шло не о славе, не о честолюбии, — дело шло о спасении своих голов. Чтобы принцу Луи Бонапарте, Морни и Флери, Мопа, Сент-Арно и Маньяну не быть отведенными в тюрьму и преданными суду, а продолжать пользоваться своею добычею, им необходимо было нарушить тишину в Европе, поднять смуты в ней. Меры к этому тотчас же были приняты. Предлогом был избран восточный вопрос ⁷⁰, ближайшим поводом к поднятию тревоги из-за этого вопроса — так называемое дело о святых местах палестинских. Не дальше как через несколько дней после переворота 2 декабря французскому посланнику в Константинополе Лавалетту были посланы инструкции, имевшие целью поднять шум из-за этого дела и поссорить Турцию с Россиею. В чем же состояло дело о святых местах палестинских?

Греческая и римская церковь пользуется известными правами по заведыванию святыми местами палестинскими; иногда между духовенством бывали споры из-за этих прав; но в конце 1851 года ничего такого не было; в Палестине давно существовал мир между духовенством греческим и римским; они не вели споров ни о чем.

Однакоже французское правительство нашло возможность поднять спор. В 1740 году Порты заключила с Франциею конвенцию, по которой признавала за французским правительством право охранять интересы римской церкви в Палестине и обещалась оставить неприкосновенными все права, которыми тогда пользовалось римское духовенство по заведыванию св. местами. Но французское правительство не имело существенного интереса наблюдать за выполнением этой конвенции: вообще у католиков почти вовсе нет обычая паломничества к св. местам палестинским, нет его и у французов. Из французов посещают Иерусалим только туристы, как посещают Египет и Константинополь, — не для паломничества, а из любознательности или для развлечения; и туристы эти очень малочисленны. Потому конвенция 1740 года была забыта и французским и турецким правительствами.

Между тем с 1740 года могущество России росло. В России довольно распространен обычай хождения ко св. местам палестинским; поэтому русское правительство было отчасти заинтересовано действовать на пользу греческой церкви в Палестине и при удобных обстоятельствах склоняло Порту предоставлять греческому духовенству в Палестине разные преимущества по заведыванию св. местами. Некоторые из новых льгот противоречили забытой конвенции 1740 года. Но никто об этом не думал в течение долгих годов или десятков годов; даже римское духовенство в Палестине, как мы говорили, перестало обижаться новыми правами греческого, привыкло к ним, и споров не было никаких.

Эта мирная уступка со стороны римского духовенства очень понятна: привилегии, уступленные Портою греческому духовенству насчет прежних прав римского, относились к предметам очень второстепенным. Важнейшее из прав, утраченных римским духовенством, было право иметь ключ от главной двери церкви Рождества в Вифлееме, — теперь этот ключ находился у греков, католики могли входить в церковь только боковыми дверями; остальные утраченные привилегии имели еще гораздо менее важности, — например, право поставить серебряную звезду в алтаре этой церкви. Ясно, что даже при сильном взаимном соперничестве греческое и латинское духовенство не могло серьезно поссориться из-за таких вопросов; обе стороны должны были скоро предать их забвению, — и действительно предали. Вспомним, что вифлеемская церковь Рождества — только одно из многих второстепенных мест поклонения, далеко не имеющих такой важности, как иерусалимская церковь Гроба господня; что и по заведыванию этим второстепенным местом поклонения уступка относилась лишь к мало-важной подробности, чисто формальной. И вот такой-то вопрос, не имевший силы возбудить неприязни даже между духовенством в Палестине, был обращен новым французским правительством в средство взволновать Европу.

Французский посланник в Константинополе Лавалетт полу-

чил, как мы видели, приказание напомнить Порте забытую конвенцию 1740 года и потребовать восстановления прав, гарантированных ею римскому духовенству. Очень скоро он получил приказание угрожать Порте вооруженною силою, если его требование не будет исполнено. Для турецкого правительства было решительно все равно, которое духовенство будет иметь ключ от той или другой двери вифлеемской церкви; но ключ был отдан греческому духовенству по желанию России; возвратить его латинскому духовенству, которое до той поры и не претендовало на эту передачу, значило оскорбить русское правительство. Порта была в затруднении, но Лавалетт грозил флотом и пушками; Порта уступила и нотою 9 февраля обещала удовлетворить претензию французского правительства. Это обещание было противно фирманам *, данным греческому духовенству в Палестине по желанию русского правительства; русский посланник выразил неудовольствие, и Порта через несколько дней издала в удовлетворение ему фирман, подтверждавший прежние фирманы о правах греческого духовенства в Палестине, то есть нарушавший обещание, уже данное французскому правительству. От этого трусливого двоедушия дело запуталось: французский посланник требовал исполнения обещания, данного нотою 9 февраля, русский посланник — исполнения фирмана, изданного через несколько дней после того. Как было выпутаться Порте из затруднения? Она в своем желании не оскорбить ни то, ни другое правительство придумала новую хитрость. Для исполнения дела на месте она послала в Иерусалим Афиф-бея, и он хотел уладить неприятность таким образом: объявил на словах греческому и римскому духовенству, что сохраняются привилегии греческого духовенства, но скрыл фирман и не согласился обнародовать его по требованию представителей России в Палестине. Потом молча ключ от главных дверей вифлеемской церкви был отдан римскому духовенству и дано ему позволение поставить серебряную звезду в ее алтаре. Таким образом, на словах Порта польстила греческому духовенству в Палестине, на деле исполнила требования Франции. Через это русское правительство было поставлено в спор с Турциею и Франциею, турецкое правительство — в неприятное положение между противоположными требованиями французского и русского **.

* Указам, охранительным грамотам. — Ред.

** Если бы мы не видели настоящего мотива, двигавшего ходом событий, мы могли бы вообразить, что во всей беде виновато трусливое двоедушие Порты. Действительно, эта ошибка Порты много помогла успеху замысла французского правительства. Если бы Порта твердо сказала Лавалетту: «Конвенция была забыта самою Франциею; фирманы новее ее; мы не хотим ссориться с Россиею; для нас все равно, какому из христианских духовенств владеть ключами; ведите переговоры прямо с Россиею, на чем вы поладите с нею, так мы и сделаем», — если бы Порта отвечала в этом духе, по всей вероятности, дело из-за конвенции 1740 года было бы брошено Франциею. Так; но это не избавляло ни от чего ни Порту, ни Россию,

Шли споры между французским и русским правительствами через турецкое; турецкое, запугиваемое французским, постоянно поддавалось ему, — русское правительство постепенно было доведено до сильного негодования, и русский император приказал 5-му корпусу придвинуться к турецким границам, 4-му корпусу быть в готовности идти также на юг.

Эти движения войск показались Западной Европе довольно опасными. Чтобы понять, в чем она видела опасность, надобно ближе познакомиться с понятиями Западной Европы о чувствах русского народа и намерениях русского правительства по так называемому «восточному вопросу». Читатель и без помощи длинных примечаний может разобрать, насколько правды в этих понятиях, насколько в них преувеличения, уже похожего на пустяки, и насколько совершенного вздора. Но все-таки я в некоторых случаях буду делать оговорки, чтобы видно было, зачем я привожу изложение Кинглека: оно кажется мне важно не потому, что я вижу в нем совершенно точное изложение действительных стремлений русского народа и политики русского правительства, а только потому, что, не зная этого взгляда Западной Европы на «восточный вопрос», нельзя понять, каким образом успело французское правительство наделать столько бед самой Франции, Англии, Турции, Сардинии, Австрии, не только России; нельзя понять и расчета, по которому именно восточный вопрос был выбран французским правительством для поднятия необходимого ему шума. Итак, опять начинаю делать извлечение из Кинглека.

Люди, живущие в снегах России, от природы расположены чувствовать наклонность захвата, когда слышат о более счастливых землях, где круглый год цветут розы и сияет теплое солнце (39). А с той поры, как русская нация приобрела берег и гавани на Черном море, она принуждена постоянно думать о завладении проливами, ведущими через средину Турецкой империи в Средиземное море (40). Русская аристократия также была проникнута этим стремлением. Она издавна любит заниматься делами внешней политики, и русское правительство, благоприятствуя этой наклонности, увеличивало число дипломатических занятий. Почти всякий даровитый и просвещенный русский, отправляющийся путешествовать за границу, получал какие-нибудь дипломатиче-

ни Европу. Французскому правительству надобно было поднять шум из-за чего бы то ни было; оно рассудило, — и очень расчетливо, как увидим ниже, — что выгоднее всего для него поднять шум по так называемому восточному вопросу, и поднять его в таком виде, чтобы Турция поссорилась с Россией. Придиркою к этому была взята конвенция 1740 года; но если бы Турция своею прямою и честностью отделалась от этой придирки, нашлись бы другие, — всякая драка между каким-нибудь русским и каким-нибудь французским пьяными матросами могла бы послужить таким же предлогом вынуждать Порту к действиям, оскорбительным для России.

ские поручения и ехал с уверенностью, что он едет служить государству (41) собиранием сведений или другим, еще более прямым содействием. Исполняя такие поручения, люди эти, естественно, становились приверженцами политики, более предпримчивой, чем открытая политика их правительства, и результатом этого было, что стремление овладеть землями на юг от России, вложенное самою природою в русскую нацию, было поддерживаемо и развиваемо русскою аристократиею (42).

Честолюбивое стремление правителей (43) и аристократии усиливалось набожным желанием простолюдинов. Около 50 миллионов людей в России исповедуют одну веру и исповедуют ее с горячностью, какая уже давно не существует в Западной Европе (44). Все войны, которые приходилось вести русским, были войны с иноверцами (45), два раза, если не больше, русская национальная жизнь, совершенно погибавшая, была спасаема воинственною ревностью русского духовенства (46). По этим причинам любовь к отечеству и усердие к православию слились у русских в одно всеобъемлющее чувство, так что они не могут отделять патриотизма от православия; и хотя они по природе народ добрый и кроткий, но, когда дело коснется их веры, они пылки. Они слышали о неверных, сломавших кресты с церковей христовых, овладевших великим городом, столицею православия (47), и, насколько они могли судить, они полагали, что было бы делом богоугодным с дозволения царя истребить и искоренить турок (48). Но этого мало. Русские знали, что в турецких владениях находятся 14—15 миллионов людей, исповедующих ту же веру, как русские, находящихся в порабощении у мусульман, и слышали рассказы о страданиях этих братьев своих — рассказы, вопиющие об отщепенстве (49). Русский народ не мог представить себе предприятия, делающего более чести ему и его церкви, чем поднять знамя креста, изгнать неверных из Европы и соединить с «святою Русью» обширные провинции, в которых живут и страдают его братья (50). Правда, что русские поселяне — народ непредпримчивый и что очень трудно встретить между ними человека, который по доброй воле пошел бы в крестоносцы, — всякий предпочел бы остаться в своем селе. Но народ знал, что и в мирное и в военное время одинаково бывают рекрутские наборы, одинаково берутся подати на содержание армии; потому он желал в простоте сердца, чтобы уж если так, то пусть, по крайней мере, армия будет обращена на дело, казавшееся ему святым и правым (51). Эти желания были освящены голосом предсказаний: прорицатели давно предвозвещали, что турецкое царство будет сокрушено русоволосыми людьми (52).

Но как ни сильно было в своей коллективной силе это задушевное желание целой нации (53), оно оставалось бы смутно и неопределенно, если бы не нашло целью себе какого-нибудь знаменитого города и символа, на который могли бы устремляться взоры массы. И город, и символ давно были найдены: город —

это был Царьград, некогда столица вселенной; символ — это был крест, виденный на небесах основателем Царьграда, — виденный им на небесах, осененный небесною надписью: «Этим знамением ты победишь» (54). Люди, смотревшие на дело с политической точки зрения, видели мыс Золотой Рог, владычествующий над Босфором и Дарданеллами, залог богатства и могущества для государства. На горизонте набожной толпы возвышался купол св. Софии (55). Таким образом, стремление набожности придавало силу честолюбию государственных людей. Император Александр I, когда противился этому стремлению русского честолюбия, сознавался, что «он единственный человек в России, противоборствующий желанию русских воевать с турками» (56).

Царь был глава церкви. Ему необходимо было исполнять обязанности, возлагаемые на него этим положением. Религиозное чувство нации было бы опасным образом оскорблено, если бы духовенство принуждено было сознаться, что царь не разделяет набожного желания нации (57). Но каков же будет результат, если осуществится стремление русской нации овладеть Константинополем? Русские сами смущались этим вопросом. Присоединение Европейской Турции к владениям царя, очевидно, влекло бы за собою распадение организма русской империи. Явно было, что невозможно было бы управлять Россиею правительству, переселившемуся на Босфор: а по самому положению своему Константинополь необходимо должен быть столицею государства, в состав которого входит. Потому, если бы он стал владением русского императора, то надобно было полагать, что русская правительственная власть перенесется туда и Царьград сделается столицею нового государства, а не будет провинциальным городом прежнего русского царства. Русские государственные люди всегда предвидели, что завладение Константинополем повело бы к очень большим переменам во всем; и надобно полагать, что это соображение подкрепляло собою те причины не желать завоевания Царьграда, которые находили они в материальной трудности похода на него, в упрямой храбрости турок, в неудовольствии, которое стали бы питать за подобное предприятие остальные великие державы. Но все-таки добыча была так заманчива для аристократии, одушевленной национальным честолюбием, и для народа, пламенеющего религиозным чувством, что русскому царю необходимо казалось делать вид, будто он постоянно думает об осуществлении завоевательной мысли, столь драгоценной для нации. Она почла бы его плохим ревнителем веры, если бы нашла, что он не хочет стараться о восстановлении креста на поруганной мусульманами церкви св. Софии царьградской; он охладил бы преданность престолу в лучших своих сановниках, если бы ничего не делал для подготовки завладения Босфором.

Из этой разнохарактерности побуждений и соображений, управлявших русскою политикою, происходил тот общий результат,

что в русских императорах была честолюбивая мысль овладеть Константинополем, что она постоянно была жива и бдительна, по временам деятельна, но всегда — нерешительна. В начале нынешнего века Наполеон I сказал: «Россия так давно угрожает Константинополю и не берет его, что пора перестать ждать, что она возьмет его» («Russie a trop menacé Constantinople sans le prendre»). Его слова очень долго оставались истиною, которая уже давно существовала, когда они были произнесены: на целые полвека после того русская политика продолжала соответствовать характеристике, которую он дал ей ими. Царям была очевидная надобность в том, чтобы русская нация полагала, что они постоянно подбираются к овладению Константинополем, но побуждения, заставлявшие отложить это дело, постоянно перевешивали. Мысли русских царей по этому делу были нерешительны. Им и хотелось и не хотелось приниматься за него; эта борьба мыслей заставляла их колебаться. Перед русскими они, натурально, выставляли честолюбивую сторону своих желаний; перед Европою, тоже натурально, болееставляли расчеты благоразумия, удерживавшие их от завоевания; эта двойственность, судя по всему, была не следствием желания обманывать, а следствием нерешительности. Завоевание Константинополя было проектом, исполнение которого постоянно отлагалось, но который сам не был вовсе покидаем. Честолюбие при подобной нерешительности получает сильное ободрение к действию, когда устраняется какое-нибудь из главных препятствий, мешающих ему; главным препятствием ему было опасение, что великие европейские державы вступят в союз против России, если она вздумает приводить свою мысль в исполнение. Когда такой союз кажется невозможным, Россия действует решительнее.

Император Николай был правителем с неограниченною властью, человек настойчивого характера. Мысли его были очень постоянны; он так усердно занимался делами, что министры постепенно стали только секретарями, исполнявшими его решения, и он гордился тем, что сам ведет все важные дела, что в нем не по одному имени, а действительно сосредоточивается правительственная власть. Он гордился и тем, что он истинно национальный царь. Он любил быть правдивым и говорил, что по понятиям о чести он «джентльмен», — он любил употреблять это выражение, и европейские дипломаты привыкли полагаться на его слово.

Но его действия по восточному вопросу с начала 1853 года показались Европе не соответствующими прежнему характеру его политики. Иногда он говорил с откровенностью, отнимавшею всякое подозрение у самых недоверчивых правителей; потом он делал совершенно не то, что говорил с такою прямою. Это казалось хитростью, но хитрость эта выказывалась в вещах, не имевших обдуманности, в действиях нерасчетливых. Таким образом, дела его Европа в 1853 и 1854 годах по делу о восточном вопросе;

но она увидела это уж поздно, а когда решалось дело, в начале 1853 года, она считала его таким, каким привыкла знать: человеком твердым и правдивым, человеком мужественным и гордым, который не мог унизиться до лжи (58).

Император Николай был человек резкого характера, любил заниматься войском и был неумолимым генерал-инспектором своей армии; но он не любил войны. Он не был чужд стремлениям своей нации по турецкому вопросу, но в тогдaшнее время (1852—1853) он давно уже не думал воевать с Турцией. Он воевал с нею вскоре по своем воцарении⁷¹. Но опыт этой войны не понравился ему: она была очень тяжела для войска, сильно страдавшего от болезней и недостатка; и хоть у султана еще не было тогда новой армии после уничтожения старой янычарской, поход был затруднителен для русских. Дибич успел кончить войну блистательным образом; но император Николай все-таки увидел, что завоевать Турцию без содействия или одобрения других великих держав — дело слишком тяжелое, и оставил эту мысль, если имел ее прежде. Но он знал, что гордость его нации будет глубоко оскорблена, если Турецкая империя распадется без участия России и без выгоды для стремления русской нации войти в Константинополь. Потому, видя, что при существующих обстоятельствах русские не могут овладеть Константинополем, он решил, что должен, в ожидании выгоднейшего для него времени, охранять Турецкую империю от распада. Более 20 лет и действия, и слова его соответствовали этому принципу, который вовсе и не был только маскою. Предполагая, что когда-нибудь Турция может достаться в добычу России, император Николай считал полезным сохранять ее в целости для будущей выгоды России. В 1833 году он спас султана и его династию от гибели, остановив победоносную армию паши египетского. В 1840 году он также показал себя верным покровителем султана, искренно соединившись с Англией и немецкими великими державами для предотвращения гибели, которою вновь угрожал Турции Мегмет-Али⁷².

В 1844 году русский царь был в Англии и внимательно всматривался, не найдет ли между нашими государственными людьми таких, которым надоело поддерживать существование Турецкой империи. Он откровенно высказывался герцогу Веллингтону⁷³, лорду Абердину и Роберту Пиллю, но, — очевидным образом потому, что не нашел сочувствия, — прекратил эти разговоры, сказав, что, впрочем, он и сам держится такой же политики, как Англия, — охраняет существование Турции, и, чтоб это уверение действовало сильнее, он оставил нашему министру иностранных дел формальное изложение своей системы, в которой ручался за Австрию, что она согласна с ним. Наше правительство выразило полное свое согласие с тою частью записки царя, в которой он говорил, каковы его принципы по турецкому вопросу при существующем положении дел; сказало, что согласно и с очевидною истиною, что

в случае распада Турецкой империи очень полезно будет, если великие державы будут действовать по соглашению между собою; но главные люди тогдашнего министерства Веллингтон, Пиль и Абердин, — все трое одинаково прибавили, что не могут входить ни в какие обязательства на случай обстоятельств, еще не казущихся близкими. Вот существенное содержание записки царя: «Россия и Англия обе проникнуты убеждением, что общий их интерес требует, чтобы Турция сохраняла свою независимость и нынешние свои владения. Согласно в этом принципе, Россия и Англия имеют одинаковый интерес соединять свои усилия для охранения Турецкой империи и для отвращения всех опасностей, могущих угрожать ее существованию. Поэтому главная забота их — предоставить Порте жить спокойно, не тревожа ее ненужными дипломатическими придирками и не вмешиваясь без крайней надобности в ее внутренние дела». Объяснив, что склонность Порты притеснять ее подданных христиан должна быть останавливаема соединенными и дружелюбными увещаниями всех великих держав, а не одинокими действиями какой-нибудь из них, записка продолжает: «Если все великие державы открыто и искренно примут это за принцип своей политики, то они могут с основательностью надеяться, что сохранят существование Турции. Но они не должны скрывать от себя, что она заключает в себе очень много элементов распада. При том оно может быть ускорено непредвиденными обстоятельствами. При безвестности будущего можно, кажется, найти только одну основную мысль, действительно имеющую практическое значение; она такова: опасность, могущая произойти от катастрофы в Турции, будет много уменьшена, если в подобном случае Россия и Англия успеют дойти до соглашения о том, чтобы действовать заодно. Это соглашение будет тем полезнее, что с ним будет вполне согласна и Австрия: между нею и Россиею уже существует полное согласие».

Вообще, судя по всем действиям царя, можно сказать, что до 1853 года его политика относительно Турции была выжидательная. Он имел свои планы о том, как воспользоваться ее распадом, но не желал видеть этого распада прежде, чем успеет войти в соглашение с Англией. Если бы он успел устроить это соглашение, он, быть может, постарался бы ускорить раздробление владений султана. Но Англия постоянно отказывалась входить в обязательства, основанные на предположении катастрофы, которую желала она отвести; поэтому русский император, вероятно, привык к мысли, что судьба не предназначила Турецкой империи пасть при его жизни и что ему не придется управлять ее разрушением. Поэтому он взял другую сторону дилеммы и не только на словах, но и на деле был усердным охранителем государства, которое нельзя было ему разрушить. Но натурально было, что, принужденный обстоятельствами держаться такой политики, он был недоволен ими, и когда Турция сердилась на него, он несколько под-

давался раздражению против нее. В такие минуты его действия колебались между влечением разрушить ее и основательным решением его, что ему не следует делать этого; из борьбы этих двух мотивов выходило направление, которое английская дипломатия характеризует словами: «стремление приобрести господствующее влияние на политику Порты, для этого устранить влияние всех других держав на нее; действовать так, чтобы если не ускорить падение Турции, то хотя мешать ее упрочению, и подготовить в будущем для России возможность обратить в свою пользу падение этого государства, когда обстоятельства будут благоприятны такому делу».

Около того же времени, как русский император был рассержен торжеством французского правительства по делу о святых местах палестинских, была у турок война с черногорцами. Это тревожило Австрию, тем более, что она знала о сочувствии русского императора черногорцам. Чтобы предупредить его вмешательство, австрийский кабинет решил послать Порте безусловное требование немедленно вывести войска из Черногорья. Русский царь одобрил это решение; по всей вероятности, он узнал его уже только когда Австрия уже решила выразить свое требование; но по совещанию ли, или без совещания с ним она сделала так, он решил действовать заодно с нею. Из Вены отправлялся с австрийским требованием в Константинополь граф Лейнинген; император решил одновременно с ним отправить и от себя чрезвычайного посла с поручением объявить Порте, что отказ султана вывести войска из Черногорья будет принят Россией за объявление войны ей Турцией, и с поручением потребовать удовлетворения по делу о святых местах палестинских. Таким образом, говоря, что вступит в войну с Турцией, если требование Австрии будет отвергнуто, царь должен был обозреть, в какое положение относительно других великих держав станет Россия в подобном случае.

Больше всех других держав была заинтересована тут Австрия. Ее правительство постоянно держалось и теперь намерено было держаться той системы, что распадение Турецкой империи вредно для Австрии, потому что поставит южную границу ее в соседство с русскою. Но она уже послала султану угрозу войною, и ей трудно было выпутаться из этой угрозы, если бы султан отверг ее требование. Император Николай должен был ждать, что Австрия будет его союзницею, — и будет именно с тою целью, чтобы удержать его от разрушения Турции.

Это было бы стеснительно для него. Но зато, действуя в союзе с Австриею, русский император мог быть уверен, что Пруссия не станет мешать войне: участие Австрии служило бы для Пруссии и всей Германии верным ручательством, что интересы немецкой торговли на нижнем Дунае будут охранены.

Как примет это дело новое французское правительство — бонапартистское правительство? Это было неизвестно. Даже и предположение, что оно станет подражать политике Наполеона I, не развясняло вопроса: Наполеон I бывал и другом, и врагом Турции. Впрочем, казалось, что нет особенных причин думать, что новый император французов откажется участвовать в раздроблении Турции. А если бы и отказался, он представлялся не страшен: русский император твердо решил не ссориться с Англией; а без Англии Франция не могла ничего сделать в стране, отделенной от нее всем протяжением Средиземного моря, — такая война была бы слишком опасна для Франции: «Если я и Англия согласны (по турецким делам), — говорил император, — то мнение других западных держав неважно».

Таким образом, для русского императора важен был только вопрос об Англии. Если он успеет согласиться с нею о том, как распорядиться кусками Турецкой империи, то он не будет введен в опасность распадением этой империи, но даже может сделать что-нибудь для ускорения этой катастрофы. Но он сам говорил, что знает, что союз с Англией зависит от расположения не столько правительства Англии, сколько массы английской нации, — и он заботливо старался узнать ее расположение.

Англия издавна была загадкой для континентальных государственных людей и публицистов; но в тогдaшнее время — с лета 1851 года — им стало казаться, что они разгадали ее. Им показалось, что она падает со своего места в ряду держав; и были факты, которые действительно могли быть поняты в этом смысле поверхностными наблюдателями. Англия уже давно пренебрегала заботою о силе своей армии, — иностранцы сочли это признаком расслабления нации. Правда, Швейцария и Северо-Американские Штаты показывали, что народ может быть воинствен, хотя не содержит многочисленной армии в мирное время; но в Англии было явление, выставлявшее нацию в другом виде. Множество людей честных и уважаемых ораторствовали против всякой воинственности⁷⁴. Серьезным их желанием было только продлить мир, предостерегать нацию от бесполезных войн; но они в своем одушевлении заходили гораздо дальше и, наконец, составили партию, доказывавшую нелепость всяких войн вообще, — Peace Party*, партия, безусловно превозносящая мир. Был третий симптом — экзальтированное восхищение дивным развитием промышленности и технических наук; а в довершение впечатления летом 1851 года англичане обратились ко всем нациям с проповедью этого поклонения промышленности и механике, устроили всесветный храм для него — Хрустальный дворец всемирной выставки⁷⁵. Сущность дела была практичная и рассудительная: англичане хотели дать себе и другим случай видеть новые изобретения, сравнить разные

* Мирная партия. — *Ред.*

изделия, устроить большой промышленный митинг. Но континентальные наблюдатели вздумали приписывать выставке более глубокомысленное значение: торжественное отречение от всякого господства, основанного на силе. И точно, в Англии говорилось и писалось тогда много горячих речей и статей, имевших подобный смысл. Самим англичанам показалось бы тогда неправдоподобно предсказание, что не дальше, как через три года, они будут громко требовать войны из-за дела, далекого от прямых английских интересов; тем легче было ошибиться иностранцу, и нельзя строго порицать посланников великих держав при сент-джемском дворе, если они тогда писали своим правительствам, что Англия совершенно погрузилась в занятия, которые должны мешать ей заботиться о внушении уважения к ее голосу в европейских политических распрях.

Все это привело иностранцев к мнению, что натура английского народа изменилась, что отныне он будет держать себя смирно в иностранной политике; а в начале 1853 года случилось, что первым министром стал человек, имя которого казалось ручательством за миролюбие Англии, — лорд Абердин. Император Николай услышал об этом с особенной радостью: когда в прежнее время лорд Абердин был министром иностранных дел, Англия не согласилась на просьбы Австрии вступить с нею в союз на защиту Турции. А между тем именно то обстоятельство, что лорд Абердин был первым министром, повело теперь к войне.

Было и другое обстоятельство, подкреплявшее надежду, что Англия не станет мешать России. Многие из англичан уже находили, что восстановление династии Бонапарте поведет к возобновлению хищнических планов Наполеона I, поэтому не желали разрыва между державами, из которых состоял великий союз, низвергнувший Наполеона I, и были бы против того, чтобы они перессорились лишь из-за желания Англии продолжать прежнюю ее политику по турецким делам. Да и сама по себе эта политика, хотя была принимаема вождями обеих партий, чередующихся в управлении, была одобряема далеко не всеми в Англии: люди замечательные по своему влиянию на публику не считали противным интересу Англии то, чтобы она спокойно допустила совершиться изгнанию турок из Европы. По всем этим обстоятельствам русский император находил, что если когда, то именно теперь Англия может допустить его раздробить Турецкую империю, быть может, даже помогать ему в этом.

Представителем Англии при его дворе был сэр Гамильтон Сеймур⁷⁶. Еще до своего приезда в Россию он был известен как человек, очень уважающий императора Николая, и потому был принят им с удовольствием. Он не был человек раболепный к царю, но из депеш его видно, что он находил большое удовольствие, когда русский самодержец беседовал с ним. Надобно прибавить, что он был человек, умевший понимать смысл слов, с кото-

рыми обращаются к нему, и отвечать кстати, умно, так, что разговор с ним шел легко и делался прямодушен.

9 января 1853 года он был на вечере у великой княгини Елены Павловны; император Николай подошел к нему и завел с ним разговор.

«Вы знаете, — сказал он, — мои желания относительно Англии; то, что я говорил вам прежде, я повторю и теперь: я всегда желал быть в тесной дружбе с Англией и уверен, что эти мои отношения к ней останутся прочны. Повторяю вам: важнейшая для меня и для английского правительства вещь — то, чтобы мы — я и оно — были в самых хороших отношениях между собою. И никогда не было большей надобности в этом, чем теперь. Прошу вас передать эти мои слова лорду Джону Росселю (59). Когда мы согласны между собою, я совершенно не беспокоюсь об остальной Западной Европе, — ни мнения, ни намерения ее других держав, кроме вашей, не важны. Турция — это другое дело; она в критическом состоянии и может ввести в хлопоты всех нас. До свиданья».

Император пожал руку Сеймуру, думая, что этим и кончится разговор; но опытный дипломат увидел и тут благоприятную минуту для объяснения и уловил ее; когда император взял его руку, чтобы проститься, он сказал: «Государь, если вы позволите, я желал бы быть с вами очень смел». — «Пожалуйста, будьте; что такое?» — отвечал император. — «Мне было бы большим удовольствием, если бы ваше величество прибавили два-три слова, которыми успокоилась бы тревога из-за турецких дел, возбуждаемая в нашем правительстве текущими событиями. Быть может, вам угодно будет прибавить к вашему поручению мне какое-нибудь уверение в этом смысле». Вид и голос императора были добры и ласковы, но показывали, что он не имел намерения говорить с сэром Гамильтоном о демонстрации, которую думал тогда сделать движением войск к турецкой границе. Однакоже, — вначале как будто неохотно, потом, одушевляясь, прямодушно и решительно, — он сказал: «Дела Турции в большом расстройстве; кажется, что она распадается; ее падение будет фактом очень неприятным; но необходимо, чтобы Англия и Россия согласились по этому вопросу и чтобы ни одна из них не делала в нем ничего важного, не уведомив о том другую». Сеймур отвечал, что, без сомнения, следует поступать так; но император, продолжая без перерыва, сказал: «Да, у нас на руках больной (60), очень трудно больной; я говорю вам: будет очень большим несчастьем, если он — ныне, завтра — исчезнет из числа живых, а в особенности, если он исчезнет прежде, чем успеют быть улажены все необходимые по этому случаю меры. Но теперь не время говорить об этом».

22 января император и английский посланник опять имели разговор. «Я застал государя одного; он принял меня очень ласково, — писал тогда Сеймур, — встретил меня словами, что я, как ему тогда (9 января) показалось, имею желание говорить с ним о

восточных делах; что он не имеет причин уклоняться от такого разговора, но должен начать с времени довольно отдаленного. «Вы знаете, — сказал он, — мечты и проекты, которым любила предаваться императрица Екатерина (61); они переданы преданием и нашему времени. Но, наследовав громадные территориальные владения, я не наследовал этих иллюзий, или этих намерений, если вам угодно так называть их. Нет; мое государство так обширно, так хорошо обставлено во всех отношениях, что неосновательно было бы мне желать увеличения моих владений или моего могущества, что, напротив, я сам первый скажу вам: наша главная, быть может, наша единственная опасность — опасность, которая возникла бы из того, если бы увеличилось наше государство, и без того уже слишком обширное.

Одно из пограничных нам государств — Турция, и при нашем нынешнем положении мы должны быть очень довольны таким соседством. Прошли времена, когда нам был сколько-нибудь грозен воинственный фанатизм турок; а между тем эта империя еще настолько сильна, — или до сих пор была сильна, — что могла сохранять свою независимость и пользоваться уважением от других держав.

Но в Турецкой империи есть много миллионов христиан; я должен охранять их интересы; и право на то дано мне трактатом. Я могу сказать, что пользуюсь этим правом с умеренностью, и охотно признаюсь, что иногда оно имеет значительные неудобства; но я не могу уклониться от исполнения долга, формально лежащего на мне. Наше русское исповедание принято нами от Востока, и есть чувства, есть обязанности, которых я не могу забывать.

Теперь: Турция, находясь в том состоянии, которое я характеризовал, постепенно впала в такое расслабление, что при всем нашем желании продлить жизнь больного, как я говорил вам на днях, — и прошу вас верить, что я не менее вас желаю продления его жизни, — он может вдруг умереть на наших руках. Мы не в силах воскрешать мертвых: если Турецкая империя падет, она падет безвозвратно. И потому спрашиваю вас: не лучше ли вперед обдумать случай, очень вероятный, чем подвергаться хаосу, путанице и неизбежной всеобщей войне, — вещам, которые будут необходимыми следствиями катастрофы, если она случится неожиданно и прежде, чем будет составлено соглашение на этот случай. Вот предмет, на который я прошу вас обратить внимание вашего правительства».

Сэр Гамильтон Сеймур отвечал объяснением, что английское правительство вообще имеет правилом не принимать на себя обязательств по фактам, еще не наступившим, и что английская нация, вероятно, была бы не расположена к плану вперед распорядиться наследством старого друга и союзника. — «Правило вашего правительства и вообще всегда хорошо, — возразил император, — а в особенности хорошо во времена шаткие, переменчивые, подобные нынешнему; но все-таки очень важно и полезно то, чтобы мы

поняли друг друга и не дали событиям захватить нас врасплах. И вот я желаю сказать вам, как друг Англии и как *джентльмен*: если Англия и я, мы согласимся по этому делу, то мнения и намерения остальных держав не важны для меня, — для меня будет все равно, что захотят делать и говорить другие державы. Итак, я прямо скажу вам, что если Англия думает ныне-завтра взять в свое владение Константинополь, я не допущу этого. Я не приписываю ей этого намерения, но в подобных случаях лучше договаривать все до конца. Она не хочет захватить Константинополь; я точно так же расположен дать обязательство не входить в него, — государем не входить; временно занять его моими войсками — это другое дело; может случиться, что если все будет предоставлено игре случая, если не будет сделано предварительного соглашения, то обстоятельства поставят меня в надобность временно занять Константинополь моими войсками».

20 февраля император подошел к сэру Гамильтону на вечере у великой княгини, супруги наследника престола (нынешней императрицы), с самою любезною ласкою отвел его в сторону со словами, что хочет поговорить с ним, и сказал: «Если ваше правительство приведено к убеждению, что Турция сохраняет какие-нибудь элементы жизни, это значит, что ваше правительство получало неверные сведения. Повторяю вам, что больной умирает, и мы никак не должны допускать, чтобы такое событие застигло нас врасплах. Мы должны притти к какому-нибудь соглашению».

Сэр Гамильтон почел себя вправе заключить из этого, что в мыслях царя распадение Турецкой империи совершенно признано делом близким.

На другой день император опять пригласил к себе сэра Гамильтона, стал доказывать ошибочность того взгляда английского правительства, что оно хочет продолжать смотреть на Турцию, как на державу, которая может остаться и, вероятно, останется в своем прежнем виде, и, наконец, высказал свою столь долго умалчивавшуюся мысль, которою надеялся привлечь Англию в союз с собою. Быть может, не так трудно, как вообще полагают, притти к удовлетворительному соглашению о распределении турецких владений в случае распада Турецкой империи, сказал он, и продолжал: «Молдавия и Валахия на факте уже и теперь независимые государства, находящиеся под моим покровительством; это можно бы оставить без перемены; Сербия могла бы получить такую же форму правления; Булгария — тоже: я не вижу причин, почему бы эта земля не могла стать независимым государством. Теперь о Египте. Я вполне понимаю важность этой страны для Англии. Потому скажу только: если в случае распределения наследства султана вы возьмете себе Египет, я не имею возражений против этого. То же самое могу я сказать о Кандии: этот остров, быть может, годится для вас, и я не вижу причин, почему бы не стать ему английским владением».

«Я не желал, — писал министерству сэр Гамильтон, — чтобы император подумал, будто представитель английского правительства соблазнился этим предложением; потому я отвечал только, что, сколько мне известно, желания Англии относительно Египта не простираются дальше того, чтобы установить прочное и удобное сообщение с Индией». — «Хорошо, — сказал император, — дайте вашему правительству случай высказаться вновь по этому делу полнее и решительнее. Я имею доверие к английскому правительству. Я желаю от него не обязательства, не формальной конвенции: я хочу только откровенного обмена мыслями и в случае надобности попрошу у английского правительства *джентльменского слова*, — этого будет достаточно между нами».

В ответ на это английское правительство сказала, что не имеет никакой мысли стремиться к овладению ни Константинополем, ни какою другою частью Турецкой империи; выразило свое довольство уверением царя, что и он также чужд всякого подобного желания, и в заключение очень любезно, но совершенно ясно и безусловно, отказалось вступить в какое бы то ни было тайное соглашение с Россией для решения восточного вопроса.

Эти переговоры, происходившие в январе и феврале 1853 года, были ведены между русским императором и английским правительством на том подразумеваемомся условии, что должны остаться строго тайною, и более года действительно оставались. Ниже мы увидим, при каких обстоятельствах тайна была обнародована и какое влияние имело это открытие на расположение умов в Европе и Англии.

И мы тогда посмотрим внимательно, в самом ли деле эти разговоры имели такое сильное влияние на ход событий, какое обыкновенно приписывают им; действительно ли они или какие-нибудь другие вещи восстановили против России Европу. А теперь мы займемся не внешним влиянием этих разговоров, а самым их содержанием.

Скажу прямо: и Западная Европа, и русская публика находят в них предметы для сильного порицания. Оно кажется мне неосновательно. В мыслях, которые сообщал покойный государь Сеймуру, действительно есть важная ошибка: она состояла в непонимании истинного характера и положения нового французского правительства. Покойный государь в 1853 году сказал, как говорил в 1844 году: «Если я и Англия согласны, остальные правительства не важны для меня в этом деле». В 1844 году это, по всей вероятности, было основательно: Франция не имела особенной надобности горячиться на действия России по турецким делам, когда Англия не находила бы в этих действиях причин для войны. Но теперь было обстоятельство совершенно другого рода. Люди, которые сами по себе не были важны, видели себя в таком поло-

жении, что завтра будут казнены по законному суду, если ныне не наделают новых преступлений и бед. А когда люди видят себя в таком положении, они очень способны наделать страшных бед: отчаяние дает и силу, и хитрость, и храбрость. Потому и английское правительство, и русский государь скоро были впутаны в беды новым французским правительством, — и впутаны именно потому, что не предполагали, с какими целями, по каким своим надобностям оно должно действовать. Не предвидеть этого была большая ошибка.

Но покойный государь разделял ее с огромным большинством правителей и дипломатов всех европейских держав и в том числе Англии. Порицать его за нее было невозможно; да порицатели сами еще оставались совершенно не замечающими ее, запутанными в ней, когда стали порицать. Осуждение привязалось к другим сторонам разговоров. Посмотрим, основательно ли привязалось.

Западная Европа нашла проект покойного государя слишком увеличивающим могущество России, потому вредным для всех остальных европейских держав. Потому вознегодовала. Русская публика тоже нашла, что проект необыкновенно расширяет могущество России, но изволила усмотреть в своей мудрости, что такие мысли не должны быть высказываемы перед иностранцами, что подобные проекты следует держать в секрете. Потому тоже вознегодовала. Посмотрим, умно ли рассудила Западная Европа и возлюбленная мудрая российская публика. Конечно, я говорю не о всех людях в Западной Европе и в русской публике: и там и у нас было меньшинство, рассуждавшее, по моему мнению, справедливо; но я говорю про огромное большинство и там, и у нас. Оно действительно рассудило так, как я описал; правильно ли рассудило, я попробую разобрать.

Рассуждения начинались, как с факта очевидного, с того, что в этих разговорах выражено намерение России овладеть Константинополем и другими частями Европейской Турции. Это намерение показалось Западной Европе очень вредным. Но если бы оно действительно исполнилось, точно ли принесло бы оно вред Западной Европе? — Это зависело бы от того, как приняла бы Западная Европа такой факт. Если бы она взглянула на него с рассудительной точки зрения, которую я постараюсь разъяснить, то она осталась бы спокойною, холодною, только сожалеющею о России зрительницею факта, и дело обошлось бы без малейшего вреда для Западной Европы, без потери одного крейцера или сантима для нее, не только без потери одного человека, — напротив, дело послужило <бы> в большую выгоду ее торговле и вообще материальному прогрессу: смена турецкой власти какою бы то ни было другою — не только русскою, но хоть бы даже и не лучшею, чем тогдашняя (и нынешняя) французская — все-таки была бы выгодна для развития международной коммерции. Но, без всякого сомнения, у Западной Европы не достало бы благоразумия

и расчетливости оставить факт завладения развиваться без ее вмешательства, по его внутреннему закону: она перетрусила бы, раскричалась бы, вооружилась бы и пошла бы совокупными силами всех четырех великих своих держав со всею их свитою воевать против русских. (Из последующего хода переговоров мы увидим, что эта коалиция уже и составлялась.) Тогда, конечно, война была бы еще гораздо громаднее, продолжительнее, гибельнее для Европы и России, чем Дунайско-Крымская. Заняв такие позиции, как Босфор и Дарданеллы, Россия могла бы бороться на крайнем юге еще несравненно упорнее, чем в севастопольской позиции, где у нашего войска не было подвоза с моря и на многие сотни верст сухого пути не было плодородных и населенных областей: там подвоз по Черному морю был бы свободен, богатые хлебом и всяким провиантом области были бы под боком у нас. Но тогда это был бы лишь второстепенный, хотя еще более севастопольского убийственный театр войны: война шла бы по всей западной границе: наученные 1812-м годом, западноевропейские армии не побежали бы сломя голову в одну кампанию до Москвы, но в несколько походов прочно оттеснили бы русские войска до Смоленска и Киева, утвердились бы на всей днепровской линии. Едва ли бы удержалась за нами и линия Невы. Император Николай даже и не думал о возможности подвергать себя и Россию такому страданию, — мы увидим ниже, что он вовсе не расположен был к разрыву со всеми четырьмя великими державами, действующими заодно. Он именно хотел предотвратить всякий шанс подобного положения, когда настойчиво говорил Сеймуру: «нам надобно условиться, положить, чтобы не попасть всем нам, против нашего желания, в общую европейскую войну».

Но пора ли была говорить об этом? Действительно ли кризис по восточному вопросу приближался? — Западная Европа тогда твердила: «нет». Мы, русские, мало привычные рассуждать о политике, наполовину верили своим газетам и журналам, говорившим «да», наполовину — авторитету Западной Европы. Теперь и Западная Европа почти согласилась, что кризис был близок. Наше чувство было далеко не беспристрастно: мы симпатизировали турецким славянам; и теперь не увлекаются ли раздражением на турок, оказавшихся скучными, упрямыми, бестолковыми клиентами, те люди Западной Европы, которые соглашаются, что кризис тогда приближался? — Нет. Он был близок.

В Малой Азии турки населяют внутреннее пространство, между тем как все три берега (кроме небольшой доли северного между устьем Кызыл-Ирмака и Трапезунтом) заняты сплошною каймою греческого населения, врезающегося довольно глубоко и внутрь страны по долинам рек Мендерес-Чая и Сакарии*; трудно сказать, каково близкое будущее в этой стране, где обра-

* По карте № 8 Этнографического отдела атласа Берггауза.

зованнейшее меньшинство занимает более выгодную позицию, но турки составляют большинство. Судьба малоазиатской части Турецкой империи — дело, зависящее от посторонних вмешательств и случайностей. Но вопрос о ближайшем будущем турецкого племени в Европе — вещь, не подлежащая никакому сомнению: дело быстро идет к тому, что с турками в их городах-лагерях — Стамбуле, Адрианополе и других — произойдет то же, что в половине XVI века произошло с их одноплеменниками в Казани и Астрахани. Сами по себе европейские турки, как наши казанские татары, племя очень хорошее, с которым легко могут ужиться славяне, даже водить знакомство и дружбу; но ведь невозможная же была вещь, чтобы Поволжье оставалось татарскою землею, когда эта земля стала иметь больше славянского населения, чем татарского. А Поволжье, с Казани и ниже, еще и теперь, не только в XVI веке, имело бы меньше натуральной невозможности сохранять своих пренжих ханов, чем Европейская Турция. Взгляните на большую этнографическую карту Европы в том же атласе: широкое пространство около Казани и на юг, и на запад, и на север населено татарами. Этот широкий выступ их на оба берега Волги примыкает с востока к огромному татарскому пространству; русское население около самой Казани — оазис; кругом ее также, даже и теперь, только оазисы русских. Об Астрахани и говорить нечего: на сотни верст кругом сплошная калмыцкая и татарская краска. А в Европейской Турции не только нет этого — нет даже и той путаницы племен, которая затрудняет развязку дела в восточной половине собственно Австрийской империи, где славяне перепутаны с немцами, и в королевстве венгерском с его вассальными землями, где перепутаны с славянами (и на юго-востоке с румынами) венгры и отчасти немцы. Нет, в Европейской Турции каждое племя плотно, округленно, неразрывною массою занимает сплошь свою землю. На север от Дуная — одни валахи; на юг от Дуная на западе — одни сербы, на востоке — одни болгары; южнее сербов — одни арнауты*, южнее болгар — одни греки. Все края и грани разлома так ясны и чисты, как нельзя желать лучше, Турки в Европе чисто то же, что дешт-кыпчакская власть над Москвою, Тверью, Рязанью в начале царствования Иоанна III. Она не может продержаться двух лет без охранения запретительным голосом других европейских властей. В XVII веке было не то: большинство племен, подвластных Турции, столько же заботилось о независимости, сколько теперь заботятся о ней гиндусы в Ост-Индии. Да и до конца прошлого века было мало перемен. Но с начала, а в особенности с 20-х годов нынешнего века стало уже совершенно не то, и в 1848 году было ясно, что без австрийского и русского охранения султан переехал бы жить в Эрзерум или Бруссу. Теперь это на время отращено результатом Севасто-

* Старое турецкое название албанцев. — Ред.

польской войны; но в 1851, 1852 годах еще не было установлено правильного, почти официального опекунства великих держав над Турцией; она могла развалиться и невзначай, и разваливалась; уже лет за десять, пятнадцать до Крымской войны турецкий вопрос был в действительности, а с 1848 года даже и оказался для многих правителей, в том числе для русских, находящимся в положении, очень похожем на знаменитый испанский вопрос последних годов XVII века⁷⁷: император Николай теперь, как тогда Людовик XIV, чувствовал, что не ныне завтра к нему в руки повалится держава, склеенная из разных кусков, что остальная Европа не допустит его без упорнейшей борьбы вступить во владение этим богатым наследством, так что при всем своем богатстве оно будет для него разорительно.

Мы знаем, на что решался Людовик, чтобы отвратить от себя это разорение: он согласился на полюбовную сделку с державами, которые иначе должны были стать главными деятелями в союзе против него. На эту попытку склонил его Вильгельм III, величайший дипломат того века и, быть может, всей новой истории, безусловный распорядитель иностранной политики двух держав из числа трех, которые должны были в случае неудачи сделки составить коалицию против Людовика. Благодаря искусству, твердости и беспристрастию Вильгельма III были составлены условия, мирно разрешавшие страшный вопрос. В течение полутора лет почти все историки находили отвратительными, безнравственными эти условия Вильгельма с Людовиком о разделе испанской монархии, но они осуждали их потому только, что останавливались на словах: «раздел чужих владений», «раздробление государства», «тайная конвенция» и т. д. Наконец Маколей⁷⁸ из уважения к своему герою решился вникнуть в сущность дела, не конфузясь неблагозвучия слов, под которыми оно было известно. Вообще я очень-то расположен соглашаться с Маколеем: почти постоянно он бродит довольно мелко. Но тут любовь к Вильгельму дала ему силу стать на точку зрения действительно высокую. Прочтите в изданном после его смерти томе «Истории Англии» разбор вопроса о проекте раздела испанской монархии, составленном Вильгельмом и принятом Людовиком, — это очень честные и хорошие, не только хорошо написанные страницы. Обдумав их, невозможно оставаться в сомнении: проектированное решение вопроса полюбовною сделкою о раздроблении испанской монархии не было дурным делом.

Сделка эта рушилась. У Людовика недостало ума и твердости устоять против соблазна, когда представился удобный случай отступить от нее. Но то, что он хоть на время жертвовал своею суетностью истинному интересу своей династии, своей нации и всей Европы, — это одно из немногих его действий, смягчающих приговор истории над ним как правителем и человеком.

Возьмем из того же Маколея другой случай. Вильгельм хотел поскорее кончить войну с Людовиком, мешавшую заняться переговорами о полюбовной сделке по испанскому вопросу. В Рейсвейке собрался конгресс из лучших дипломатов того времени. Они толковали, спорили, и у них не выходило ничего путного, потому что дело было страшно многосложное и запутанное. Маколей довольно мелочно приписывает неудачность их занятий только их педантству и формализму. Тогдашние дипломатические формы действительно были смешны и вялы. Но в сущности проволочка происходила не от них. Вопросы, которые надобно было решить, действительно были щекотливы и запутанны. Вильгельм решился пойти напролом, повести переговоры с Людовиком и его интимнейшими советниками мимо конгресса и толпы дипломатов. Через кого же? У него был Портланд, но кого же взять посредником со стороны Людовика? Вильгельм выбрал маршала Буффлера, который, наверное, имел меньше дипломатического искусства и меньше сведений в политических делах, нежели не только покойный русский государь, правитель, во всяком случае, солидный, но даже и Людовик XIV, правитель пустой, вздорный. Буффлер имел одно качество, которое Вильгельм нашел уже достаточно обеспечивающим способность французского маршала к этому делу: маршал был человек прямодушный, и именно его прямодушие, по мнению Вильгельма, должно было дать ему силу проникнуть в сущность дела, понять ее очень ясно. И точно, Буффлер отлично понял сущность дела, и благодаря этому обстоятельству, зависевшему единственно от его прямодушия, дело уладилось очень гладко и быстро, с такою выгодой для Франции (как и Англии) и для Людовика (как и для Вильгельма), каких не приобрели бы Франция и Людовик через Рейсвейкский конгресс. Кто подумает, что Буффлер не вел дело своего государя и нации очень хорошо, или что Вильгельм неудачно выбрал Буффлера, не дипломата, для очень важных переговоров, тот пусть справится у Маколея.

Император Николай в 1852—1853 годах был по турецкому вопросу в таком же положении, как Людовик в 1695—1700 годах по испанскому. Он сам решился искать того выхода, который был принят Людовиком только по настоятельным разъяснениям Вильгельма, увидев надобность обратиться к тому крайнему средству для отращения войны, которое принял Вильгельм для прекращения войны,—к прямым, совершенно прямодушным объяснениям, и сам себя выбрал для дела, для которого Вильгельм выбрал Буффлера.

Я скажу, что не могу найти тут ничего дурного или нерассудительного. Но, читатель, покойный государь действительно сделал напрасно то, что сделал. Если я не ошибаюсь, почти все русские дипломаты находили, что он поступает неосновательно. Я не знаю, по каким соображениям они думали так, но если по тому, которое одно заставляет меня говорить «напрасно он делал это»,—если по этому соображению они порицали решимость покойного

государя, то действительно они были правы в своем порицании. Видите ли, читатель, в чем разница: когда на одной стороне был Буффлер, на другой был Вильгельм III, а не Дербн или Д'Израэли⁷⁹, или лорд Абердин, или лорд Пальмерстон. Дело Буффлера не было напрасно потому, что он имел дело с великим дипломатом, а не с мелкотравчатым мастером, — с человеком, способным обнимать мыслью ход событий на целые десятилетия, действовать для прочного разрешения великих вопросов надолго, — а между тогдашними английскими правителями не было дипломата, подобного Вильгельму. Человек, не имеющий технической сноровки, может успешно вести дело только с таким гениальным специалистом, который умеет возвышаться над мелочною техникою, когда того требуют обстоятельства⁸⁰. Великий полководец, хоть бы, например, Наполеон I, находит, что Карно имел очень дельные мысли по стратегическим планам; а обыкновенный порядочный генерал скажет: «Вздор, Карно не умеет командовать ротой; как же можно иметь с ним рассуждение о военных делах? Он все говорит вздор». Так и говорили, читатель, французские генералы, когда Карно был военным министром. Да если бы не то что в Англии, а хоть в какой-нибудь из великих западноевропейских держав был — не то что в 1852—1853 годах, а вообще начиная с 1847 года — правитель, которого можно было бы назвать великим, тогда история Западной Европы была бы очень различна от той, которую мы с вами пережили. Отношения наций и держав в 1848 и следующих за ним годах так встряхивались, что какая бы из великих западных держав ни имела гениального правителя, — хоть бы даже слабейшая из них, Турция, — эта держава в 1848 году взяла бы первенство не то что над каждою из остальных, — взяла бы патронатство над всем континентом Западной Европы, стала бы в Западной Европе то, что была в 1807—1811 годах Франция в Рейнском союзе или Македония при Александре Великом в греческом мире, — все, все. Кто этого не знает, читатель, тот не знает историю последнего пятидесятилетия, и я не намерен спорить с таким человеком. А так как этого не случилось и ни одна из великих западных держав не была возвышена своим правительством к 1852 году на степень могущества, гораздо большего, чем какое имела в 1847, то из этого и ясно каждому умеющему понимать историю, что в эти годы, 1848—1851, не было ни в одной из них гениального правителя. Под этот вывод подходит и Англия. В те годы она могла приобрести протекторат, — не на словах, а на деле: 1) над Пиренейским полуостровом, 2) Италиєю, 3) Германиею, 4) Венгриєю, 5) всеми странами, составляющими Европейскую Турцию, и, кроме этих пяти порядочных кусков, еще над несколькими другими, — а ничего такого не произошло; потому я и думаю, что Англия в это время не имела ни одного великого правителя между своими сильнейшими государственными людьми. Но у меня, читатель, есть рьяные литературные противники, которые

все сомневаются, имею ли я понятие о чем-нибудь, или круглый невежда. Вот уж и теперь, например, они, наверное, думают схватиться за слово «великий правитель», да и вообразить, что дескать, он все врет, он не знает, что такое великий правитель, — вот, читатель, для вашей пользы я, пожалуй, и объясню моим рьяным противникам, что не я не имею, а они не имеют понятия об этом; а вам будет интересно посмотреть, как я устрою им этот сюрприз. Начну я, читатель, с того, что приведу хоть десять имен, — и попрошу моих рьяных литературных противников сказать, ошибся ли я, ставя какое-нибудь имя в этот список гениальных правителей, — начнем его хоть со времен Ришелье и для избежания споров из-за национальных наших симпатий или антипатий русскую историю оставим в стороне. Вот я и скажу: в великих державах Западной Европы в 1840—1860 годах не было ни одного такого правителя, как Ришелье, Кромвель, Вильгельм III, Помбаль, Питт Старший, лорд Клайв, Фридрих II, Франклин, Вашингтон, Гош⁸¹. Тут, как видите, с именами самыми громкими перемешаны имена, мало кем произносимые, как имена великих правителей; наверное, например, представится моим рьяным противникам, что меня можно предать поруганию за имя Гоша, о котором половина их и не слыхивали, или за Франклина, или за Клайва, — а пусть попробуют, и вы увидите, какое выйдет увеселение для вас из этого: ведь штука-то в том, что, например, Франклин, как правитель и в частности дипломат, был едва ли не выше Ришелье, а Гош, наверное, выше одного французского очень знаменитого человека, о котором мы тоже будем говорить; кто этот француз, мы тогда и увидим. Но это мимоходом, а главное дело вот в чем: в десятке имен, приведенных мною, есть и абсолютисты (Ришелье, Помбаль), и конституционисты, и республиканцы, и военные деспоты (Кромвель, Клайв); есть и так называемые консерваторы и так называемые революционеры; есть и люди, имеющие власть самостоятельно (Кромвель, Вильгельм III, Фридрих II, в сущности и Ришелье), и люди, имеющие ее только по поручению от других; есть и люди, получившие власть обыкновенным, правильным путем (Ришелье, Помбаль, Питт, Фридрих II), и люди, захватившие ее путем насилия (Кромвель, Вильгельм III); есть и такие люди, как Вашингтон, которых признают чистыми даже их противники, и такие люди, как Клайв, которых признают очень грязными даже их панегиристы, — видите, какие разницы и какие многочисленные. А серьезные историки, дипломаты, правители говорят: все эти разницы между великими правителями, как ни громадны сами по себе, ничтожны для государственных людей и историков сравнительно со сходством между великими правителями по силе ума и воли. Возьмем, например, громадную нравственную разницу между ними от Клайва внизу до — кого вы находите лучшим, того и поставьте сверху: хотите — Гоша, хотите — Вашингтона, хотите — Вильгельма, хотите — Фридриха, я, пожалуй, пропущу вся-

кое имя без спора, — а то, пожалуй, чтобы уж вовсе не было споров, — от Клайва до Людовика Святого, действительно превосходного человека (и великого правителя, несмотря на его ребяческий поход с армиею, составленной из детей — буквально детей, маленьких мальчиков, — против мусульман)⁸². Разница очень большая между Клайвом и Людовиком Святым как людьми; но — это страшно, читатель, а все-таки правда — гениальный правитель с дурным сердцем хорош как правитель. Он насилует, грабит или обижает немногих, с которыми имеет личные, частные дела, но с нациею он поступает честно и хорошо, потому что поступать с нею иначе и не нужно, и глупо, и ему самому вредно. Таков мой взгляд, читатель; правилен он или нет, вы можете судить, как вам угодно; но он таков. Поэтому, если, например, я — человек благородной души, я все-таки не могу не признать Клайва хорошим правителем, хоть гнушаюсь им как человеком; или когда я разделяю мнение Кинглека, что Мопа и Маньян плохие правители, то все-таки разделяю не из-за того, что гнушаюсь ими как людьми, а просто только потому, что они плохие правители. Наоборот; если я — человек очень дурной души, я все-таки не могу признать великим правителем того, который нечестно поступает с своею нациею; быть может, я восхищаюсь его проделками мошенничества и грабежа и насилования, когда они относятся к его делам с отдельными лицами, но когда я вижу, что они относятся к нации, я принужден находить их неуместными и глупыми. Поэтому, читатель, какой бы души — хорошей или дурной — ни был я, я признаю великим правителем ужасного злодея над отдельными лицами: Цезаря Борджию и — не признаю другого такого же мастера на злодейства — Тиберия⁸³. Берем другую разницу — разницу по личному расположению к той или другой форме правления, — великие правители выше и этой мерки. Кто был Вашингтон? — Главнокомандующий инсургентов, президент демократической республики. Что ж за человек был он по личным своим наклонностям? — Положительно известно, читатель, что он был аристократ по личному своему расположению; несомненно, читатель, — хоть на это и нет таких формальных документов, как о его аристократизме, но все-таки несомненно по тысячам неоспоримых доказательств, — что он был монархист в душе. Если бы мог он быть тем, чем лучше всего ему нравилось бы, он был бы графом Моунт-Верноном⁸⁴, лордом Вашингтоном, президентом северо-американского совета министров его величества короля Великобританского и северо-американского. Кто был Помбаль? — Министр португальского короля, истреблявший все, что оставалось сколько-нибудь похожего на конституционные ограничения. Кто он был в душе? — Без всякого сомнения, республиканец, одной породы с Дантоном⁸⁵, или — еще ближайшее родство — родной брат Катону, убившему себя, чтобы не видеть венца на голове Цезаря; это покажется странно, читатель, тому, кто не вникал в

характер Помбаля; кто вникнет, не усомнится в том. Кто был Вильгельм III? — Президент республики Семи Соединенных провинций и конституционный король Англии; вот уже порядочная разношерстность; но она еще очень одноцветна перед тою третьею разностью, что он, без всякого сомнения, был абсолютист в душе, желал бы быть таким неограниченным самодержцем, что подобного самодержавия и во сне не снилось Людовику XIV, и был по характеру военным деспотом вроде Кромвелля, то есть много посolidнее Наполеона I: у Наполеона I была любовь к эффекту, — это уже некоторое уважение к общественному мнению, некоторое мягкосердечие. Кромвелль и Вильгельм из-за величайшего эффекта великодушием не щадили никогда ни одного человека, зато и не обижали не только человека, даже мухи не обижали без расчета. Маколей стушевывает эту сторону — страшную деспотичность Вильгельма III, но и в его рассказе она видна, а в других рассказах Вильгельм III с этой стороны — чистейший Кромвелль, то есть почти что Чингис-хан или Тамерлан, с европейскими нравами. И однакоже этот человек, — чем же он знаменит в истории? — Тем, что прочно восстановил английскую конституцию, при ее восстановлении согласился, — даже не вступаясь и в совещания об этом, вперед, можно сказать, подписав бланковый документ, — согласился очень много ограничить прежние права короля, и верно сохранял эту конституцию в Англии, и провел всю жизнь свою в борьбе и неусыпных трудах на пользу Голландской республики, республиканские учреждения которой охранял так же внимательно, как дисциплину в ее войсках. Что это за странности, читатель: республиканец в душе — поборник самодержавной власти своего короля; монархист в душе — основатель республики; абсолютист в душе — расширитель прав парламента, верный хранитель конституционных учреждений в одной, республиканских — в другой стране? — Читатель, это странности лишь для людей, не знающих истории и не понимающих государственного быта; в сущности это не больше, как проявление великой силы ума в этих трех правителях. Великий правитель хочет могущества своему правительству; могущество правительства соразмерно могуществу нации и степени ее довольства правительственной формою; это истины не мудреные в теории. Но нужна правителю очень большая сила ума и воли, чтобы неукоснительно держаться их в практике. Кто держится, тот великий правитель. Такой правитель постоянно помнит, что для него невыгодно тратить время, силу и колебать расположение нации к правительству из-за того, чтобы сохранить форму, которая нравится ему, но стала не по вкусу нации, или изменить форму, которая не нравится ему, но остается по вкусу нации *. Нет, он выше этих формальностей; он согла-

* Кромвелль не исключение из этого. Национальная сила была тогда на стороне республиканцев. Какая форма нравилась ему самому, трудно ре-

шается на сохранение или установление такой формы, — и неизменно управляет по ней, — такой формы, которая в данное время в данной стране доставляет правительству наиболее доверия и расположения, то есть, давая наиболее благосостояния населению страны, дает наиболее могущества ее правителю.

Не полагайте, читатель, что я отклонился от прямого предмета статьи: нет, без этого объяснения невозможно было бы изложить осязательным образом того, как легко и простиительно было правителям европейских держав ошибиться в характере нового французского правительства. Читать статью о прошедших фактах и об общих исторических истинах — вещь очень легкая сравнительно с задачею быстро понять многосложный факт, едва еще начинающий раскрывать свою сущность. Но согласитесь, что на этих моих двух-трех страницах о великих правителях есть многое, над чем могут усомниться люди и неглупые и довольно, повидимому, знающие. А всякий, кто, читая эти страницы, не скажет: «ну, разумеется, это ясно, как $2 \times 2 = 4$, и очень давно известно мне», — всякий такой человек, читатель, не имеет никакого права осудить ошибку правительств и наций, послужившую, как мы увидим, причиною напрасной Крымской войны. Только тот мог понять тогда характер нового французского правительства, кто был совершенно холоден к вопросу о форме правления. Кто расположен был думать, что монархическая форма вообще лучше республиканской, тот должен был почувствовать симпатию к правительству, восстановившему эту форму. Почти все правители почти всех первостепенных и второстепенных держав подошли под эту развилину дилеммы. Симпатия помешала им быстро проникнуть глубже формы, в сущность дела. Кто расположен был вообще предпочитать республиканскую форму, подошел под другую развилину дилеммы: он почел новых правителей Франции титанами злодейства, потому что они, как вы видите, совершили действительно ужасающие вещи; а злодеи они или нет, довольно того, что они показались титанами, — титаны не делают пошлых мелочей, титаны не поднимают шум для шума, без всякого другого смысла и намерения, кроме как поднять шум. Итак, и республиканцы, и монархисты Европы могли легко не заметить во-время, какую мелкую штуку выкидывает новое французское правительство, — и штука по иностранной политике удалась, как проделка в ночь с 1 на 2 декабря, и за эту удачею необходимо последовала, даже

читать; вероятнее всего, что очень долго, даже когда Карл I⁸⁶ был уже в плену у республиканцев, Кромвеллю все еще было бы приятнее всего восстановить престол и на престол этот восстановить Карла I. Потом он перешел из этого стюартовского монархизма едва ли не прямо к тому расположению мыслей, подавшись которому Наполеон I титуловал себя императором. Но Кромвелль не поддался своему влечению, — он остался военным командиром Англии. Было ли между этими двумя монархическими влечениями время, когда он был действительно республиканцем, — вещь очень сомнительная.

почти без воли шукарей, мутивших воду из Парижа, севастопольская резня, как за прежнюю проделкою над Парижем последовали убийства 4 декабря.

В самом деле, представьте себе положение: правительство одной из великих держав целый год подвергается раздражающим неприятностям из-за предмета совершенно неважного, и подвергается от кого же? — от правительства державы, которая остается существующею только благодаря охранению, даваемому ей со стороны оскорбляемого ею теперь правительства. Согласитесь, читатель, что правитель этой оскорбляемой сильной державы не заслуживает особенного порицания, если, наконец, приходит к мысли: «мне трудно продолжать быть охранителем этого столь слабого и столь наглого передо мною правительства». — Только. Больше ничего не требовалось. Вот и явился восточный вопрос. А как он явился, то и стало уже очень плохо: в Европе не было тогда великого дипломата, да и великий дипломат, как мы знаем, не успел развязать испанского вопроса. Как из испанского вышла отличная война, так и из восточного недурная.

Я не говорю, читатель, что тут не было ошибки. Теперь каждый видит, что была. Турецкое правительство не было достойно даже и того, чтобы сердиться на него, — оно было только игрушкою в руках французского. Но я хотел показать вам, что тогда не так легко было избежать этой ошибки, как легко видеть ее теперь.

Да, читатель, Севастопольской войны не было бы только в таком случае, если бы для русского императора было совершенно одинаково видеть какое бы то ни было внутреннее устройство во Франции. Он любил монархическую форму; но все равно, читатель, если бы ему и нравилась республиканская, а не монархическая, он точно так же не в силах был бы поверить, что новое французское правительство имеет намерения до неимоверности мелочные — собственно только одно намерение: поднять шум. А без этого нельзя было не рассердиться на турецкое правительство: ведь без этого казалось, что если бы оно держало себя менее двоедушно, то успело бы отделаться от придинок французского; что не французское правительство придирается к нему, а оно само своим двоедушием сеет неприятности между Франциею и Россиею. Предположите во французском правительстве хоть малейшую долю чего-нибудь похожего на какой-нибудь политический расчет, и вы увидите, что нет возможности поверить, что оно целый год мучит Турцию из-за ключа от Вифлеемской церкви, — надобно будет предположить, что оно и само не радо этому делу, как не радо ему русское правительство, и только не может выпутаться из него, как не может выпутаться и русское; что, следовательно, во всей этой путанице и происходящих из нее неприятностях виновато турецкое правительство, которое, и точно, давно известно как плохое, бестолковое, двоедушное, трусливое и нахальное. Согласитесь, читатель, что ошибиться было легко.

Впрочем, если и не согласитесь, все равно: своим порицанием вы докажете только, что принадлежите к числу непогрешительных мудрецов, не могущих в среду извинить человеку того, что в понедельник он не совсем определенительно предвидел, какая будет погода во вторник. В 1863 году очень видно, что из столкновений 1852 года должна была произойти Севастопольская осада в 1854—1856 гг.; теперь ясно даже, что именно в стольких-то шагах от известного кургана или буерака должна была быть начата траншея. Все это ясно. Итак, можете порицать.

Нет, читатель, не в том ум, чтобы твердить годы и годы: «виноват он, виноват он!» кто бы ни был «он», все равно, хоть бы даже и лицо, которого целые двадцать пять лет чтили вы за бога в нарушение первой заповеди, — нет, читатель, твердить так прилично попугаям, а не людям. Люди, когда успеют образумиться от ошеломления бедою, должны начать думать: не виноваты ли и мы в этой беде, и если виноваты, то чем? — Это бесполезно: быть может, это хоть на одну каплю уменьшит беды ваши в будущем; может быть, — как вы думаете, читатель: может ли нация извлекать себе хоть маленькую долю опытности из серьезного размышления о прошлом горьком опыте? ⁸⁷ Если «да», вы простите мне, читатель, что иногда я буду резко отзываться о большинстве русской публики при пересмотре хода столкновений, из которых произошла Севастопольская война, и не буду оставлять вины русской публики прикрытыми молчаливым согласием на ее любимую отговорку: «это правительство было виновато». Нет, читатель, мы будем идти глубже, и если будут нам представляться ошибки нашего правительства, то мы будем доискиваться, точно ли оно виновато, или большинство русской публики вводило его в такие положения, из которых происходил вред для русской нации и ее правительства.

Но — после этого объяснения — продолжим наш разбор разговоров покойного государя с Сеймуром, — разговоров, возбудивших потом столько крика, по моему мнению, неосновательного.

К чему, между прочим, служило это длинное объяснение о общем характере действий великих правителей? — Оно было нужно именно в этом месте затем, чтобы читатель серьезно вник в вопрос: что же такое форма в политических делах? Каждый, пожалуй, готов согласиться с отвлеченною истиною, что «сущность дела важнее формы», но большинство мало вникает в важность этой истины, беспрестанно пренебрегает сущностью из-за формы и даже готово кричать «невежда» или «софист» против писателя, старающегося серьезно проводить тот взгляд, что надобно смотреть на сущность дела, дорожить ею больше всего. Так беспрестанно кричали против меня мои рьяные литературные противники. А благодаря длинному объяснению я хоть на этот раз, быть может, и успею показаться не совсем неправым в том, что говорю: все великие правители умели становиться выше формы. Я привел довольно

длинный ряд имен их и прошу показать в деятельности хоть одного из названных мною великих правителей хоть один важный факт, который не служил бы, так или иначе, подтверждением вывода, высказываемого мною *. Теперь, вероятно, уже яснее-прежнее будет, когда я повторю прежние мысли: если бы в числе тогдашних английских правителей был человек, подобный Вильгельму III или Фридриху II, или Франклину, попытка русского императора не была бы напрасна. Но замечательнейшим дипломатом из тогдашних английских министров (вигов) и предводителей оппозиции (тори) был лорд Пальмерстон, человек, не равнявшийся не только Вильгельму, даже Роберту Пилю или Кавуру ⁸⁸, один <из> обыденных «великих людей на малые дела», один из людей, отлично изворачивающихся со дня на день, не без эффекта, часто и не без пользы для своего государства, но не способных руководить ходом событий, а умеющих только хорошо плавать по течению и по ветру, ныне туда, завтра сюда, как случится. А партия нуждается в партнере. Русский император хотел, чтобы поведено было с ним такое дело, вести которое мог бы только новый Вильгельм III. Потому Буффлер и был оставлен на этот раз при своем военном, и никто из английских министров не захотел ввести его в дипломатические занятия. Если русские дипломаты не одобряли попытку своего государя именно на том основании, что предвидели ее напрасность, то они были совершенно правы.

Но за эту оговоркою о напрасности я скажу, что во всех других отношениях попытка была хороша. Английские министры не взялись за дело потому, что оно было не под силу им; но им самим и большинству европейской публики показалось, что дело, от

* Может показаться странно, что, перечисляя столько великих правителей, из которых иные даже и не очень знамениты у массы публики, я не ставлю их в разряд величайшую знаменитость нового времени, Наполеона I. Прежде я не объяснял случаев подобного моего несогласия с обыкновенным мнением, полагая, что причины сами собою ясны всякому знакомому с делом, хотя бы он соглашался или не соглашался с моим взглядом на дело. Но, как я сейчас сказал, беспрестанно выходило не то: меня называли невеждою («смотрите-ко, господа, забыл Наполеона I»), парадоксистом («смотрите-ко, господа, хочет произвести эффект оригинальничаньем»), софистом («смотрите-ко, господа, такой недобросовестный человек, что не хочет назвать Наполеона I великим правителем из-за того, что Наполеон I был император»), и из этого умного предположения о причине моего умно предположенного софизма следовали размышления о ужасности моего образа мыслей, который столько же понятен господам подобным размышлятелям, сколько всем нам известно родство Мельхиседека, и все это из-за того только, что я хоть сколько-нибудь полагался на сообразительность людей, не разделяющих моего взгляда. Попробую же, для примера, указать здесь, что я вовсе не по невежеству, парадоксальничанью или софистике не ставлю Наполеона I в разряд таких правителей, как перечисленные мною. По положению и главному характеру деятельности ближе всего будет сопоставить его с Фридрихом II и Кромвеллем. Кто помнит существенные факты из жизни этих двух великих правителей, тот знает, что они постоянно сохраняли обдуманность и благоразумие среди блистатель-

которого они отказались, само по себе было бы вредно для Англии и для всей Западной Европы. В этом они очень ошибались. Они говорят: русский государь хотел слишком многого для увеличения могущества России. Не забудем, что мы имеем только первый базис, выставленный им для переговоров, попросту сказать, «первый запрос», с которого всегда делается значительная сбавка: переговоры, это — дело коммерческое. Мы не знаем, до какой степени могло бы русское правительство «сбавить цену», говоря по-коммерчески, если бы пошла серьезная переторжка. Мы видим только, что англичане имели бы полную возможность получить очень большую сбавку: первым словом русского государя было: «вы, англичане, может быть, думаете овладеть Константинополем; этого я не могу допустить»: а ведь, в сущности, очень может быть, что только по этому опасению он и высказывал, что, «если понадобится, я на время введу в него свои войска — не для того, чтобы стать его владетелем», и ведь очень может быть, что в мыслях у покойного государя не было никакого другого дополнения к этим словам, как только: «а единственно затем, чтобы охранить его от вечного занятия вами». И ведь очень может быть, что если бы найдена была комбинация, которая отнимала бы у русского государя это опасение, то он сказал бы: «да, вы успокоили меня, и я вижу, что мне не будет надобности подводить мой флот или мое войско и на сотни верст к Константинополю». Почему кто может знать, что он не сказал бы этого? Дело неизвестное. Но, по сопоставлению мыслей об английском и о русском занятии Константинополя, дело очень и очень не лишенное правдоподобия.

Повторяю: я не имею претензии знать, каковы были мысли русского императора, кроме тех, которые он высказал. Но при-

нейших успехов, что на самом деле они никогда не презирали врага, хоть могли хвастаться презрением к нему для ободрения своих солдат; никогда в своих походах не нарушали правила здравого смысла: иди вперед не дальше, чем необходимо (Фридрих, например, мог бы несколько раз броситься на Вену или вторгнуться во Францию; это было бы очень эффектно, но он помнил, что это не нужно и вредно); они всегда мирились при первой возможности и никогда не начинали хлопотливых дел без крайней надобности; Кромвель, например, не стал воевать с Мазарини, хоть наверное истребил бы французский флот (что было очень вкусно и ему, как ультрапротестанту, и всем англичанам, как людям уже думавшим о безусловности господства на морях); он при первой возможности помирился с Голландией, хоть мог бы завоевать ее (что было очень лестно ему и англичанам, по их торговой вражде на голландцев): Кромвель помнил, что ему (и Англии) было бы вредно поддаться тому или другому соблазну. Кто помнит и умеет ценить такие вещи, тот, по моему мнению, не может не видеть, что человек, без толку навязавший себе на шею испанские дела, бросившийся на Москву, не принимавший в 1813 году мирных предложений союзников, — что этот человек был гораздо ниже Фридриха II и Кромвелля по силе ума и твердости воли. С этим моим мнением каждый может согласиться или не согласиться, как ему заблагорассудится; но я прошу помнить, что оно имеет на своей стороне факты, не лишённые значения, и что эти факты можно принимать во внимание, не будучи ни невеждою, ни софи-

бавляю: и никто не может с достоверностью знать этого; очень может быть, что он и сам не мог бы сказать с достоверностью, какие уступки в первом запросе окажутся возможны, — это очень натурально, потому что размер их должен был определяться предложениями другой стороны.

Но я говорю, что эти уступки не могли не быть значительны и очень значительны. В первом базисе переговоров он говорил: «я знаю, что вам, англичанам, приятно было бы владеть Египтом и Кандиею; на это я согласен». Само собою, читатель, что это так; англичанам, то есть большинству английской публики, в том числе всем вигам и всем тори, всем людям, бывающим министрами (кроме Гладстона)⁸⁹, воображается, что это было бы очень выгодно для Англии. Я полагаю, что они ошибаются, что прав Гладстон, который разделяет мнение меньшинства английской публики, находящего, что подобное приобретение, хоть бы досталось даром, было бы очень убыточно для Англии. Но я знаю также, что Гладстон тут ничего не значит. Итак, я знаю, что русский император нисколько не обманывался в предположении того желания, на которое и выразил согласие. Но английское правительство, хотя действительно разделяло эту наклонность большинства английской публики, имело благоразумие раеэсчитать, что удовлетворить ей — при данных ли тогдашних обстоятельствах, или при каких бы то ни было обстоятельствах, этого мы не знаем — было бы вредно для Англии. Этот рассудительный, по моему мнению, расчет делает ему честь. Итак, оно решило: «мы не станем брать ни Египта, ни Кандии», и прислало Сеймуру инструкцию в этом смысле (ко-

стом. Прошу господ моих рьяных противников сообразить такой случай. Положим, что я не сделал этой оговорки причин, по которым не причисляю Наполеона I к правителям, подобным Фридриху II, Питту Старшему и пр.; если бы кто вздумал в таком случае закричать про меня «невежда», «софист» за этот пропуск имени Наполеона I, — не дал ли бы он мне полного права смеяться над ним? Прошу их, для изощрения их ума, перечитать хорошоенько биографию, например, Гоша, — и они увидят, что точно то же произошло бы, если бы кто вздумал закричать то же про меня за то, что я называю великим правителем этого предшественника Наполеона, хоть Гош умер в таком периоде своей жизни и деятельности, как если б Наполеон I умер в 1795 году, до своего первого итальянского похода: основательные люди уже и в 1795 году находили, что Наполеон I очень хороший, чрезвычайно хороший главнокомандующий, — это они уже видели по осаде Тулона и еще более по Вандемьеровскому побойшу, о котором я упоминал выше. Я считаю это побойше гнусным делом, но все-таки я не могу не признать, что в нем Наполеон выказал себя превосходным мастером военной техники, — оно, вероятно, более свидетельствует его полководческий талант, чем Маренгская или Аустерлицкая битва, и, без сомнения, гораздо больше, чем Бородинская. Кто не знает мнения основательных специалистов, тому опять покажется, что я говорю софизм; а на самом деле, это только показывает, что хоть я и вовсе не знаток военного дела, не знаю даже, как оседлать лошадь — простую ли, кавалерийскую ли, все равно, — но кое-что читал или слышал от знающих людей об этих битвах. Точно так и о Гоше я сужу не наудачу, а кое-что читал о нем, Никто не имеет обя-

нечно, читатель понимает же, что Сеймур не на-авось сказал покойному государю: «Англия не желает» — так на-авось посланники не говорят). Ясно, что при такой умеренности (бескорыстии, расчетливости, называйте, как хотите, — по моему: при такой рассудительности) английского правительства покойный государь не мог не увидеть, что и ему не нужно таких больших гарантий для сохранения баланса с Англиею, какие были нужны в случае, если бы английское правительство было менее рассудительно (то есть более тщеславно и алчно).

Ясно, что уже первое удостоверение о действительных решениях английского правительства вело покойного государя к расположению (это несомненно по законам человеческой природы: к расположению, а по всей вероятности, следует думать больше: не только к расположению, к полной готовности) изменить первоначальный запрос в менее высокий. С одной стороны, являлся факт «нет напора», с другой — натурально оказывалась возможность уменьшить силу контрфорсов. По моему мнению, ясно, как день, что Западная Европа могла заключить с покойным государем соглашение на условиях, гораздо менее обременительных во мнении большинства ее публики (а по моему мнению, гораздо лучших и для России), чем те, которые были выставлены только как первоначальный базис для обозначения черты, с которой поведется сближение взаимными уступками.

Но пусть не было бы сделано покойным государем никакой сбавки; станем на ту не сообразную ни с чем точку зрения, на которую угодно было взгромоздиться тогда большинству европейской (и нашей) публики, — согласимся забыть, что «первоначаль-

занности знать биографию Гоша; но кто скажет: «вранье, будто Гош был гениальнее Наполеона I», тот обнаружит, что не знает или не понимает фактов, дающих право думать так.

Это объяснение очень длинно; но оно еще не кончено. Хотите ли, не хотите ли, читатель, а я укажу вам еще одно обстоятельство, из-за которого могу быть назван невеждою, софистом и пр., если не объясню его. Я все ссылаюсь на Маколей. Вот рьяный противник тотчас и сообразит: «Маколей — это вся кладовая, из которой он заимствует свои сведения; ничего, кроме Маколей, не читал. Малознающий шарлатан». А почему я ссылаюсь именно на Маколей? — Его книга находится или скоро будет находиться в руках русской публики, только поэтому я и дорожу ею: публике легко будет справиться, чтобы проверить, правду ли я говорю о вещах, в которых ссылаюсь на Маколей. А то ведь очень может быть, читатель, что хоть я и не Скалигер, Юст Липсий или Эразм Роттердамский, у которых запас сведений был изумителен, но все-таки читал я кое-что и о Ришелье, и Фридрихе II, и о Франклине, и о других гениальных правителях, и читывал не об одном деле, подобном разбираемому мною. Но сошлись я для примера на сходный случай из переговоров, веденных, положим, Фридрихом II или Франклином, мои рьяные противники, не умея справиться об этом, без церемонии вообразят и возопиют: «ты невежда, этого не было». Положим, я мог бы сослаться на «Историю XVIII века» Шлоссера; но Шлоссер не такой охотник, как Маколей, класть в рот разжеванное и пережеванное; его надобно читать со вниманием, иметь не-

ный базис» не есть «ультиматум», то есть забыть, что конвенция или трактат всегда бывает несравненно мягче с обеих сторон, чем черновой проект первого мемориала, с которого начинается дело; вообразим себе, что Западная Европа (представляемая Англиею) приглашалась не уговливаться, не торговаться, а сказать прямо только «да» или «нет» на вопрос: «в этих условиях не может быть ни убавки, ни прибавки ни одной иоты; принимаешь ли ты их?» Западной Европе (и нашей публике) заблагорассудилось поднять вопль в этом тоне. Посмотрим, действительно ли первоначальные условия имели такой смертоубийственный для Западной Европы характер, какой возмущал ее тогда.

Первое из условий этого чернового проекта со стороны покойного государя было: пусть будут обращены в самобытные государства по границам национальностей все области, лежащие между Россиею и окрестностями Константинополя (или всею полосою южного турецкого побережья, населенную греками, — слова государя в той форме, в какой были записаны Сеймуром, не определяют с точностью границ пространства, остающегося при константинопольском предполагаемом владении). Само собою, против этого никто не может сказать ничего: это хорошо на всякие глаза, кроме разве австрийских; но австрийские одни не важны. Ни Англии, ни Франции, ни Пруссии нет ни малейшей радости собственно в том, что турки насилуют сербов и болгар: на этот счет можно быть уверенным. Но государь прибавлял: «эти государства пусть будут под протекторством России», — вот одна из двух причин, отпугнувших от переговоров английское правительство. Оно правда; правителям, живущим со дня на день, должно было показаться, как потом показалось и большинству европейской публики, что это значит: «эти области будут отдельными государствами только по имени, а на деле будут русскими провинциями». Я не имею претен-

которые подготовительные сведения, чтобы понять, а мои господа рьяные литературные противники лишили меня права предполагать в них эти качества: они не поняли бы, да, пожалуй, опять подняли бы крик, что, дескать, у Шлоссера нет этого, да еще, — чего не бывало с ними, бывало и это, — вообразили бы: «ведь Шлоссера-то переводил он (то есть я) — так, может быть, и переврал; ведь он, говорят, не знает по-немецки». Как вы прикажете рассуждать с такими противниками, читатель, не принадлежащий к ним? — Трудновато рассуждать, скажете вы. — Нет, скажу я: не трудновато, а только очень скучновато да и грустновато: видеть себя в необходимости доходить до таких внушений «начатков учения» людям немолодых лет, чтобы они хоть эту статью оставили без криков «невежда писал», «софист писал», — чтобы такие крики хоть на этот раз не мешали вам, читатель, спокойно читать эту статью с дельным, спокойным вниманьем, какого, уверяю вас, заслуживает писатель, который, каковы бы ни были степень его учености и таланта, человек серьезно и добросовестно ищущий истины с честным желанием принести этим хоть немножко пользы вам. За это желание вы простите ему и ту грубость, с которою он говорит вам истину — горькую истину. Он не умеет писать мягко — и не жалеет об этом: его грубая речь по крайней мере искренна,

зии знать, разделял ли покойный государь такое ожидание или находил его ошибочным. Но нет для меня никакого сомнения в том, как пошло бы дело на самом деле: через десять лет после известного исторического столкновения очень нетрудно понять его сущность, если ты не совсем чужд знания истории и можешь наводить географические и статистические справки. Это не большая мудрость. Ею гордиться нельзя. Потому я не вижу особенных причин приписывать особенную гениальность следующему соображению, по моему мнению, очень нехитрому: сила вещей очень скоро заставила бы Англию, Францию, Австрию (с поддержкою от всех других держав Западной Европы) стать охранительницами независимости новых государств; и кто бы ни назывался на бумаге протектором этих государств, на факте они были бы под протекторством всей Европы, от Гибралтара до Уральского хребта. В немногие лет эта группа сделалась бы гораздо более самостоятельна, чем теперь Турция. Россия имела бы в столице валахов, столице сербов, столице болгар меньше влияния, чем даже и теперь имеет в Стамбуле, лагере одряхлевшей орды, помыкаемой всеми; точно так же и другие великие державы не имели бы возможности командовать в этих столицах так, как поочередно командуют в Стамбуле. Был ли бы от этого убыток или вред России ли, какой ли другой из великих или второстепенных держав, об этом каждый может думать по-своему; я полагаю, что от этого была бы польза и Англии, и Франции, и России, и всякой другой державе, имеющей какое-нибудь естественное основание быть особенной державою. По-моему, Англия не в убытке от того, что не может помыкать Голландиею, Россия не в убытке от того, что не может помыкать Швециею или Пруссиею. Может быть, в этом мнении я ошибаюсь, — это каждый пусть решает по-своему. Но решать надобно только то, нравился ли бы кому из нас такой факт. А что факт вышел бы таков, — это вещь, не зависящая от разности мнений. Некоторым нравится, что у европейских мужчин растет борода; другим, может быть, это и не нравится, но можно не спорить о том, растет ли борода у европейских мужчин. Я, впрочем, не удивлюсь, если и это мое мнение будет принято за парадокс.

Понимать в 1863 году, что вышло бы из проекта, составленного в 1853 году, — вещь, не требующая особенного ума. Понять это в 1853 году — иной вопрос. Кто понимал, имел право быть считаем за очень умного человека; кто не понимал, не заслуживает особенного порицания, потому что огромное большинство даже и очень неглупых людей не понимало. Но все-таки не в этом важность, кто заслуживает похвалы, кто не заслуживает порицания; важность в том, что человек, подобный Вильгельму III или Ришелье, не усомнился бы пойти на такую сделку с Россиею, если бы русское правительство не сделало никакой уступки, и убедил бы другие великие державы принять эту сделку.

Это несомненно. Расчет теперь ясен. В течение десяти лет итоги подвелись. Но, по всей вероятности, если бы английское правительство тогда не отпугнулось от переговоров призрачною опасностью этого базиса их для Западной Европы, то русское правительство и не отказалось бы видоизменить термины его так, что даже и мираж опасности рассеялся бы. Я не имею претензии знать то, что говорилось и предполагалось между покойным государем и его доверенными советниками. Но теперь и нет надобности знать этого, чтобы положительно сказать: русское правительство, каковы ни были его расположения во время разговоров покойного государя с Сеймуром, не нашло бы затруднительным для себя видоизменить термины своего первого проекта для успокоения Европы за чистоту своих намерений. Это доказано, — по моему мнению, к чести русского правительства: каждый читатель может решать по-своему, к чести или нет; я знаю, что и русская земля, как всякая другая земля, не лишена счастья иметь в числе своих детей фанфаронов и бреттёров, но полагаю, что ни нация, ни правительство, ни серьезный писатель не обязаны быть очень чувствительны к мнению таких господ, поэтому и не очень конфужусь, говоря, что, по моему мнению, к чести русского правительства служит факт, бывший через несколько времени после разговоров покойного государя с Сеймуром. Переговоры с Турциею продолжались; Россия формулировала одно из своих требований таким образом: для ограждения турецких подданных греческого исповедания от притеснений Россия должна иметь протекторат над ними. Европа нашла, что в этом виде условие тревожит ее; русское правительство согласилось выразить его в других терминах: все великие державы должны иметь совокупный протекторат. Я нахожу, что это изменение терминов делает честь русскому правительству. Цель была — охранение болгар, сербов от обид со стороны нахалов из числа мусульман (я знаю, что далеко не все турецкие мусульмане нахалы: в славянских землях Турции есть не очень мало таких пашей, кади и других мусульманских начальников, которые не притесняют христиан; но не все же таковы; потому ограждение нужно для христиан, — в этом не спорили и другие великие державы); эта хорошая цель достигалась и новою формулировкою, как прежнюю; а новая была приятнее для Европы, потому удобнее и для России, чем прежняя; поэтому русское правительство, согласившись на замену прежней формулировки новою, имело полное право считать себя выигравшим сущность дела и вменять себе в заслугу перед своею нациею и перед Европою — а главное, перед турецкими христианами, — свою благоразумную сговорчивость. Но это только мое мнение, что факт, рассказанный мною, служит к чести русского правительства; кому не совестно выставлять себя трактирным героем перед всеми рассудительными людьми, может утверждать противное. Тут разность мнений возможна. Но невозможна никакая разность мнений о том, что факт был именно та-

ков; также и о том, что он совершенно параллелен первому базису разговоров покойного государя с Сеймуром и что характером его развития вследствие переговоров несомненно определяется, каков был бы характер развития этого базиса: по всем законам человеческой вероятности надобно думать, что если бы пошли переговоры об этом базисе, русское правительство не затруднилось бы успокоить Европу согласием на замену термина «протекторат России над этими новыми государствами» термином «совокупный протекторат великих держав» над ними. По моему мнению, Россия ни на один золотник не уменьшала бы своего веса в этих государствах через такую замену: я полагаю, что влияние одного государства на другие соразмерно его действительной силе и даровитости его правительства, а не тому, какие слова написаны на какой бы то ни было бумаге, хотя бы даже на бумаге самых бесспорно уважаемых всеми трактатов. Вот уже около 50 лет во всех трактатах пишется, что все пять великих держав имеют совершенно равный голос; и никто никогда не нарушал и не оспаривал этого правила. Однако же голос России, или Англии, или Франции по большей части дел, решаемых совещаниями пяти великих держав, сильнее голоса Пруссии. Я полагаю даже, что если бы пяти великим державам вздумалось принять в свой коллегийум государство Саксен-Кобургское, то вес этого государства в европейской политике не увеличился бы. Но я полагаю, что саксен-кобургское правительство не согласилось бы войти в этот коллегийум: для него это слишком убыточно; его финансы расстроились бы от принятия на себя обязанности иметь такой многочисленный дипломатический корпус, как Пруссия, не говоря уж об Англии или России. Но, быть может, я ошибаюсь; быть может, достаточно написать на бумаге: Саксен-Кобург очень могущественная держава, — Голландия, Швеция, Бавария, не говоря уж об Испании, почувствуют, что Саксен-Кобург гораздо могущественнее их. Может быть, я ошибаюсь, но я не думаю этого.

А пока я не думаю этого, читатель, я по необходимости рассуждаю следующим образом: какие слова были бы написаны на бумаге, учреждающей протекторат над подданными ли греческого исповедания в землях Турции или над новыми государствами, возникающими из ее развалин, — «протекторат России» или «протекторат великих держав», это для существа дела все равно; а при данных обстоятельствах можно сказать, что та форма слов выгоднее для России, которая удобнее для нее; а удобнее та, которую написать легче. Так ли, читатель, или нет? Не бойтесь, так; дело ясное.

Вот как просто судить о деле через десять лет после того, как оно было. Но, читатель, честь тем не очень многим, которые и тогда умели понимать его так же ясно. Кто они, все равно. Но кто бы они ни были, все равно: они люди очень неглупые, по моему мнению. А мы теперь, видя, что еще не решая, кого следовало бы хвалить по делу, которое мы разбираем теперь, — по разговорам,

наделавшим столько шума, — но уже видя, что порицать некого, двинемся дальше: от первого из условий, высказанных покойным государем со стороны России, перейдем ко второму.

Оно было также источником вопля в Европе. Вы видели, что покойный государь не высказал определенного проекта об окончательной судьбе, которую желал бы дать Константинополю с прилежащею местностью. Само собою, сообразительность большинства западноевропейской, да тоже и нашей публики, нисколько не затруднилась увидеть, в чем дело. «Я не войду в него владельцем, войду только временно занять его моими войсками», «то есть, — дополнила сообразительность, — и посадить там государем своего родственника, основать в Константинополе государство для одной из младших линий русской династии, — это ясно». Во-первых и во-вторых, вовсе не ясно. Во-первых, не ясно потому, что там, в подлинном-то документе Сеймура, сказано, как мы видели, не «войду», а «может быть, войду», — сообразительность заблагорассудила не сообразить этого. А мы уж заметили, что ведь тоже очень может быть, что все это «может быть» или «если понадобится» относится только к устранению опасения, чтобы не захватили Константинополя англичане. И в таком случае все здание сообразительности падает, как скоро покойный государь получает уверение, что англичане не тронут Константинополя, — тогда ведь очень возможная вещь такой ответ: «прекрасно; и мне нет охоты трогать его». Итак, не ясно, что русские войска хоть временно вошли бы в Константинополь. А если Константинополь не занят русскими войсками, то желание русского государя еще не решает, кому быть там государем. Это во-первых. Во-вторых, не ясно даже, и было ли у него желание учредить в Константинополе секундогенитуру, престол для одной из младших линий своей династии. Я не имею претензии знать, что говорил покойный государь по этому вопросу своим приближенным. Я знаю, как и все, что Европа думает, будто он говорил им именно это; я не знаю, ошибается ли Европа в этой своей молве, но вот что я знаю, читатель, — и вы должны знать, если вы читывали исторические книги, какие бы то ни было, все равно, хоть бы только по части римской истории или не дальше крестовых походов, — я знаю, что молва эта, будь она ошибочна, будь она верна, все равно еще ровно ничего не значит. Из нее никак нельзя выводить заключения о том, каково было бы действительное предложение покойного государя, когда бы он стал говорить английскому посланнику в Петербурге или стал бы поручать своему посланнику в Лондоне сказать английскому правительству, на какое свое предположение о судьбе Константинополя он ожидает согласия Англии. Кромвель, Вильгельм III, Фридрих II — даже и они не всегда же были только дипломатами и правителями. Даже и они в простых разговорах выражали свои мысли не в такой форме, которая целиком так и переходила бы в окончательные объяснения. Итак, неизвестно, —

не мне одному, а, вероятно, никому, — каково было бы решительное предложение покойного государя англичанам о Константинополе. Очень вероятно, что он и сам не определил этого безусловно, когда вызывал англичан на объяснения. Дело разъясняется для обеих сторон именно самым ходом объяснений. Но положим, — чего нельзя сказать наверное, — что он потребовал бы Константинополя для одной из младших линий своей династии, как думает Европа, и ни на волос не уступил бы в этом требовании. Я говорю, что даже такое условие не помешало бы человеку вроде Вильгельма III пойти на сделку, убедить всю английскую нацию, всю Европу принять ее. Кто сомневается в этом, пусть прочтет у Маколя изложение переговоров Вильгельма с Людовиком по испанскому вопросу. Там он увидит, что Вильгельм охотно соглашался на такие притязания Людовика, которые обыкновенному дипломату показались бы гораздо опаснее, чем предполагаемые Европой требования покойного государя. Почему соглашался Вильгельм, почему он не видел ничего страшного в том, что запугало бы людей менее зорких, об этом можно прочесть у Маколя. А почему не было бы страшным для Европы увеличение русского могущества, если бы она согласилась на предлагаемое ей желание покойного государя отдать младшей линии его династии Константинополь с прилежащими землями; почему не запугало бы такое желание человека, подобного Вильгельму, это можно пояснить двумя примерами из французской истории.

Первый пример — занятие испанского престола младшею линиею французской династии. Сила Франции в XVIII веке до самой революции была гораздо меньше, чем во второй половине XVII века, и одною из главных причин ослабления было именно занятие испанского престола младшею линиею французской династии. Этот факт должен быть известен и понятен даже рьяным моим литературным противникам. Франция была истощаема усилиями в пользу испанских Бурбонов; испанские Бурбоны не были прочными союзниками Франции. Франция была связана в своих действиях своими отношениями к Испании. Это факт.

Другой пример — история Наполеона I и покровительствуемых им государей. Когда дела Наполеона пошли дурно, ни один из немецких государей Рейнского союза не отпал от него, каждый с полным усердием до последней возможности помогал своему протектору. А Мюрат отпал от него; отпал даже Евгений Богарне — человек, который был не чета Мюрату⁹⁰. Эти двое стали действовать во вред ему, только когда его положение сделалось очень дурно. А все трое остальные родственники, получившие от него престолы, бесили его своими неудобными для него поступками с самого же первого дня, как получали от него престол, и бесили с этого дня неукоснительно каждый день. У Людовика (голландского) он был принужден формально отнять престол, потому что Людовик — это не бесчестье, а честь самому Людовику — прямо

становился против Франции, держал руку англичанам и русским. У Иосифа (испанского) и Иеронима (вестфальского) Наполеон не отнял титулов и резиденций, как у Людовика, но принужден был отнять власть и передать управление их королевствами посторонним людям⁹¹. А ему не встречалось надобности делать ничего подобного с государями чужих династий, земли которых взял он под свой протекторат: государями баварским, баденским, вюртембергским, саксонским и пр. он был постоянно и неизменно доволен. Это не значит, что немецкие государи Баварии, Бадена, Вюртемберга, Саксонии и пр. были идеалами преданности, благодарности и пр. или, наоборот, были действительно низкими, раболепными людьми, какими иногда легкомысленно называют их и нынешние писатели с хвастливого голоса тогдашних французских фанфаронов или с голоса раздраженных тогдашних (не очень разумных, хотя и совершенно честных) немецких ультра-патриотов; точно так же и не значит это, с другой стороны, что родственники Наполеона были люди безумные и неблагодарные, как повторяют многие по раздраженному сент-эленскому голосу Наполеона. Нет, вовсе нет. Между немецкими государями Рейнского союза большая часть были люди холодной души и люди очень гордые. Они не могли быть лакеями раболепства, не могли быть ангелами рыцарской преданности. Они, правда, угощали алчных французских генералов и сановников, давали им взятки; пожалуй, некоторые даже и льстили некоторым, — но со скрежетом зубов от горького чувства унижения, — и все-таки, вообще говоря, держали себя с большим достоинством даже перед этими нахалами и грабителями, которых так часто Наполеон ставил своими наместниками с властью татарских баскаков⁹²; а с теми французскими генералами и сановниками, которые были не бесчестные люди, почти все немецкие государи Рейнского союза держали себя и вовсе безукоризненно со стороны форм, — и с самим Наполеоном также. И однакож эти государи, почти все или очень гордые люди, или благородные люди (как король саксонский), оставались верными и усердными друзьями Франции, хотя тяжесть протектората чувствовалась ими как нельзя впечатлительнее. Это просто потому, что существенные интересы их и их государств требовали того. А родственники Наполеона, державшие себя так неудовлетворительно, были лучше большинства этих государей. Только Мюрат был человек ненадежный по своему легкомыслию, — остальные четверо все были и очень неглупы (Иосиф даже очень умен, Евгений Богарне, кажется, тоже), и очень недурные люди по сердцу: Евгений Богарне даже очень и очень благородный человек, Иосиф — тоже хороший, о Людовике нечего и говорить. Из пятерых, повторяю, только Мюрат мог стать неблагодарен по легкомыслию и фанфаронству; остальные четверо никак не были способны стать плохими людьми. И однакоже — мы говорили, каковы были их отношения к Наполеону. Почему это было так, — вопрос не затрудни-

тельный, но требующий длинного ответа, краткая сущность которого проста: родственники суть родственники, то есть члены семейства, и потому бывают хороши между собою, когда имеют между собою семейные отношения: обедают вместе, пьют чай (у французов—кофе) вместе, заботятся о здоровье друг друга, советуется нараспашку, по-родственному, веселятся вместе. Но смешение двояких отношений, существенно разнородных, не ведет ни к чему, кроме неудобств, и через неудобства ведет к неизбежности взаимных неудовольствий. Отношение между двумя государями совершенно разнородно с отношением между двумя родственниками. Потому неудобно одному государю быть братом или сыном другого государя. Почему неудобно, это можно пояснить другим сходным неудобством. Между государем и подданным могут существовать без всякого неудобства очень близкие дружеские отношения: быть одному из этих двух лиц человеком зависимым и человеком искренно преданным, быть другому из них человеком повелевающим и человеком искренно уважающим повинующегося — это вещи, не заключающие в себе противоречия, по крайней мере при нынешнем состоянии нравов. Потому никто из государственных людей не говорил, что европейским государям есть надобность или польза вести такой скучный образ жизни, какой ведут японский (мнимый, а не настоящий) государь, даири (по принуждению от настоящего государя, кубо), и (тоже мнимый) тибетский государь (тоже по принуждению от настоящего государя, китайского императора и его наместника в Тибете): эти несчастные люди на самом деле отделены от сношений со всеми без исключения мужчинами, как несчастные турецкие дамы отделены на словах. А европейские государи живут, как следует жить людям: имеют приятелей, партнеров для виста, для обеда, ужина, для игры на бильярде, для простого разговора, служащего отдыхом от серьезных занятий, и ничего дурного не выходит из этого: можно быть и приятелем, и приятным собеседником, не нарушая форм, приличных для соблюдения подданному. Но есть такие отношения семейной фамильярности, которые противоречат понятию «подданный» в точном смысле слова; например звать коронованную особу полуименем — «Викторенька», «my dear Victoria», вместо «вы, королева»; говорить ей: «давай-ко поскорее чаю, Виктория» и т. п., — это не годится подданному; потому королева Виктория поступила очень основательно, выбрав себе мужа не из числа своих подданных. Без всякого сомнения, можно было бы найти и в Англии человека, не менее, чем принц Альберт⁹³, способного составить счастье всякой другой хорошей женщины; но именно только для одной из хороших женщин в Англии, для королевы Виктории, это было невозможно: с англичанином она решительно не могла бы жить так мирно, хорошо и счастливо, как живет с принцем Альбертом, хотя бы этот англичанин был идеал всевозможных семейных достоинств и добродетелей. Как твердо вся публика всякого

государства понимает основательность правила: «царствующее лицо должно избирать себе супруга или супругу не из числа своих подданных, потому что отношения подданства и супружества несовместны», так же твердо знают основательные историки и основательные государственные люди верность другого общего вывода из самой сущности дела и из множества примеров: «каждая династия должна оставаться династиею своего государства, имеющего один престол и только одну коронованную чету»; публика, не занимающаяся специально историческими исследованиями или политическими вопросами, менее твердо знает это правило; но менее твердо знает его только потому, что вопрос о его применении встречается реже, чем вопрос о бракосочетании лица царствующего или предназначенного царствовать.

Но если извинительно Западной Европе не очень твердо знать эту несомненную истину, то нам, русским, можно было бы понимать дела в этом отношении очень ясно. Для наций Западной Европы национальные исторические события не представляют воспоминания о таком великом уроке, какой мы должны были бы видеть в явлении, обнимавшем собою более четырех столетий нашей истории. Средневековое распадение стран на мелкие владения приняло в Западной Европе форму феодализма, — феодализм имел для каждого светского владения особую местную династию. У нас точно такое же распадение имело другую форму — форму раздробления государства по вотчинному праву (в смешении с республиканским вечевым началом, которое постепенно было подавлено вотчинным), — по вотчинному праву в его славянском духе, по которому, как известно, дается доля недвижимого имущества каждому из сыновей. Это громадное явление прочно начинается — после нескольких прелюдий, достойных такого первого акта, — начинается тем, что Святополк режет братьев, и последний акт, имеющий за собою эпилоги, достойные такого последнего акта, кончается тем, что последний великий князь московский, имеющий серьезных удельных совладельцев, Василий Темный, ослеплен этими совладельцами. По воспоминанию, уже без серьезной надобности тянутся еще на полтора века эпилоги: государи московские, все забывая, что они уже цари-единовластители, а не удельные великие князья, истребляют своих родных. С особенным эффектом производится это в двух последних эпилогах. В предпоследнем Иоанн IV своею рукою убивает своего сына: сын, изволите видеть, показался ему соперником, хочет разорвать и погубить Россию, передавшись ее врагам, как передавались в старину князья тверские. Тут эффектное обстоятельство — близость родства между убивающей рукою и убиваемым организмом. А последний эпилог необыкновенно эффектен по своим последствиям: мудрый правитель, верный слуга царя, — неизвестно, устраивает или нет, но вполне одобряет то, что зарезывают последнего представителя удельной формы, ребенка, которому имя удельного князя

было дано только уже как почетный титул. Эффект известен: два русские царя погибают насильственной смертью, третий отведен в плен к иноземцам⁹⁴, государство подвергается непрерывному повсеместному грабежу в течение целой четверти столетия. Таковы эпилоги. А все время коренной драмы от убийств, совершенных Святополком, до ослепления Василия Темного сплошь наполнено фактами, сообразными эпилогам, началу и концу драмы: «изгнал», «прогнал», «ослепил», «насильно постриг в монахи», «бросил в поруб» (тюрьму без окон) князь князя, своего родственника, — этим фактам нет счета; «убил» князь князя, своего родственника, — этих фактов целые десятки. Само собою, что колорит фактов средневековый, невозможный в XIX веке: теперь соперничающие претенденты не убивают друг друга, ссорящиеся государи-родственники не ослепляют и не постригают в монахи друг друга. Наполеон I, как ни бывал свиреп, в случае надобности или вспышки не казнил своих совладельцев-родственников, только низвергал и отдавал в опеку; Мюрат, при всем своем легкомыслии, не подослал убийц к Наполеону, — только изменил ему, передался врагам. В наше время нельзя делать или опасаться таких грубых вещей, какие бывали в темную старину. Но ведь сущность дела не в форме, не в насильственных пострижениях и выкалывании глаз; сущность дела в чувстве вражды между родственниками, вражды непримиримой, беспощадной.

Отчего было это чувство у Рюриковичей? Неужели они были не люди; неужели не женскою грудью, а сосцами волчихи, как Ромул и Рем⁹⁵, мифические прототипы наших удельных князей, были они вскормлены? Неужели в их душе не было натуральной всем людям склонности любить родных? — Конечно, они были люди, имели эту склонность; многие были люди мягкие, добрые; многие — люди благородного сердца. А все-таки ни у одного из них нет биографии без семейных раздоров, страшных, свирепых; и лучшие из них, Мстиславы⁹⁶, прославились больше всего усердием и удачею, с которою низвергали родственников. Да, сущность дела была — как и всегда останется — неотвратима никакими личными достоинствами или добродетелями: однофамильцы не могут без вреда себе, без огорчений себе, без ослабления своих государств быть между собою в отношениях государей к государям.

Хотите ли выяснить себе общий принцип, под неотвратимую силу которого охватывается этот частный случай несовместности отношений? — Отношения между государями — чисто деловые, требующие полной холодности чувства между государями. Император русский не имеет никаких сильных личных чувств к султану турецкому или королю шведскому, как Беринг не имеет никаких серьезных личных чувств к Штиглицу⁹⁷, помещик к купцу, которому продает свой хлеб, к магазинщику, у которого покупает мучель. Междупрестольные отношения совершенно соответствуют тем, которые в частном быту называются коммерческими. Два

брата не могут быть хозяевами двух фирм, имеющих торговлю между собою; один брат не может быть подрядчиком, входящим в контрактные условия с другим; все знают, что это не годится, никто из благоразумных людей не становится в такие отношения: коммерческие дела ведутся только с чужими людьми; иначе и братья перессорятся, и дело пойдет у обоих плохо. Братья должны или иметь общую фирму, или разойтись по таким делам, которые не сводили бы их в коммерческие расчеты. Один брат может иметь суконный магазин, другой — лавку серебряных товаров, и они останутся в ладу, потому что их дела не соприкасаются. В подобном положении находятся династии очень маленьких государств, не имеющих далекого круга серьезных соприкосновений: младшая линия может без вреда себе и старшей линии занять другой престол, престол государства, не имеющего серьезных соприкосновений с коренным государством. Брат герцога баденского мог бы без неудобства себе и ему стать королем шведским. Но не только династия великих держав, даже династии голландская или испанская находятся в другом положении; даже испанская династия уже соответствует дому Ротшильдов⁹⁸, который находит невозможным разделить свою фирму, — в свете недостает места, чтобы обособившаяся фирма могла не сталкиваться с коренною: дела коренной фирмы слишком обширны. Подобно коммерческим отношениям, междугосударственные, междупрестольные отношения требуют точнейшего взаимного учитыванья до копейки: до малейшей мелочи баланс должен быть ровен. Иначе тотчас же выйдет хаос, разлад, ссоры, вредные для обеих сторон. Родные не могут держать себя так между собою.

Если покойный государь имел такой взгляд, то неосновательно предположение, что он серьезно желал сделать Константинополь с окрестною областью государством для младшей линии своей династии. Если ж он имел это желание, все-таки было бы совершенно напрасно порицать его за такую наклонность, потому что он в этом случае разделял бы мнение почти всей публики всех наций и огромнейшего большинства всех дипломатов, полагающих, что учреждение престола для младшей линии не ослабляет, а усиливает старшую линию и государство старшей линии. Мнение, разделяемое почти всеми, нельзя ставить в порицание никому, хотя бы оно было ошибочно. Но тем не менее оно ошибочно. И если покойный государь разделял его (это вовсе не доказано, но для полноты разбора предположим и этот случай), то ошибался, и в этом случае истинно проницательный европейский правитель воспользовался бы его ошибкою, чтобы ослабить Россию предоставлением ей мнимого увеличения силы. Теперь нет сомнения, что это впоследствии оказалось бы ослаблением России. Но покойный государь все-таки не заслуживал бы порицания за то, потому что на первое время и Россия, и Европа ошиблись бы подобно ему: предположили бы,

что могущество России увеличилось. То, что это не так, заметили бы лишь через несколько лет.

Но каковы бы ни были существенные, серьезные желания покойного государя относительно избрания государя для Константинополя и относительно протектората над другими новыми государствами в пределах нынешней Европейской Турции, — желания, которых мы не можем определить с достоверностью, потому что возможность выработаться в определенную форму была отнята у них отказом английского правительства начать объяснения, — и как бы ни была велика сделанная большинством европейской и нашей публики несправедливость принимать первоначальный, черновой проект за окончательную формулировку их, я скажу, что была несправедливость еще более важная и вредная для Европы и России в крике, поднявшемся тогда двумя разногласными хорами — одним у нас, другим в Европе. Оба разобранные нами предположения покойного государя сами по себе не имели бы силы поднять этого крика; несравненно сильнее их подействовало третье его предположение, замеченное нами и Европою в этих разговорах: он признался Сеймуру, что хочет присоединить всю Европейскую Турцию к России. Это намерение, я должен сказать, действительно могло и должно было ужаснуть Европу. Никакими аргументами не в силах я доказать, что Европа не была права в своем негодовании на это намерение. Тут не отобьешься никакими Вильгельмами Третьими и испанскими вопросами. Никакими удельными системами и примерами из истории Наполеона не докажешь, что русская публика ошиблась, нашедши присоединение таких богатых областей с такими стратегическими и морскими позициями, как Дарданеллы, Босфор, Константинополь, громадным увеличением средств России ужасать Европу военным могуществом. Но точно так же я не в силах доказывать, что большинство русской публики было несправедливо, подвергнув порицанию чрезвычайную неосторожность, сделанную открытием такого намерения Европе: подобные замыслы не высказываются, предупреждать о них другие державы — безрассудство.

Так. Я вполне согласен. Только вот какая странность: Европа и большинство нашей публики прочли в разговорах покойного государя с Сеймуром относительно этого третьего пункта вещь, которой вовсе, повидимому, не следовало бы прочесть в них. Во-первых, что же из Европейской Турции остается для присоединения к России после первых двух пунктов? Кажется, ровно ничего. Первый пункт говорит: «вся Европейская Турция до окрестностей Константинополя», второй пункт прибавляет: «и Константинополь с его окрестностями» — должны иметь своих особенных государей; кажется, уж ровно ничего не оставлено для присоединения к владениям русского государя. Кажется, можно бы довольно ясно рассмотреть это. Но мало того: покойный государь и прямо, положительно выразил свое твердое решение, что границы самой

России не будут расширены, прибавил и причину такого своего решения: потому, что расширение их было бы вредно ей. С того и начал он. Выразить это в самой безусловной форме было первого его заботою. Это и прописано у Сеймура как нельзя точнее.

Что ж это такое, читатель? Читать «нет» и воображать себя читающими «да», смотреть на слова «не хочу, не сделаю» и видеть вместо них слова «желаю и сделаю», что ж это такое, читатель?

Да, читатель, это такая штука, которая озадачит своею изумительностью человека, мало опытного в наблюдении того, что творится на белом свете, что творится на нем людьми над самими собою. Это милая штучка.

Хоть бы заподозрили искренность покойного государя, хоть бы отвергли, как притворство, противоположное решение его, — нет, читатель, все возопили: «признался! признался!» — и вот уж подлинно возник «на горизонте» и европейской, и нашей публики тот «купол св. Софии», о котором говорит Кинглек. «Русский царь сказал Сеймуру», возопил один хор и вознегодовал; «наш царь сказал Сеймуру», возопил другой хор и возликовал.

Что ж это такое, читатель? Откуда взялся этот купол? — «Нет купола, не будет купола, вреден был бы мне купол», — говорит человек. — «Ура! наш царь дает нам купол!» — «К оружию, братья, русский царь сказал: беру себе купол, — не дадим ему купола! *Aux armes, messieurs, mylords et gentlemens!*» *.

С чего вы взяли ваше «ура» и ваше «aux armes», несчастные, несчастные люди?

Станный случай! — быть может, хотите вы сказать, читатель. Нет, читатель: это очень обыкновенный в истории случай: смотрят на вещь и видят не ту вещь, которая перед глазами, а совершенно другую, чаще всего вещь прямо противоположного характера, которую, казалось бы, очень мудрено увидеть человеку, имеющему глаза, потому что она вовсе не существует. Но эту несуществующую вещь видят, а ту, которая перед глазами, не видят, потому что смотрят, зажмурив глаза или от страха, или для более удобного созерцания внутренних своих видений, кажущихся более приятными или важными, чем факты. Мы уже встречали на предыдущих страницах много примеров такого способа созерцания: все партии французской нации, от легитимистов до красных неукоснительно занимались им с конца 1847 до конца 1851 года. Потом мы читали, как английская публика созерцала русскую нацию. Какой приятный вечер 4 декабря приготовили себе французы таким созерцанием и какое прекрасное состояние они устроили для себя, мы уже видели; потом увидим, что и англичане также извлекли для себя не малую пользу и приятность из того же прекрасного метода созерцания. А далее увидим, что и наша с вами, читатель,

* К оружию, господа, милорды и джентльмены! — *Ред.*

русская публика не отстала от просвещеннейших наций в этом искусстве и также извлекла из него очень хорошую сумму отрад для русской нации, в числе же ее и для себя самой.

У нас привыкли все сваливать на правительство (эта манера издавна была в моде и у французов). А мы, читатель, посмотрим в ход дела посолоннее и постараемся рекомендовать публике другую манеру рассуждения, — менее вкусную, но более полезную. Эту методику мы вот и испробуем на Крымской войне.

Когда возникла эта война, и оказалась для русской публики удивительная вещь, которой публика никак не ожидала, именно, что война стоит больших денег, рек крови, — русская публика, изволите ли видеть, полагала, что война есть милый парад⁹⁹, на который очень интересно любоваться, — когда торговля остановилась, все покупаемое стало дорожать, все продаваемое стало итти за бесценок, когда пошли усиленные рекрутские наборы, когда пришлось всем сидеть без денег в размышлениях о родных, страдающих или уже погибших в степях и болотах театра войны, в траншеях и на бастионах Севастополя, в битвах, штурмах и лазаретах, — когда русская публика вкусила и раскусила, что такое война, русской публике захотелось отыскать, кого порицать за эту войну и найти факты, на которых можно бы основать порицание. Она вообразила, что нашла очень важный такой факт в разговорах покойного государя с Сеймуром, и изволила сообразить, что именно эти-то вот разговоры виноваты в войне. Но она потрудились не заметить одного обстоятельства, очень солидного: она сама прочла — а несколько пораньше ее Западная Европа прочла — в этих разговорах вовсе не то, что в них было. Если бы Западная Европа прочла то, что было в них: «купола нет», «расширять пределы не желая, потому что расширение их было бы вредно для России», то Западная Европа не нашла бы в этих разговорах никакой важной вредности для нее, да и русская публика тоже не нашла бы причины ликовать по поводу их до вкушения плода от древа познания войны и порицать по вкушении его.

Как же произошло это обстоятельство? О, боже мой, да очень просто: гораздо раньше, нежели покойный государь стал говорить с Сеймуром, гораздо раньше, нежели Сеймур явился посланником в резиденцию покойного государя, на разговоры покойного государя с Сеймуром был уже готов комментарий; Европа и русская публика прочла эти разговоры с комментарием на них, сочиненным задолго до них, и комментарий был так хорош, — достолюбезен для русской публики, грозен для Европы, — что и наша публика, и Европа имели полное право заняться исключительно комментарием, не удостоивая внимания разговоры. Кто же сочинил этот комментарий? — Да все то же самое достолюбезное огромное большинство русской публики. С тех пор, как я помню себя, я слышал эту болтовню; с тех пор, как помнят себя самые

старые из людей, виденных мною, они слышали эту болтовню; но говорят, что особенно распространилась она с 20-х годов, почти одновременно с первою холерою, только не прошла, как холера, а все росла и крепилась; она постоянно шла и в печатном слове, как в изустном; огромное большинство наших писателей, с достопочтенного поэта Н. М. Карамзина¹⁰⁰, чувствительного русского путешественника, выказавшего такую замечательную способность поездить по Франции и пожить в Париже во время революции, не замечая революции, и такой великий талант государственного мужа в своей милой записке «О старой и новой России»*, где говорит, что все бедствия России значительно смягчатся, если губернаторами будут назначаться исключительно люди из богатых старинных фамилий, — до автора стихотворений о том, что враги России не услышат «песнь обиды от лиры русского певца» (какой патриотизм-то, сообразите!), и о том, что врагам России непонятна «История государства Российского» Карамзина («сии скрижали», по выражению одного поэта) — все, кроме очень немногих, занимались при случае тою же болтовнею, заимствованною из старинного гимна, — помните:

Гром победы раздавайся,
Веселися, храбрый росс:
Звучной славой украшайся:
Магомета ты потрёс.

Хотите ли вы, например, пример болтовни Пушкина? — Извольте-ко прочесть его предисловие к «Путешествию в Эрзерум» да припомните, кстати, как у него даже сами эрзерумцы уже говорят, что русские скоро возьмут Константинополь:

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой
Как змия спящего раздавят.

Это была болтовня, читатель, пустая болтовня, не больше, рассуждения Маниловых о том, как они построят мост через пруд и устроят на нем лавки; болтавшее огромное большинство русской публики и русских писателей не намерено было пожертвовать не только ни одною каплею своей крови, даже ни медным грошом для этого дела; да оно и не воображало себе его, как дело или хоть как намерение, — оно только болтало, — помните: «Глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки! — Ах, милая, это же пестро! — глазки и лапки!» Вот мужья этих милых, такие же милые, и рассуждали: «Стамбул и Босфор, Стамбул и Босфор, Стамбул и Босфор, — это не далеко, — Стамбул и Босфор». Да, это была только пустая, праздная, пошлая болтовня, — но ведь Европа не была обязана знать, что это пустая болтовня, она не имела права думать этого, она не имела права думать, что огром-

* Н. М. Карамзин, «Записки о древней и новой России». — Ред.

ное большинство русских писателей пишет пустую, праздную болтовню, огромное большинство русского образованного общества говорит пустую, праздную болтовню, и когда она принималась за чтение разговоров покойного государя с Сеймуром, у ней в ушах звенело: «Стамбул и Босфор», «Стамбул и Босфор», у ней в глазах темнело и рябело от этого звона в ушах, и перед ее глазами тоже запестрело: «Стамбул и Босфор». Европа была права, читатель: свет не имеет права предполагать, что большинство общества, называющего себя представителем великой нации, состояло из Маниловых, Собакевичей и Чичиковых, с преобладанием Маниловых по числу персон, Собакевичей по количеству денег в шкапулах, Чичиковых по житейской деятельности.

Она принимала это большинство публики и писателей за представителя русской нации, болтовню его за выражение чувств русской нации. Мы с вами, читатель, жестоко смеялись над Кинглем за то, в каком виде представляются ему мысли и стремления русской нации; но, читатель, он ошибается только в том, что говорит: «к этому стремилась русская нация», вместо того, чтобы сказать: «этим празднословием занималось большинство русской публики».

Европа не могла расслышать слов покойного государя, не могла понять их, потому что большинство русской публики слишком прозвонило ей уши этою болтовнею. А большинство русской публики и не замечало еще, как громка эта его болтовня: оно не уважало себя, оно не понимало, что хоть оно — Маниловы, Собакевичи и Чичиковы, по преимуществу, Маниловы, люди ничтожные; что хоть они и сами себя считают людьми ничтожными и презренными, но что ведь они — в глазах Европы — представители великой, мощной, честной, серьезной нации; что поэтому, как ни слаб и дрябл сам по себе, как ни дрянен и жидок голос их, он звучит во вселенной с серьезною силою громового голоса русской нации.

Оглушая Европу, русская публика сама почти не слышала своего голоса. Но вот Европа вынуждена была сказать: «Я ужасаюсь этого голоса». Русская публика услышала это: «Вот что! так мы действительно хотим взять Константинополь? Ай да мы! молодцы!» — и удивилась, и восхитилась, и расхрабрилась, и уж точно раскричалась: прошу читателя вспомнить, что писали почти все русские писатели и чему сочувствовали почти все русские читатели от начала серьезной распри до появления союзных флотов на Черном море и перед Кронштадтом: «всю Европейскую Турцию присоединим к России». Это твердилось тогда почти всеми писателями. А почти все читатели восхищались этими умными словами, и очень многие из читателей комментировали их в разговорах еще умнее: «шапками закидаем англо-французишков! идем на Париж!» Не знаю, как вы, читатель, а я имел удовольствие слышать это собственными ушами, — и хоть бы от людей полу-

грамотных: нет, от людей, недурно судивших об опере и Шекспире; и хоть бы от юных прапорщиков: нет, от людей пожилых, повидимому, солидных, имевших чины от надворного до статского советника, вероятно, и повыше, но я не встречался тогда с лицами более высоких чинов, потому лично не могу свидетельствовать о них ничего; и хоть бы пьяны были почтенные и солидные закидыватели шапками, когда говорили это: нет, они рассуждали таким манером в трезвом виде.

Вы знаете, читатель, каким другим пошлым хором сменился этот хор, когда грянул севастопольский гром, когда союзный флот ходил мимо Кронштадта и строились батареи в предместьях Петербурга; вы знаете, каким малодушным унынием затряслись эти храбрецы, и как они наповал язвили в своих низких разговорах всех и все, — от покойного государя до последнего солдата, от правительственных действий до кремневых замков наших тогдашних ружей; это был шопот такой же гнусный, как прежний крик, и столь же убийственный для русской нации: крик накликал на нас врага, шопот смущал истинных представителей нации, так что они не могли отступить и сказать врагу: «миримся», — шопот мешал миру, мириться при таком шопоте было бы трусостью¹⁰¹.

Так ли, читатель? Кто же пролил реки крови? Кто разорил весь юг России, истощил силы всех остальных частей России? Кто? — О, если бы совесть и факты позволяли думать: «покойный государь», как это было бы хорошо для России! Покойный государь уже давно умер, и мы могли бы не опасаться за будущее. Хорошо было бы для России, если бы совесть и факты позволяли сказать хоть: «ну, если не покойный государь, то наше правительство», — и это было бы успокоительно: министры меняются, посланники меняются, генералы меняются; тогда, были Нессельроде, Меншиков, Паскевич, Горчаков¹⁰², теперь все они сошли со сцены; через двадцать, тридцать лет не останется на сцене и никого из тогдашних сановников: ведь они и тогда были люди уж немолодых лет, — устанут, одряхлеют, выйдут в отставку; значит, если бы они были виноваты, всякая опасность уже почти прошла бы, скоро и вовсе прошла бы. Но, читатель, плохо, очень плохо то, что ни покойный государь, ни правительство не виноваты в Севастопольской войне. Это очень, очень плохо. Большинство публики — ведь это персона бессмертная, не удаляющаяся в отставку; нет никакой надежды, чтобы эта персона, устроившая Крымскую войну, перестала быть представительницею русской нации и иметь громадное влияние на ее судьбу. Есть одна надежда: эта бессмертная, не дряхлеющая персона очень, очень молода и неопытна. Она научится, она станет опытнее, рассудительнее. Это несомненно, это не надежда, это математическая достоверность. Надежда — надежда еще лучше, но зато только надежда, а не полная несомненность: надежда-то, эта персона довольно скоро станет опытнее и рассудительнее.

Тогда эта стотысячеголовая персона будет действовать и говорить с пользою для русской нации. А теперь ей надобно учиться, вот мы и старались показать, как вредно стало для нее и для всей нации, что она не уважала себя и по неуважению к себе занималась пустою болтовнею. Теперь мы будем смотреть, как эта персона, достолюбезная масса русского просвещенного общества, стала отличаться тогда, когда из ее глупой болтовни стали выходить уже серьезные опасности столкновения с западными державами из-за ее «глазки и лапки, Стамбул и Босфор, Стамбул и Босфор, глазки и лапки». Тут она отличилась еще умнее и благороднее прежнего, — она стала, изволите видеть, восхищаться новопоявившимся в ней талантом издеваться в своем шушуканье над действиями ее правительства: оно, изволите видеть, казалось ей очень забавно, потому что не действовало с такою храбростью, какою была одушевлена чешущая свои сотни тысяч языков достолюбезная персона. Она и почесывала эти языки в темных своих шушуканьях таким манером, что, дескать, наше правительство трусит — ха, ха, ха! — а я вот как поступила бы, — вот мы и посмотрим, было ли за что шушукать «правительство трусит» и умно ли предполагала поступить храбрая шушukaющая персона.

6 сентября
1863

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ВТОРОЙ

(39). С чего это взято? Житель Архангельской или Олонецкой губернии не хочет переселяться в Херсонскую или Самарскую, — своя родная местность, какова бы ни была, гораздо милее ему. Кто в русском народе имел когда (после времен Святослава, хотевшего действительно переселиться из Киева на Дунай)¹⁰³ влечение итти из пределов России жить дальше на юг? — Мы завоевывали южные степи, потому что принуждены были взять их под свою власть для обуздания набегов диких татарских орд на нашу старую землю. Но это было делом тяжелой для нас необходимости, а не следствием не существовавшего в нас влечения на юг. С самого начала русской истории русское племя, — когда и насколько шло куда-нибудь из родной местности, — шло на северо-восток, а не на юг. Причина ясна: у нас привычки северных жителей; южный климат нам не привычен и с непривычки кажется даже хуже нашего, тяжел. В нашем не только простом, но и среднем классе до сих пор остается (например) твердое мнение, что Закавказье — страна неприятная и убийственная по климату. Паломники, побывавшие в Константинополе, с удовольствием вспоминая дешевизну винограда и других фруктов, всегда прибавляют, что, однакоже, русскому человеку невозможно жить там: слишком душно, зной изнурителен и повергает в болезни. Дело не в том, основательно ли мнение русского народа о климате юж-

ных земель, а в том, что оно именно таково. Но точно так же дело и не в том, что Западная Европа ошибается, предполагая в нас не существующее в нас влечение на юг, а в том, что она предполагает его и на этом строит свои соображения и по этим соображениям готова действовать в случае — действительной или мнимой — надобности. Так и случилось на общую беду нашу и целой половины Западной Европы в 1853—1855 годах. Большая часть международных бед происходит точно так же, как эта, оттого, что народы слишком мало знают друг друга.

(40). Более или менее дальновидные государственные люди на Западе и у нас могли находить, что владение Черноморским берегом возбуждает мысль о завладении Босфором и Дарданеллами; но русская нация была столь же чужда этой мысли, как итальянцы или греки мысли овладеть Гибралтаром, который относительно их прибрежного моря то же самое, что Босфор и Дарданеллы относительно Черного. Это различие дальновидного желания одних, дальновидного опасения других правителей от национального стремления важно сделать здесь потому, что ниже мы увидим, какая важная и вредная ошибка была сделана английскою нациею из-за того, что она, подобно Кинглеку, смешивала эти две совершенно разнородные вещи. Русская нация имела на Черном море только один интерес — торговый; а для черноморской торговли решительно не нужно владение выводящими в Средиземное море проливами, как не нужно ни России, ни Пруссии для их балтийской торговли владение проливами, ведущими из Балтийского моря в Немецкое. Для торговли нужен мир; при нем, кто бы ни владел проливами, торговля идет; без него, кто бы ни владел проливами, торговля прекращается. Насколько русские интересовались своею черноморскою торговлею, настолько они желали мира с Турциею, — это очень понятно: но англичане тогда забыли это и в этой забывчивости поддались внушениям французского правительства на беду себе, французам и нам. Мы увидим, что их ошибка произошла от предположения, которое повторяет здесь Кинглек, — будто вся русская нация имела желание овладеть Босфором и Дарданеллами и будто это стремление было так сильно, что русское правительство не могло устоять против пламенного желания нации.

(41). Удивительное преувеличение. Дипломатическая служба, конечно, считалась у нас одною из почетных, но военная всегда считалась самою почетною, и на одного человека хорошей фамилии, посвящавшего себя дипломатии, наверное всегда приходилось у нас 50 человек таких фамилий, шедших по другим отраслям гражданской службы без всяких забот об иностранной политике, и 100 человек, шедших по военной службе. — У нас есть обычай, что если служащему человеку надобно или хочется съездить куда-нибудь по своим делам или для развлечения, он старается для формы достать какую-нибудь командировку, чтобы не считаться

в отпуск, чтобы формуляр не пестрил отпусками, чтобы время не пропадало для счета службы. Кто имеет связи, почти всегда — если хочет — получает такое поручение, отправляясь отдыхать в свою деревню на лето. Командировка состоит только в форме, без всякого действительного поручения, — иначе он и не взял бы ее. Очень возможно, что многие по знакомству получали такую же формальную командировку и когда езжали отдохнуть в Париж или в Баден-Баден. А западные наблюдатели, не зная нашего обычая, воображали, будто эти туристы действительно ездят с поручениями и инструкциями, и приписывали важность форме, основанной лишь на правиле обозначать в формулярных списках время отпусков вычетом из действительной службы. Вот из-за каких вещей могут иногда возникать недоразумения и подозрения у одной нации против другой. Нам очень легко смеяться над Кинглеком и англичанами, читая соображения, важно излагаемые им; но вспомним, что у нас самих точно такие же дикие понятия об англичанах, французах, немцах. Будем менее сообразительны и более заботливы о приобретении действительных сведений, — тогда будет спокойнее и для нас, и для других. Из-за таких-то вещей погибло более миллиона людей, разорены миллионы людей и в Англии, и у нас, и во Франции — урок хороший. И масса образованных русских тут отличалась не хуже англичан своею сообразительностью, как увидим ниже: если англичане очень умно сообразили, что мы — изверги, враги рода человеческого, то и мы, образованные русские, сообразили то же самое об англичанах. При такой догадливости можно ли было не начать англичанам и нам угощать друг друга ядрами, бомбами, картечью, пулями и палашами, в удовольствие г. Морни и г. Персиньи.

(42). Без сомнения, результат должен был быть таков, если было то, что воображает о нас Кинглек заодно со своими соотечественниками и остальными европейцами; но ведь в том-то и сила, что не было ничего такого, что они воображали. А из этой праздной фантазии, — подобно многим нашим фантазиям (например: англичане — сухие эгоисты; французы — народ легкомысленный; немцы — теоретики; испанцы — фанатики, и проч.), — из-за этой праздной фантазии вышел тот результат, что пролились реки крови и расточены были нашими тогдашними неприятелями и нами две, если не три или не больше, тысячи миллионов рублей.

(43). Вот уже «правители» вместо «нация». Кинглек сам не видит, что рассуждал вовсе не о том, что выходит у него теперь. Но мы увидим, что он же сам опять говорит потом: нет, честолюбие было не в правителях русской нации, а в ней самой. Эта путаница очень понятна. Фантазия всегда бывает сбивчива.

(44). Это также любопытная мысль: мы привыкли думать, что в нас, в русском народе, гораздо меньше религиозного фанатизма, чем в западных народах; справедлива ли такая сравнительная

наша оценка, я не знаю; но, по всей вероятности, мы не очень далеки от истины, думая, что мы, русские, народ, очень мало расположенный быть нетерпимым к иноверцам. Однакоже, вот видите, Западная Европа думает иначе, и посмотрите, какими убедительными фактами Кинглек подкрепляет мнение о нас, что в нас, русских, еще существует фанатизм, какой Западная Европа знала только в средние века. Факты его так сильны, что если бы речь шла не о нас самих, мы не могли бы не согласиться, что вывод вполне доказан. Это действительно любопытно. Дело известно нам по непосредственному ежедневному опыту, — и мы видим, что вывод несообразен с действительностью. Но согласимся же, что Западной Европе извинительно было ошибиться в этом вопросе, если можно когда-нибудь признать извинительность ошибки, несообразной с здравым смыслом; если же такие ошибки извинительны, то продолжение рассуждений и рассказа Кинглека покажет нам, что и русское общество делало в это время ошибки, такие же грубые.

(45). Правда, мы, как нация, не вели ни одной национальной войны с православными после времен Ярослава¹⁰⁴; да и междоусобия кончились уже очень давно; до Иоанна III мы и много дрались между собою, но эти драки были маловажны сравнительно с войнами против других народов, европейских и азиатских, которые все были не нашей веры; а с Иоанна III мы исключительно воевали только против иноверцев; даже смуты времен самозванцев казались нам тогда войною, затеянною против нас иноверцами для обращения нас в католическую веру.

(46). У всех русских историков написано и доказано это. В первый раз русская церковь спасла нашу народность при татарском иге; во второй раз восстановила русское царство, погибавшее при самозванцах. Кинглек знает русскую историю в том самом виде, в каком единодушно представляют ее все наши историки, от Карамзина до г. Соловьева и даже более новых, чем г. Соловьев¹⁰⁵.

(47). То есть Константинополем, — слышали, но далеко не все: большинство русских и до сих пор не знает, что существует на свете Константинополь или хоть Царьград, имя более знакомое; а из меньшинства, слышавшего имя «Царьград», чуть ли не большая половина едва ли не воображает, что это сказочный город, которого нет на свете. А «столица православия» для русских скорее всего — Киев или Москва. Между этими двумя городами выбор труден; впрочем, одни больше уважают Москву, другие — Киев; но никто не поставит в сравнение с ними какой-то неведомый Царьград.

(48). Когда турки воюют с русскими, русские действительно восхищаются, слыша от возвращающихся солдат рассказы о наших победах. Всякому народу приятно слышать о своих победах над врагами, какими бы то ни было. Но насколько русские про-

столюдины имеют понятие о турках, они воображают их людьми необыкновенно солидной честности, говорят: «вот они неверные, а в них больше правды, чем в нас», выставляют их за это друг другу примером подражания и вообще очень уважают. Это известно всякому слушавшему беседы простолюдинов или читавшему книжонки, составляющие литературу грамотной части их.

(49). Русские слыхивали об этом ровно столько же, сколько об Америке. Образованное общество имеет кое-какое понятие о сербах, болгарях, как и о чехах, о лужичанах. Но ведь Кинглек тут говорит о массе простолюдинов. Она знает только, что где <то> в землях турецкого султана есть Афонский монастырь и что в нем живут греки и что этим греческим монахам дана от их царя всякая воля и даются от него же большие подарки; поэтому многие даже предполагают, что этот царь едва ли и сам-то не православный ли. Турецкий султан, впрочем, магометовой веры, — это известно, — и от этого вопрос о царе афонских монахов несколько темен: он ли и есть султан, или он кто другой. Большинство уверено, что, точно, все он же и есть султан и что поэтому хотя султан и магометовой веры, но сам знает, что магометова вера — неверная, а что истинная вера — православная вера; почему он при таком образе мыслей не принимает христовой веры, неизвестно, но он уважает христову веру больше своей.

(50). Когда уже шла война на Дунае, и в особенности, когда союзный флот явился у Кронштадта, большинство образованного русского общества, — как и всегда бывает с большинством образованного общества всякой честной и немалодушной нации в подобных обстоятельствах, — прониклось воинственностью; г-жа Павлова, г. А. Майков и даже истинный поэт г. Тютчев стали писать стихи в том духе ¹⁰⁶, какой Кинглек предполагает постоянно существовавшим в массе русской нации; но эти стихи были не для народа, остались неизвестны ему; а публика, тогда хвалившая их, не думала ни о чем подобном до начала войны, точно так же, как и сами авторы стихов не занимались тогда подобными сочинениями.

(51). Нет, народ знал вовсе не то: он знал, что в военное время рекрутские наборы бывают чаще и в увеличенном размере, что села и деревни беднеют от войны, хотя бы она шла далеко от них, — что война всегда бывает тяжела мужикам, как и всем; поэтому народ желал сохранения мира; ниже мы увидим, что и русское правительство желало того же. Правительство было огорчено, когда увидело, что не может избежать войны с Англией и Франциею, — оно с самого начала видело, что турки — не больше, как авангард союзной армии; народ застонал, когда услышал: «началась война». В чувствах, с которыми смотрел на войну, народ был согласен с правительством, — разница была только в некоторых из мотивов одинакового прискорбия и в способе его выражения.

(52). Эти предсказания действительно приводятся в книгах г. Муравьева, известного путешественника ко святым местам. Но книги его неизвестны народу; духовенство вообще всегда находило их книгами, написанными с незнанием дела, исполненными грубых ошибок против православия, — ошибок, очень натуральных у человека, не имеющего понятий о предмете, за который берется. Это мнение духовенства я могу засвидетельствовать, потому что вырос в кругу духовенства. Подобные книги читаются только людьми, которых большинство наших епископов и священников считает, — и справедливо, — пустыми людьми, только прикидывающимися за усердных к церкви, а в самом деле бесполезнейшими для нее из всех ее сынов и дочерей. Народ не имеет ничего общего с этой частью публики, состоящею из праздных, преимущественно вдовых и бездетных пожилых барынь и праздных отставных чиновников пожилых лет. Это класс, не имеющий никакого значения ни в правительстве, ни в администрации, ни в церкви, ни в образованном обществе, ни в национальной массе.

(53). То есть нации, выдуманной Западною Европою с тою же основательностью, с какою нами выдумана легкомысленная французская или бездушно-расчетливая английская нация; как честь изобретения такой французской нации мы разделяем с англичанами, немцами и проч., — такой английской нации — с французами, немцами и проч., так честь изобретения такой русской нации англичане разделяют с французами, немцами и проч.

(54). Все это прекрасно; но недурно также вспомнить, что русский народ ровно ничего не знал об этом видении императора, основавшего Царьград; какие мнения имел он о самом Царьграде, насколько имел о нем какое-нибудь мнение, — мы уже говорили.

(55). Вид его на горизонте набожной толпы, конечно, будет еще эффектнее, если мы сообразим, что она и не слыхивала о существовании церкви св. Софии в Царьграде. О св. Софии писал г. Муравьев; но его книги написаны с таким мудреным красноречием, что народ ровно ничего не понял бы, если бы и читал их; а даже и грамотная часть народа не могла познакомиться с этими книгами, между прочим уж и потому, что цена им была не по карману народу.

(56). Император Александр I действительно сказал это, и сказал справедливо, только слова его относились к обстоятельствам совершенно не тем, к каким Кинглек, по примеру большинства ораторов и публицистов Западной Европы, вздумал применить их, спутавши факты совершенно разнородные. Геройская борьба греков против турок возбуждала сочувствие всех благородных людей в Европе, — и в Англии, и во Франции (вспомним Байрона). Образованные русские, узнав о ней и о ее благодетстве из европейских книг и газет, тоже одушевились сочувствием к подвигам и страданиям героев и героинь, мучеников и мучениц, и, например,

даже смиренный Гнедич, автор идиллии «Рыбаки», написал знаменитый гимн вождя, зовущего своих соотечественников на войну:

К оружию, о греки, к бою,
Вперед, за правых бог!
И пусть тиранов кровь рекою
Течет у ваших ног!

Без всякого сомнения, император Александр плакал от глубокого сочувствия этому гимну; по всей вероятности, и сам Гнедич, знаменитый мастер читать стихи, читал государю этот гимн; а положительный факт то, что император очень сочувствовал грекам. Но по тогдашним политическим обстоятельствам он¹⁰⁷ находил, подобно тогдашним правителям всех других великих европейских держав, что не должно начинать войны с Турциею для помощи грекам. Он боролся тут не с желанием массы русского простонародья, которая не слыхивала о Байроне, не читала ни Гнедича, ни газет, — он боролся с желанием русского образованного общества, с просьбами всех благородных людей Западной Европы, умолявших его вступить за греков, а главное, с влечением собственного сердца, желавшего помочь несчастным героям. Тут нет ровно ничего, относящегося к предмету, о котором идет речь у Кинглека.

(57). Это можно уже было бы оставить даже и без замечаний. Каждый из нас помнит, что русское духовенство столько же участвовало в возбуждении войны с Турциею, сколько в парижских событиях 2 декабря. Но вот попробуйте же скоро переубедить людей, набивших себе голову соображениями, лежащими на бумагу очень складно и грешащими только одним недостатком — незнанием с действительною жизнью русской нации. Но книжных сведений о ней у Кинглека очень много. Вероятно, лишь меньшинство из русских читателей имеет о своем отечестве столько исторических, статистических, географических знаний, как он. Прибавим: натурально и простительно, что он разделяет грубые ошибки, издавна повторяемые в книгах: он не жил среди нас. Но странно видеть русских, которые рассуждают хоть и не в таком направлении, но в таком же удивительном духе, как он, о жизни своего отечества. Перечитайте то, что писалось у нас о Крымской войне: большая часть написана также фантастично. Впрочем, пора прекратить замечания: читатель уже сам легко продолжит замечать ошибки Кинглека по мере того, как они будут встречаться, потому что ошибки эти будут лишь повторением или развращением основных, уже отмеченных нами.

(58). Читатель увидит, что лжи и не было, что русский император и в 1853—1854 году оставался таким же человеком, каким был прежде, что дело объясняется обстоятельствами, устраняющими всякую надобность предполагать перемену в нем: он только встретил своими противниками людей, каких еще не бывало между европейскими правителями его времени, — людей, у которых не было никаких правил и никаких убеждений и никаких целей, кро-

ме злонамеренного интриганства. Он не понял с первого раза, что за господа элизейские компаньоны, которые захватили власть во Франции, как не поняли тогда этого и английские правители — ни Абердин, ни Россель, ни даже Пальмерстон, вообразивший, что понял их, ни сам Ратклифф Стратфорд, которым безусловно восхищается Кинглек: все наделали ошибок, потому что не догадались с первого раза, что имеют противниками (наш государь) или товарищами (англичане) людей, у которых только одна цель — одинаково обманывать всех без разбора, и один принцип: без всякого колебания губить миллионы людей, если можно через это им самим добыть несколько миллионов франков. Не понять таких людей с первого раза — ошибка страшная; но [в ней был виноват не один император Николай] в ней были виноваты почти все правители и других великих держав, и особенно неизвинительна была она англичанам, которых и не щадит Кинглек: мы увидим, что он винит своих соотечественников гораздо больше, чем русского императора.

(59). Бывшему тогда министру иностранных дел.

(60). Вот оно, знаменитое выражение «больной», — «который умрет», — выражение, которое твердилось потом несколько лет в Европе; я попробую разобрать его и все эти разговоры с той точки зрения, которая кажется мне более основательною, чем тогдашние да и нынешние толки.

(61). Император говорит об известном плане Екатерины II завоевать Константинополь¹⁰⁸. Она действительно имела такую мысль; но не должно забывать, что когда окончательно очаровалась она этою надеждою, — около 1770 года, если не раньше, — отношения великих держав были совершенно иные. Австрия еще была постоянною союзницею России в войнах с Турциею; тогда можно было надеяться на устройство такой коалиции, в которой все державы, кроме Франции, были бы согласны отдать России Константинополь. Впоследствии, когда границы России раздвинулись на запад, Германия, Франция, Англия уже получили наклонность поддерживать Турцию как орду, связывающую действия соседа, которого они стали опасаться; нет никакого сомнения, что план завоевать Константинополь сформировался прежде, чем началось это опасение. Правда, что громкую известность получил он уже после этой перемены в расположении Западной Европы к нам; но принят он бы гораздо раньше, и Фридрих II уже в 1770 году вел с Австриею и Россиею переговоры, основанные на твердой его уверенности, что Екатерина II желает владеть Константинополем. — С той поры, как отношения России к Западной Европе изменились, — а они изменились в том смысле задолго до второй турецкой войны императрицы Екатерины, — сама Екатерина могла мечтать, и, вероятно, мечтала, о прежнем своем плане быть владычицею Босфора; но едва ли и сама она придавала тогда серьезное практическое значение этим мечтам;

мог увлекаться этим планом Потемкин; но едва ли с 1775 года завоевание Константинополя было серьезным практическим стремлением русской политики. Обстоятельства были уже не те. Поэтому надобно полагать, что император Николай говорил и совершенно прямодушно, и совершенно верно, выражаясь об этом проекте словом «мечта». И в политике, как во всех других делах, предубеждение долго переживает причину, его породившую, и очень часто овладевает настроением большинства только уже тогда, когда эта причина давно исчезла. Подробный разбор фактов, по всей вероятности, доказал бы, что в первой половине XIX века Западная Европа напрасно тревожилась тем, что покойный государь назвал теперь «мечтою». Но — это великое несчастье — русских публицистов не было в первой половине XIX века; да и западные публицисты не имели средств достаточно познакомиться с фактами нашей истории. От этого и Россия, и Западная Европа много страдали, не понимая друг друга: предубеждения по восточному вопросу, укоренившиеся в публике, привели, наконец, к такому прискорбному результату, как та напрасная война, о которой рассказывает Кинглек. Западная Европа не поверила и не могла верить императору Николаю, потому что 70 лет твердила противное его словам. А твердила потому, что не имела средств узнать истину о России заблаговременно. Английские и немецкие правители были увлечены общею ошибкою обществ, в которых жили.

Глава третья

Посольство князя Меншикова. — Французский флот идет в Саламин. — Требование, чтобы России предоставлен был протекторат над греческою церковью в Турции. — Стратфорд возвращается из своего отпуска в Константинополь. — Стратфорд дает мирную развязку палестинскому спору. — Движение французского флота в Саламинскую гавань возобновляет ссору в Константинополе. — Разрыв дипломатических сношений между Россией и Турциею. — Представители всех четырех западных великих держав в Константинополе соединяются во мнении, что Турция права. Вступление русских войск в Дунайские княжества. — Одна из причин ошибочных действий со стороны России — робость французского, австрийского и прусского посланников в Петербурге. — Другие причины: ошибочное понятие о характере английской нации: надежда на миролюбие первого министра, Абердина. — Напрасность справедливых предостережений со стороны русского посланника в Лондоне. — Меры сопротивления, принимаемые всеми четырьмя великими державами Западной Европы. — Австрия по своему географическому положению всегда может прекратить войну России с Турцией в европейской части Турецкой империи. — Пруссия, Англия и Франция поддерживают Австрию. — Венская конференция. — Элизейская политика сводит дело на другую дорогу. — Элизейское правительство объявляет английскому кабинету, что подчиняется его политике по восточному вопросу, и через это оно покупает его дружбу. — Из этого союза Англии с элизейским правительством выходит война. — Венская конференция становится посредницею между Россией и Турциею. — Турецкое правительство видит возможность обмануть Стратфорда и объявить войну России, в уверенности, что

Англия уже не может не поддержать Турцию в войне. — Англо-французский флот является в Босфоре. — Синопская битва. — Раздражение Европы и в особенности английской публики. — Английское правительство уступает тиранию общественного мнения и соглашается послать в Петербург требование, чтобы русский флот безвыходно держался в Севастопольской гавани. — Примирение, которое было уже совершенно устроено Венскою конференциею и Стратфордом, разрушается этим. — Дипломатический разрыв с Англиею и Франциею. — Русский император решает начать наступательные действия на Дунае. — Миролюбие английского кабинета. — Истинный характер знаменитого письма императора французам к русскому императору. — Воинственное настроение английской публики. — Влияние имен Абердина и Гладстона на воинственность английской публики. — Действия Венской конференции отрицают всякую серьезную надобность в войне. — Объявление войны Англиею и Франциею России.

В предыдущей статье мы остановились на том периоде дела, что Австрия послала Порте требование вывести войска из Черногорья, русский император решился объявить Турции войну, если она отвергнет это требование Австрии, и почел полезным сообщить через Сеймура английскому правительству некоторые объяснения на тот случай, если Порта откажется прекратить войну с черногорцами. По всей вероятности, она и отказалась бы, если бы не узнала, что за австрийским требованием последует более серьезное действие со стороны русского государя. Но так или иначе, турецкое правительство узнало это и повиновалось требованию Австрии, чтоб избежать войны с Россиею.

Русский император был очень обрадован тем, что черногорцы избавились от тяжелой для них войны, и стал выражаться теперь в том смысле, что причина воевать с Турциею отстранена ее уступчивостью, говорил английскому правительству, что будет действовать ему в охранении существования Турецкой империи, что для этого надобно «не тревожить Порту повелительными требованиями, высказываемыми в форме, унижительной для ее независимости и достоинства» *. Он покинул мысль воевать с Турциею, искренность этого решения доказывается тем, что тотчас же по получении известия о согласии Порты на требование Австрии он остановил покупку лошадей, нужных для начатия военных действий.

Но дело о палестинских спорах продолжалось; уже целый год русское правительство подвергалось неприятностям от турецкого по этому вопросу; а теперь, по случаю прежнего намерения государя вступить за черногорцев, были придвинуты войска к турецкой границе. Эта демонстрация, уже не бывшая теперь приготовлением к войне, все-таки должна была внушить Порте более внимания к требованиям русского правительства, и покойный государь решился послать в Константинополь чрезвычайного посла затем, чтобы принудить султана покончить спор по пале-

* Очевидно, что он разумел тут манеру действий французского правительства, которое прямо начало свои требования по палестинскому делу угрозою употребить военную силу для их проведения.

стинскому делу на таких условиях, которые, не оскорбляя римского духовенства, удовлетворяли бы требованиям России. На тот случай, если бы Порта сказала, что французское правительство стесняет свободу ее решения своими военными угрозами, русский император хотел отвечать настойчивым выражением готовности защищать Турцию от всякого нападения с Запада.

Послом своим покойный государь выбрал князя Меншикова, который прежде не получал занятий по дипломатическим делам.

Слух об этом посольстве сильно встревожил Порту. Севастопольский флот, — по прежней вероятности войны из-за черногорского дела, — был приготовлен к действиям; русские войска (по той же прежней вероятности) двигались в соседстве Дуная. Князь Меншиков приехал в Константинополь с блеском, показывая, что его поручение очень важно: сам он был одним из первых сановников Русской империи; на другой день по его приезде приехали в Константинополь командиры Черноморского флота и начальник штаба генерала Рюдигера¹⁰⁹, командира войск, собиравшихся близ Дуная. Это показывало Порте, что дело имеет очень серьезный характер. Мало того: Порта получила известия, что кавалерийский авангард 5-го корпуса уже подошел к молдавской границе; что русские заподражуют провиант у молдавских и валахских купцов; что Севастопольский флот стоит в готовности к отплытию по первому приказанию.

Турецкое правительство было страшно запугано всем этим; а князь Меншиков начал исполнять свое поручение с гордостью, усиливавшею страх. Он сделал визит великому визирю*, но не захотел соблюсти обычая, что посланник делает также визит и министру иностранных дел. Фуад-эффенди**, тогдашний министр, видя в этом прямое выражение нежелания князя Меншикова иметь сношения с ним, тотчас же подал в отставку. Вообще турецкое правительство видело в посольстве князя Меншикова намерение «вынудить у Порты какую-нибудь важную уступку, вредную независимости султана», — так выражался великий визирь и в своем страхе обратился к тогдашнему представителю Англии в Константинополе с просьбою о защите; он просил, чтобы английскому флоту, стоявшему в Мальте, приказано было притти в Вурлу***. Посланник лорд Стратфорд жил тогда в отпуску, в Англии; его место занимал полковник Роз (впоследствии получивший известность хорошего генерала во время индийского мятежа), человек отважного характера; он не побоялся принять на себя ответственность за меру, превышавшую его инструкции, и согласился на просьбу великого визира. Это придало бодрость Порте. Английское правительство отменило распоряжение Роза;

* Высший правительственный чин в султанской Турции. — *Ред.*

** Господин Фуад. — *Ред.*

*** Гавань на Малоазийском берегу, близ Смирны.

но телеграфная линия была тогда еще не по всему пути между Константинополем и Лондоном; пока пришло известие, что распоряжение, сделанное Розом, отменено английским правительством, Порты успела ободриться. А эта отмена смягчила русского императора; в половине марта он уже говорил умеренным тоном, внушавшим уверенность, что посольство князя Меншикова не поведет к серьезным столкновениям.

Но, кроме Лондона, Петербурга и Константинополя, ход дела определялся и в Париже. В то время, как оно принимало успокоительный вид в этих первых трех центрах действия, император французов приказал французскому флоту итти в Саламин. Английское правительство напрасно отклоняло его от этого распоряжения, в котором теперь уже не было никакой надобности, потому что гроза прошла. Русский император был сильно раздражен движением французского флота. Но он был очень доволен английским правительством за порицание ненужной меры императора французов, отношения между Россией и Англией стали так дружелюбны, что, повидимому, исчезла всякая возможность ссоры. Граф Нессельроде говорил Сеймуру, что Россия не имеет других причин неудовольствия на Турцию, кроме палестинского дела, да и об этом деле стал говорить мягче прежнего. Эти уверения казались искренними.

Между тем в Константинополе князь Меншиков выразил русские требования по палестинскому делу, — Порты видела его готовым к уступчивости в этом вопросе, но с тем вместе у него было другое требование, более важное: в надежде на тревогу, произведенную движением русских войск, русский император думал вынудить у Порты, чтобы России предоставлено было протекторство над греческою церковью в Турции. Сначала князь Меншиков говорил темно, в неопределенных выражениях намекая, что у него есть важное требование, но не высказывая, в чем оно состоит. Потом стал говорить турецким министрам, что если они хотят смягчить неудовольствие русского царя и избавить свое государство от опасности, то лучше всего им отстраниться от Англии и Франции, совершенно ввериться великодушию русского императора и начать это тем, чтобы дать его посланнику торжественное обещание, что они не будут ничего сообщать представителям западных держав о переговорах, которые он начнет с ними. «Мы знаем, — говорил великий визирь представителю Англии, — что цель посольства князя Меншикова — заключить с нами тайный договор о союзе. Он еще не требовал этого официально, но уже говорил лицам, могущим служить посредниками между ним и нами, что напрасно мы надеемся на Англию и Францию, что мы должны были бы, наконец, видеть из опыта, что мы много потеряли и ничего не выиграли, следуя их политике и совету. Он то старается привлечь нас уверениями в миролюбивости намерений своего правитель-

ства, то доказывает ошибочность нашей приверженности к Англии и Франции, говоря, что правительственное устройство этих стран не сходно с нашим, а австрийское и русское сходно». Великий визирь прибавлял, что два дня тому назад князь Меншиков выразил министру иностранных дел желание вступить в тайные переговоры, но что турецкое правительство решительно отказалось утаивать что-нибудь от представителей Англии и Франции. На деле, вероятно, было наоборот: кто-нибудь из министров дал обещание хранить тайну от этих держав, потому что через несколько дней князь Меншиков нашел возможным начать переговоры. Он сказал, что русский император желает вступить в тайный союз с Турцией и обязаться защищать ее своим флотом и 400 000-ю армиею против всякого нападения с Запада. «Взамен такой поддержки, — сообщил великий визирь представителю Англии, — Россия потребовала тайного дополнения к Кучук-Кайнарджийскому трактату, в том смысле, что Россия получает протекторат над турецкими подданными греческого исповедания. Князь Меншиков выразил это под условием величайшей тайны и сказал, что немедленно уедет из Константинополя, если Турция откроет Англии его требование».

Подобное требование можно было бы сделать во время страха, наведенного на Порту прибытием русского посла. Но теперь был конец марта, — а уже с 6 марта * Порты была успокоена распоряжением Роза, чтобы английский флот шел в Левант. Потому министр иностранных дел Рифат-паша не поддался на требование князя Меншикова и сообщил дело Розу, со словами: «Я не ребенок; я старик, знающий трактаты, связывающие Порту с Англиею и Франциею, очень хорошо понимаю важность дружбы этих держав и вред нарушения обязательств наших перед ними».

После отказа Порты в Константинополе было получено известие, что в Бессарабии делаются приготовления для перехода 120 000 русских войск через Дунай и что батальоны их отовсюду идут к границе. Порты сильно встревожилась. Но в это время, — 5 апреля 1853 года, — возвратился в Константинополь английский посланник Стратфорд Каннинг и дал делу твердый ход **.

* Все числа в этой статье по новому стилю.

** Кинглек очень высоко ценит дипломатическое искусство Стратфорда, — он любимое лицо автора. Мы увидим, что и точно, он действовал очень искусно; но все-таки и он, как мы увидим еще дальше, попался в ту же ошибку, как другие: Стратфорд решительно не хотел войны — и, однакоже, не менее кого бы то ни было послужил орудием к ее произведению. Читатель увидит, что я не нахожу справедливым порицать и его, хотя он больше чем кто-нибудь другой был бы достоин подвергаться ответственности перед историею за ошибку, в которой участвовал одинаково с своими дипломатическими противниками, — больше, чем кто другой был бы достоин личного порицания потому, что по своему уму, опыту и искусству скорее других должен был бы понять, какая игра ведется французским правительством, к чему ведет она и как надобно поступать, чтобы отвратить эту игру

Стратфорд издавна был главным противником русского правительства в борьбе за «влияние» на Порту. Нравственное господство над чужеземным правительством, которое обозначается этим именем, само по себе — выгода незначительная *, но борьба заинтересовывает собою борющихся как игра, хотя бы выигрыш и был неважен. Стратфорду давно удалось выиграть, и турецкие министры привыкли видеть в нем своего руководителя. Он уже два года был в отпуску, потому что не встречалось таких важных обстоятельств, которые принудили <бы> его бросить от-дых; но когда английский правительство, в феврале, увидело, что из-за черногорского вопроса выходят серьезные столкновения в Константинополе, Стратфорд поехал туда. Инструкция, данная ему при отъезде, говорила, что он должен стараться внушать благоразумие Порте и советовать быть снисходительными относительно нее тем державам, которые обращались бы к ней с настойчивыми требованиями; что при проезде через Париж он должен напомнить французскому правительству, что интересы Франции и Англии на востоке тождественны, и объяснить, что Франция может довести султана до гибельного положения, если будет слишком угрожать ему по вопросу, в котором для ее удовлетворения он должен раздражать Россию; в Константинополе Стратфорду предоставлялась полная свобода действовать по его собственному усмотрению, лишь бы только как-нибудь уладить возникшие неприятности между Турциею и Россиею; он должен был сказать султану следующее: «Существование турецкого правительства находится в положении очень опасном. Многочисленные несправедливости, на которые жалуются христианские подданные его и которых оно не может или не хочет устранить; плохое управление делами; возрастающее ослабление государства — все это вместе привело к тому, что в последнее время союзные Порте державы стали говорить с нею новым тоном, который внушает беспокойство за Турцию; если это продолжится, то приведет к общему восстанию христианских подданных Порты, погубит ее независимость и целость; подобная катастрофа была бы очень прискорбна для английского правительства, и оно считает своею обязанностью представить на внимание турецкому правительству, что некоторые из великих европейских держав считают катастрофу вероятною и близкою». — «Вы объясните султану, что английское правительство, приказывая вам возвратиться в Константинополь, имеет именно ту цель, чтобы через

и выходящую из нее войну. Но — ошибались одинаково все, от Абердина до Пальмерстона, от русского покойного государя до Стратфорда: кого же тут надобно по справедливости порицать? — Всех вместе и никого лично. Но и всех вместе — нельзя порицать строго: все действовали под влиянием увлечений, каждый — своего большинства публики.

* Это любопытная оценка со стороны Кинглека, который сам имеет привычку и пристрастие заниматься дипломатической борьбой за влияние на иноземные правительства.

вас выставить султану эти опасности, — и ту надежду, что через это они будут отвращены. Вы постараетесь убедить султана и его министров, что настоящий кризис требует от них величайшего благоразумия и доверия к искренности и основательности советов, которые они будут получать от вас и которые одни могут развязать дело в пользу мира и независимости Турции». — Инструкция (писанная министром иностранных дел Кларендоном¹¹⁰, под руководством самого Стратфорда) продолжала, что Стратфорд обязан настойчиво внушать Порте необходимость реформ, какие найдет нужным по своему близкому знакомству с состоянием Турции, и потом говорила: «Вы не умолчите султану и его министрам, что упорствование их в нынешнем их образе действий*, наконец, отнимет у них симпатию британской нации, а у английского правительства — возможность укрыть их от нависнувшей над ними опасности и пренебречь требованиями христиан, подвергающихся естественным следствиям неблагоприятной политики Порты и безрассудного, дурного управления»**. В заключение инструкция давала Стратфорду право послать в случае надобности адмиралу флота, стоящего у Мальты, приказание быть в готовности к отплытию, но делала оговорку, что Стратфорд не может собственною властью дать флоту приказание действительно отплыть из Мальты и приблизиться к Дарданеллам. Так велика была забота английского правительства предотвратить возможность движения, которое было бы неприятно русскому государю. Поэтому опора материальной силы, представляемая Стратфорду, была совершенно ничтожна: он не мог сделать ничего больше, как послать флоту извещение быть в готовности к отплытию; и при всей ничтожности этого полномочия, Стратфорд не захотел воспользоваться даже им; и все-таки он успел явиться силою, уравновесившею 140 000-е войско и Севастопольский флот, которыми, по мнению турецкого правительства, располагал русский посланник.

Стратфорд имел по характеру много природного сходства с покойным русским государем: он также был человек гордый, любивший повелевать, не расположенный предпочитать лживую мягкость прямому суровому тону, когда считал себя вправе быть недовольным и упрекать, имел склонность быть прямым и резким с людьми, которых находил плохими. Поэтому турецкие правители, радуясь приезду своего руководителя, на ум и твердость которого возлагали полнейшую надежду, в то же время и

* То есть, преимущественно в системе, по которой христиане не пользуются одинаковыми правами с мусульманами; главною и любимую мыслью Стратфорда было: христиане должны быть совершенно сравнены в правах с мусульманами — между прочим и иметь доступ к высшим правительственным и военным должностям; только это может спасти Турцию от распада!

** Не правда ли, каждый русский с удовольствием подписал бы эту инструкцию, если бы ему предложили выразить свое мнение о сущности мыслей его по делам турецких христиан?

трусили: они предчувствовали, что он будет сильно упрекать их, когда узнает о их робком двоедушии, и что он будет требовать от них серьезного исправления политической системы, которую считает вредною для Турции. Великий визирь и Рейс-эффенди, рассказывая ему в первое свидание о своих действиях и обстоятельствах, по трусости утаили многое, что уже открыли Розу, которого не боялись. Стратфорд видел, что факты не клеятся с их рассказом, и сначала подумал, что они хотят обманывать Англию. Но когда он переговорил с Розом, он увидел, что они действительно желают искренно опереться на Англию, а скрытничали перед ним только по той же трусости, по которой двоедушничают перед Россиею. Стратфорд взял их в руки и повел дело к мирной развязке твердо и искусно. Он очень верно сообразил, что для успешного примирения столкновений прежде всего надобно распутать путаницу, вкравшуюся в них. Несогласия России с Турциею имели две стороны, совершенно различные: во-первых, справедливые неудовольствия России на Турцию по палестинскому делу; сам по себе этот предмет спора был мало важен, и его решение затруднялось только придирчивою наглостью французского правительства. Но если удастся устроить, чтобы Франция не придиралась к палестинскому делу, Стратфорд ожидал важного выигрыша от его развязки: когда переговоры освободятся от этой неприятности, можно будет прямее и сильнее противиться новому и уже очень серьезному требованию России, — требованию протектората над религиозными делами турецких подданных греческого исповедания. Он указал эту дорогу турецким правителям и повел их по ней под руку¹¹¹.

«Вы еще не знаете хорошенько, чего именно хочет Россия по важному делу о протекторате, — сказал он им, — если русское требование действительно будет несогласно с независимостью Турецкой империи, вы останетесь правы, отказавшись согласиться на него. Но, — прибавлял он, — вы должны будете прямою властью вашего правительства исправить те дурные вещи, которые заставляют Россию желать и требовать протектората». — Переговорив сам с князем Меншиковым, Стратфорд увидел, что не ошибся: русский посланник хотел вынудить исключительный протекторат для одной России, с устранением других великих держав от совместничества с нею по влиянию на Порту. Тем яснее показалась Стратфорду надобность вести дело именно так, как он предположил с первого раза*.

* Ниже мы увидим, какую прискорбную — без сомнения, и для него самого — ошибку сделал Стратфорд, взглянув на столкновение Турции с Россиею по делу о протекторате как на обыденный вопрос о том, какому влиянию преобладать в Константинополе, русскому или английскому. В этом обыденном вопросе Стратфорд был противник России. Но он, хоть и враг наш по этой мелочи, по этой игре из-за выигрыша или проигрыша для национального или правительственного самолюбия, нашего и английского, он

Стратфорд начал частным образом говорить с князем Меншиковым о палестинском деле, говорил уступчивым к России тоном; князь Меншиков, видя его расположение употребить все усилия для удовлетворения России по этому вопросу, также смягчился. Тогда Стратфорд сказал ему, что знает о его требовании протектората и что это желание России, по его убеждению, «будет встречено упорным отказом со стороны Порты и не одобрением даже со стороны наиболее расположенных к России держав»; князь Меншиков в ответ ему доказывал, что оно «не так огромно и важно», как ему передали, и, по общему согласию, оба они положили «отсрочить переговоры по этому вопросу, который мог бы вести к раздражению», а прежде кончить палестинское дело. Князь Меншиков прибавил, что «несмотря на огромную важность, какую имеет для русского правительства требование протектората, нет опасности, чтобы в случае несогласия Порты на него были приняты неприязненные меры, — самое большое, что может выйти: холодность между Россией и Турцией и, быть может, перерыв дипломатических сношений между ними, но, может быть, и дипломатического разрыва не будет».

Желания России по палестинскому делу были умеренны. Русский государь понимал, что уже нельзя требовать отмены преимуществ, данных римскому духовенству, что это значило бы делать неприятность всей католической части Европы. Но, выражая умеренные желания, он был в них очень тверд. А резкий, угрожающий тон Лавалетта и прибытие тулонского флота в Саламинскую бухту отнимали, повидимому, надежду, что французский посланник, сменивший в Константинополе Лавалетта де ла Кур, может выказать уступчивость по этому делу. Сам де ла Кур сначала так думал. Но Стратфорд, проезжая через Париж,

был человек честный, думавший о благе своего отечества, — а благо Англии тут сходилось с благом России: отвращение войны. Если бы хоть он один во-время заметил, что дело — мимо воли русского и английского правительств — идет к войне, то, конечно, и у него, и у наших правителей не оказалось бы недостатка ни в честности, ни в разумном патриотизме, чтобы, бросив игру, серьезно сказать в один тон: «довольно, мы могли соперничать, пока дело шло о дипломатическом влиянии; но если кто хочет повернуть дело в раздор, менее безвредный для обеих наших держав, Англия и Россия не имеют ни охоты, ни надобности изнурять себя и волновать Европу». К сожалению, никто во-время не заметил, как дело повертывается на войну между Англией и Россией. — Сделав эту оговорку, что Стратфорд наделал себе в результате не меньше огорчения, чем кому бы то ни было в русском государстве, я считаю справедливым признать, что по обыденному делу он мастерски восторжествовал над нами. Конечно, не только всякий из английских министров, но и сам он охотно согласился бы подвергнуться десятку таких проигрышей, как эта его дипломатическая победа, лишь бы отклонить от Англии вред, какой получила она от искания этой победы Стратфордом. Он сорвал копеечный банк, а тем временем, как он сорвал его, под этот безвредный и пустой шумок устроилась биржевая спекуляция в пользу Морни и К^о, обошедшаяся Англии, России и Франции в полмиллиарда рублей, если не больше, каждой сестре.

увидел, что де ла Кур может действовать мягко, и убедил его в этом *. Поэтому дело быстро пошло к удовлетворительной развязке.

Ключи от главной двери Вифлеемской церкви были уже отданы римскому духовенству, серебряная звезда уже поставлена над алтарем ее. Князь Меншиков и не говорил, чтобы были отменены эти факты, уже совершившиеся. Он требовал только, чтобы турецкое правительство объявило, что передача ключей не означает отдачи главного алтаря церкви в исключительное владение латинского духовенства; чтобы часы отправления служб в нем духовенством разных исповеданий не были изменяемы; чтобы привратником у главной двери церкви попрежнему остался греческий священник; чтобы постановка серебряной звезды над алтарем была считаема делом благорасположения султана, не дающим латинскому духовенству исключительных прав над этим алтарем. Были, как мы видели, другие, еще менее важные вещи, по которым Порты не выполняла требований Франции; князь Меншиков хотел, чтобы по этим вопросам все было оставлено на прежних правах. Главнейшим из них был вопрос о том, какому духовенству принадлежит право произвести починку в куполе иерусалимской церкви Св. гроба и как поступить с некоторыми домами подле этой церкви, чтобы латинское духовенство не присвоило себе эту местность, соседнюю с церковью. Князь Меншиков хотел, чтобы дома были сломаны для предотвращения всякого будущего спора из-за них. По делу о поправке купола турки предлагали сделать ее на свой счет, чтобы отвлечь спор латинского и греческого духовенства о праве делать ее. Князь Меншиков соглашался, чтобы поправка была произведена на счет султана; но, в удовлетворение греческому духовенству, которому прежде принадлежало исключительное заведывание этим куполом, он хотел, чтобы поправка производилась под надзором греческого иерусалимского патриарха.

Французский посланник, держась своих инструкций, считал обязанностью противиться некоторым из этих требований, но по личным своим разговорам в проезд через Париж и по депешам из Англии Стратфорд раньше де ла Кура понял, что французское правительство решило безусловно подчиняться мнению английского, и объяснил это де ла Куру. Узнав от турецких министров, что князь Меншиков не сделает уступки в трех пунктах: починке купола, часах службы в Вифлеемской церкви и в привратничестве греческого священника у главной двери ее, он сказал де ла Куру: в этих требованиях Россия права; вы

* Читатель увидит, что в этом и заключался первый обман, на который была поймана Англия. Франция уступила ей по палестинскому делу, чтобы, расположив ее к себе этим, затягивать ее в свою систему по делу о протекторате.

должны уступить по ним, — и де ла Кур уступил, поняв необходимость подчиняться решению Англии.

Итак, дело казалось улаженным, начались между князем Меншиковым и де ла Куром переговоры о его развязке. Но в этих переговорах противники разгорячились; чтобы успокоить их и покончить дело, Стратфорд увидел надобность выступить прямым посредником между ними и достиг полного успеха. Французский посланник находил щекотливым требование, чтобы греческое духовенство раньше латинского отправляло службу на алтаре Вифлеемской церкви; Стратфорд убедил его смотреть на это не как на предпочтение прав одного правам другого, а просто как на вопрос об удобстве для обоих, — потому что в греческой церкви литургия совершается в более ранние часы, чем в католической. В таком духе были улажены все несогласия, и палестинское дело было разрешено обоюдным согласием на следующих условиях: ключи главной двери Вифлеемской церкви остаются у латинского духовенства, звезда остается на своем месте; но эти факты не предоставляют никаких новых прав римскому духовенству; привратником церкви остается попрежнему греческий священник; служение на алтаре ее совершается сначала греческим духовенством, потом армянским, потом римским (вставка армянского духовенства отнимала у решения всякий вид предпочтения одного духовенства другому). Купол церкви Св. гроба будет поправлен на счет султана; но греческий иерусалимский патриарх имеет право надзирать, чтобы при поправке не было сделано никаких отступлений от прежней формы купола. Дома, выходящие окнами на террасы церкви Св. гроба, не ломаются, но окна в них забиваются наглухо.

22 апреля, через 17 дней по приезде Стратфорда, было уже подписано это миролюбивое соглашение по делу, более двух лет тревожившему Европу. Турецкое правительство, русский и французский посланники благодарили Стратфорда за его полезное посредничество.

Князь Меншиков и вообще стал выказывать мягкость благодаря успокоивающему влиянию Стратфорда на французского посланника и Порту. 12 апреля английский посланник еще находил, что князь Меншиков говорит и действует в миролюбивом духе, согласном с уверениями, которые давал граф Нессельроде Сеймуру в марте. Но 13 апреля князь Меншиков получил из Петербурга новые депеши, написанные в резком тоне. Причиною перемены был тот поступок французского правительства, о котором мы уже говорили: оно уверяло английских министров, что следует их политике; но без сношения с ними и без всякой надобности послало флот из Тулона в Саламин. Русский император, раздраженный этим, послал князю Меншикову приказание быть требовательнее и настойчивее. Князь Меншиков почел бесполезным отступать от миролюбивого образа действий

по маловажному палестинскому делу, и оно, как мы видели, уладилось через несколько дней по получении этих депеш, но он тотчас же возобновил сильные настояния, чтобы Порты предоставила России протекторат над турецкими подданными греческого исповедания. Сущность требования состояла в том, чтобы Турция формальным договором с Россиею обязалась сохранять неприкосновенными все существующие права греческой церкви. Тогда, по каждой жалобе какого-нибудь греческого епископа на притеснение, Россия имела бы формальное право вмешиваться во внутренние дела Турции. Подобное право вступаться за турецких подданных католического исповедания давно принадлежало Австрии; но число католиков в Турции незначительно, а турецкие подданные греческого исповедания составляют массу более чем в 10 миллионов, — огромное большинство населения в европейской части Турции. В этом состоит разница, по которой право, неважное в руках Австрии, делалось бы очень опасным для самостоятельности Порты, если бы предоставлено было России. Русское правительство говорило, что косвенным образом это право уже признано за ним прежними трактатами Турции с Россиею.

На другой же день по получении новых инструкций, сказали мы, князь Меншиков поехал к министру иностранных дел сильно требовать трактата, дающего России такую власть. Но Рифаат-паша уже получил от Стратфорда наставление, как держать себя, и отвечал спокойно, умеренно, совершенно твердо: «заключить подобный трактат значило бы дать России исключительный протекторат над всем населением греческого исповедания». — Князь Меншиков увидел, что Рифаат-паша не более как выражает решение Стратфорда, и 19 апреля, послав Порте грозную ноту, в которой очень резко повторял свое требование, 20 апреля прочел прямо Стратфорду проект трактата, которого требовал, говоря, что Россия желает иметь только точно такое же право, какое признано Турциею за Австриею.

Стратфорду хотелось покончить палестинское дело прежде, чем вступать в подробные объяснения по этому вопросу, но все-таки он тут же прямо высказал русскому послу свой взгляд: «Русское правительство находит, что оно требует только формального и ясного признания за ним права, уже принадлежащего ему по прежним договорам, в которых султан обязывается охранять религиозную свободу своих подданных греческого исповедания; нет: дать обещание еще далеко не то, что предоставить иноземной державе право контролировать действия правительства по исполнению этого обещания; подобное право вмешательства, неважное в руках Австрии, может стать опасным для Порты в руках России: основанием для влияния Австрии на внутренние дела Турции могут служить только малочисленные католики, а покровительство России простиралось бы на десять миллионов турецких подданных».

Этого взгляда неотступно держались теперь все турки, и все держали себя по наставлению Стратфорда, растолковавшего им, как следует смотреть на дело и как поступать: грозил ли, или ласкал князь Меншиков, настаивал ли на своих требованиях в частных разговорах с тем или другим сановником Порты, или получал аудиенцию у султана, — он постоянно встречал во всех одну и ту же любезную, почтительную твердость, одну и ту же умеренность, против которой нельзя было ничего сделать. Ясно было, что все руководятся советами одного человека, Стратфорда. Князь Меншиков послал в Петербург отчет об этом положении дела и в начале мая получил инструкции столь решительного тона, что ему не оставалось ничего больше, как прекратить переговоры и уехать из Константинополя с разрывом дипломатических сношений между Россией и Турцией.

А в промежуток времени от отправления его отчета до получения ответа из Петербурга уже исчезла возможность найти удовлетворительный формальный предлог для разрыва. Когда он писал свою угрожающую ноту 19 апреля, палестинское дело было еще не кончено, — Россия была права в нем, оно давало удобный формальный предлог для выражения всякого гнева. Но 22 апреля дело это было разрешено полным примирением. Существенное требование России, — протекторат над турецкими подданными греческого исповедания, — было требование уступки, согласие или несогласие на которую зависело от свободной воли Порты, отказ в которой не составлял обиды для России. А у князя Меншикова уже не было другого основания для разрыва.

5 мая он сообщил министру иностранных дел проект «сенеда», или конвенции, которую Турция должна заключить с Россией. По этому проекту султан принимал на себя обязательство сохранять неприкосновенным решение, данное палестинскому делу, — согласие Порты на это было формальностью, в которой Россия не могла встретить отказа; но, сверх того, султан обязывался перед Россией сохранить неприкосновенными все права, которыми в настоящее время и в прежние времена пользовалась греческая церковь. Это значило давать России протекторат над греческою церковью, как мы видели. В ноте, при которой посылался проект конвенции, князь Меншиков говорил, что будет ждать ответа до следующего вторника, 12-го числа, а «дальнейшее промедление сочтет неуважением к русскому правительству, возлагающим на него обязанность, очень прискорбную для него». — Министр иностранных дел поехал за советом к Стратфорду; Стратфорд сказал, что надобно поступить, как прежде: быть готовым на всякие уступки, совместные с независимостью Турции, держать себя любезно, но в этом требовании твердо отказать. Князь Меншиков также приехал к Стратфорду, сказал, что истощилась вся мера его терпения и что русское правительство не может долее оставаться в положении, не дающем

России таких прав по охранению ее единоверцев, какими пользуются другие державы (т. е. Австрия).

Стратфорд отвечал на это через несколько дней письмом, в котором со всевозможною деликатностью говорил, что не считает справедливым взгляд князя Меншикова. Князь Меншиков отвечал, также письмом, что не находит возможным согласиться на такое мнение Стратфорда. Итак, ясно было, что князь Меншиков считает своею обязанностью прекратить переговоры и уехать из Константинополя с разрывом. Стратфорд видел необходимость в двойной заботе: чтобы турецкое правительство не струсило дипломатического разрыва с Россией и чтобы осталось право в нем перед Европою. Он отправился в тот же вечер к великому визирю; там были министр иностранных дел и сераскир *. Днем, когда они виделись с де ла Куром, они казались перепуганными мыслью о разрыве. Но теперь боязнь суровых порицаний Стратфорда заглушала в них всякий другой страх или заставляла притворяться: они все трое говорили, что не согласны на требуемую конвенцию. Стратфорд попрежнему сказал: «Да, твердо откажите, но будьте деликатны, готовы на всякие возможные уступки, и, отказываясь дать иноземному правительству протекторат над греческою церковью, собственною властью вы должны обнародовать фирман, дающий христианам всю ту неприкосновенность прав, которую желает охранять Россия; мало того: вы должны обеспечить христианам неуклонность вашу в соблюдении этого фирмана сообщением его всем пяти великим державам». Турецкие сановники сказали, что так и сделают.

Зная, что получит от министров отказ, князь Меншиков решил просить аудиенцию у султана. Стратфорд узнал об этом, предупредил его и получил аудиенцию 9 мая; он введен был, как следует по форме, министром иностранных дел; тотчас же министр ушел, и Стратфорд, оставшись наедине с султаном, говорил, что надобно действовать так, как действовали турки до сих пор, и не пугаться: «Если ваше величество также отвергнете требования князя Меншикова, как уже отвергли ваши министры, то, вероятно, он сделает разрыв и уедет, — быть может, со всем посольством; очень возможно даже и то, что Дунайские княжества будут временно заняты русскими войсками. Но я убежден, что при настоящих обстоятельствах Россия не объявит войну, не сделает никакого шага открытой неприязни: русский император не мог бы сделать этого без нарушения своих торжественнейших уверений, и вся Европа осудила бы его. Потому надобно держаться твердо и уверенно, даже в случае занятия Дунайских княжеств только протестовать». Султан был бледен, но сказал, что он так и сделает. Тогда Стратфорд сказал, что

* Главнокомандующий турецкими войсками или военный министр в султанской Турции. — *Ред.*

имеет сообщить нечто, чего не сообщал министрам, что желала сообщить только прямо ему: «в случае близкой опасности я имею инструкцию приказать командиру английского флота в Средиземном море держать свой флот в готовности». Само по себе это уполномочие было очень мало и неважно. Но, сообщенное таким серьезным и торжественным образом, оно показалось столь важно, будто было уже обещанием вооруженной защиты, и, слыша это известие от султана, министры тоже придали ему необыкновенную важность.

На другой день (10 мая) князь Меншиков получил от министра иностранных дел письмо, содержащее в себе любезный, но решительный отказ, и отвечал на него резкою нотой, в которой говорил, что не принимает этого письма за ответ, что Порта систематически уклонялась от соглашения с Россией, что он считает свое поручение оконченным, должен прервать сношения с министрами султана, слагая на них ответственность за последствия, могущие произойти из этого, и заключал требованием ответа на свою ноту (11 мая) в течение трех дней. — Через два дня он, мимо министерства, получил частную аудиенцию у султана. По ее окончании султан послал за великим визирем; великий визирь не поехал и подал в отставку: султан нарушил правительственные обычаи, дав аудиенцию иноземному послу без ведома своего министерства. Но и новое министерство составилось из людей, державшихся одного мнения с прежним по вопросу о русском протекторате.

Был тогда слух, что султан не показал твердости на аудиенции князя Меншикова, но скоро убедились, что он не высказал ему никаких важных обещаний, и едва ли не отвечал на все настояния одними только словами: «ведите переговоры с моими министрами». Князь Меншиков согласился на желание нового министра иностранных дел (Решид-паши), чтобы по случаю перемены министерства срок для ответа на ноту 11 мая был несколько продлен; но объявил, что неизбежным и немедленным следствием отказа будет отъезд его со всем русским посольством. Великий совет Порты 42 голосами против 3 постановил остаться при прежнем решении: отказать. 18 мая Решид-паша приехал к князю Меншикову, чтобы изустно объяснить ему, каковы крайние уступки, на которые могла бы согласиться Порта. Султан готов издать фирман, подтверждающий все религиозные права его подданных греческого исповедания; готов уступить во всех других делах желанию России, не может согласиться только на протекторат.

Князь Меншиков, не дожидаясь письменного уведомления об этом, в тот же день послал Порте ноту, в которой говорил, что принимает отказ за оскорбление русского правительства, прерывает переговоры и уезжает со всем посольством; что русское правительство будет теперь находить в собственном могуществе ту гарантию, которую Порта не захотела дать ему трак-

татом, и что всякое нарушение прав греческой церкви в Турции будет сочтено за неприязненное действие против России (18 мая).

На другой день (19-го) Стратфорд пригласил собраться посланников всех трех остальных великих держав (Австрии, Франции, Пруссии). Все они и он оказались согласны во взгляде на дело: признавали основательность отказа в протекторате; признавали, что турецкое министерство действовало примирительно; что полезно было бы отвратить разрыв его с русским правительством; что для этого полезно было бы дать русскому правительству способ покинуть требование протектората без стыда; что для этого все они готовы сделать все, совместное с честью и интересами их держав. Собрание решило, чтобы австрийский посланник отправился к князю Меншикову сообщить ему о прискорбии, с которым представители четырех великих держав видят разрыв между Россиею и Турциею; выразить, с каким живым удовольствием увидели бы они мирное решение вопроса, если оно еще возможно; спросить, примет ли он частным образом ноту, которую пришлет ему Порта, и желает ли рассмотреть ее с спокойным вниманием. Князь Меншиков остался непреклонен. Он отослал назад ноту, присланную ему Портою. Но вечером 20 мая, согласился сделать уступку в форме: удовольствоваться тем, если Порта не конвенциею, а дипломатическою нотою примет на себя обязательство, которого он требовал. Поэтому он, хотя уж и прекратил официальные отношения с Портою, частно передал Решиду-паше проект ноты, которою Порта удовлетворила бы Россию. Решид-паша тотчас же послал этот проект Стратфорду для рассмотрения в собрании министров четырех великих держав, совета которых просил. Они собрались, все совершенно согласились с мнением Стратфорда и подписали меморандум, говоривший, что «Решид-паша — лучший судья того, как надобно поступить». Они знали, что Решид-паша будет отвечать князю Меншикову отказом. Получив его отказ, князь Меншиков занялся сборами к отъезду; но узнал (21 мая), что Порта намерена обнародовать фирман, гарантирующий права греческой церкви в Турции. Ясно было, что она исполняет этим волю Стратфорда, — и князь Меншиков, несмотря на то, что уже прекратил сношения с турецким правительством, послал Решид-паше формальную ноту, в которой говорил, что подобный образ действий прямо показывает, что требование России отвергнуто только по неприязненному чувству к ней. Отправив эту ноту, он сел на корабль и отплыл. В тот же день русский герб был снят с дома, который занимало русское посольство.

Получив от князя Меншикова отчет о ходе и развязке дела, русский император нашел нужным выразить свой гнев мерою более сильною, чем обмен депеш. Он не хотел войны и не был готов к ней. Приготовления к походу были остановлены с первых чисел марта. Но русские войска уже давно были придвинуты к

Молдавии и Валахии. Эти княжества были в особенном отношении к России, дававшей ей нечто подобное протекторату над ними; она даже имела право посылать в них свои войска в случае каких-нибудь смут в них. Теперь ни в Молдавии, ни в Валахии не было никаких смут; но все-таки, судя по своим признанным правам, русский император полагал, что занятие этих княжеств его войсками не будет действием, равнозначительным прямому объявлению войны Россиию Порте.

31 мая граф Нессельроде послал Решиду-паше письмо, настаивавшее, чтобы Порта приняла проект ноты, составленный для нее князем Меншиковым, и говорившее, что если до истечения недели Порта не пошлет России эту требуемую ноту, то в непродолжительном времени русские войска перейдут границу, чтобы «силою, но без войны» получить от Порты требуемое обязательство. Но турецкое правительство, когда получило это письмо, уже находило Англию и Францию обязанными защищать владения султана даже прямыми военными действиями английских и французских военных сил против России *, и прежде чем кончился срок, данный графом Нессельроде, французский и английский флоты уже стали в Бешикской бухте **; видя за себя такую опору, Порта послала отказ.

Все кабинеты великих держав ***, — в том числе и петербургский, — заботливо стали искать мирного выхода из этого натянутого положения. Усилия всех их в этом смысле были и энергичны, и ведены искусно. Но были разные обстоятельства, помешавшие успеху. Одно из них — то, что посланники Австрии, Пруссии и Франции в Петербурге были люди, привыкшие держать себя перед русским императором в таком духе, который теперь оказался вреден для всех этих держав. Подобно всему петербургскому придворному обществу, они безусловно благоговели перед русским императором. Кастельбажак (посланник Франции) и Рохов (посланник Пруссии) шли даже дальше: они лично заискивали его милостей и рекомендаций себе. Менсдорф (посланник Австрии) был человек прямодушный; но, старый генерал, он мало понимал дипломатические дела и, кажется, никогда не понимал хорошенько мыслей своего правительства. Притом же он долго был болен в это время; Рохов также брал отпуск, и был такой период, когда представителями Австрии и Пруссии в Петербурге оставались второстепенные люди, совершенно не понимавшие своих обязанностей или забывавшие их. И вот теперь, когда австрийский и прусский кабинеты и сановники, формально заведывавшие

* Как это произошло, незаметно для Стратфорда и почти незаметно для английского правительства в Лондоне, мы увидим после. В этом и состоит главная сущность дела.

** Бухта Малоазийского берега у входа в Дарданеллы.

*** Кроме французского кабинета, как увидим.

иностранными делами во французском официальном (не действительном, а только официальном) правительстве, совершенно серьезно действовали с целью принудить Россию к уступке, которая отвратила бы войну, представители этих правительств в Петербурге отнимали вид серьезности у этих действий тою манерою, по какой лично держали себя, и тоном своих разговоров. Из всех посланников великих держав только Сеймур говорил языком, соответствовавшим сущности дела, — один он в Петербурге был представителем истинных мыслей и намерений четырех великих держав. С первого же раза, как сказали ему о намерении двинуть войска в Дунайские княжества, он выразил, что это будет действием, опасным для спокойствия Европы; и потом он постоянно отвечал, что нельзя определить, до какой степени неприязненности может эта мера довести отношения Англии к России. Если бы другие посланники так же исполняли свою обязанность, войны не было бы. Но Сеймур один говорил так.

Разумеется, формальным образом и остальные три посланника исполняли приказания своих правительств, — протестовали, когда получали инструкции протестовать. Но тотчас же они опять превращались в людей, старавшихся загладить в мыслях императора серьезное впечатление их официальных слов. Кастельбажак шел даже и дальше: он являлся утешителем русского императора, убеждавшим его, что Англия злонамеренна, а Сеймур — грубый упрямец.

И все-таки и в этот период гнева на Турцию и на Стратфорда император не хотел отступить от своего давнишнего решения: никак не ссориться с Англиею из-за восточного вопроса. Сколько можно видеть, не было ни минуты, когда бы он колебался в этом правиле. Он, подобно английскому правительству, не замечал, что он и Англия уже разошлись и что быстро увеличивается пространство, разделяющее их. Оппозицию в Константинополе, раздражившую его, он исключительно считал делом Стратфорда, много-много, если думал, что может одобрять ее лондонское министерство иностранных дел, и никак не хотел думать, что это — оппозиция английской нации или хоть всего английского правительства. Напрасно лорд Кларендон (министр иностранных дел) в словах яснее дневного света выражал ему противное, высказывал возрастающую решительность английского кабинета. Напрасно Сеймур суровыми ответами на одни вопросы, грозным молчанием на другие вопросы усиливался обнаружить царю опасность, в которую идут отношения между Россией и Англиею. Царь думал, что он лучше Сеймура и Кларендона понимает свои действительные отношения к английскому правительству и народу*.

* Те, которые вздумали бы составлять себе мнение о степени странности такого упорства в ошибочном предположении, поступят неглупо, если подождут рассказа о том, менее ли ошибочны были взгляды Абердина, Рос-

Вот теория, которой держался царь: иностранная политика диктуется английскому правительству английскою нацией *; английская нация любит деньги ** и для соблюдения денежных выгод своих любит мир ***.

Роковая ошибка царя, к несчастью, подкреплялась другим обстоятельством. Лорд Абердин был первым министром. Это был правитель, ужасавшийся мысли о войне. Кто мог предположить, что война устроивается его руками? Его честность и прямодушие были несомненны. Барон Брунов, русский посланник в Лондоне, имел ум понимать, что слова «мы боимся войны», хоть и произносимые искренно, хоть и произносимые первым министром, не будут иметь ровно никакой силы над ходом дела; без сомнения, он и сопровождал этими предостережениями миролюбивые уверения Абердина, которые передавал своему государю. Но царь знал Абердина и думал, что при таком человеке война невозможна ¹¹².

Говорят, что был, например, следующий случай. Министр иностранных дел Кларендон сказал Брунову прямо и твердо, каким опасностям подверглись бы отношения между Россией и Англиею через занятие Дунайских княжеств. Эти слова поехали

сезя, Пальмерстона и самого Стратфорда на то дело, которое они вели, — как им воображалось. С их стороны было никак не меньше упорства в глупом, ошибочном предположении: они не замечали, как подсовывается им в руки совершенно иное дело, которого они ужаснулись бы. Чтобы судить о действиях одной стороны, надобно знать то, как отличалась и другая сторона. Это мы увидим через несколько страниц.

* То есть русский император разделял ошибку почти всех — в том числе решительно всех знаменитых у публики — дипломатов, публицистов и правителей Западной Европы (и наших тоже). Английская нация диктует своему правительству, это правда, — но редко и поздно, когда дело уже испорчено.

** То есть русский император разделял ошибку (читатель потрудится продолжать по предыдущему замечанию, слово в слово). У английской публики почти столько же рассудительной расчетливости, сколько у возлюбленного огромного большинства русской публики.

*** Читатель потрудится повторить предыдущее замечание, все слово в слово. Кинглек воображает, что в произведении этого ошибочного впечатления виноваты собственно митинги, на которых английская публика аплодировала нападениям Кобдена, Брайта и других на страсть к войне. Конечно, Кинглеку следовало так понять дело, чтобы не отстать в проницательности от своих политических противников — Росселя, Пальмерстона. Прекрасное искусство: все лезет в огонь, потому что слепы, и когда обожгутся, то объясняют: это виноват вот тот человек, — ну, кто-нибудь, на кого они сердиты за что-нибудь. В чем права и в чем неправа была манчестерская школа, мы увидим после; но в ошибке русского императора по этому делу она была столько же виновата, как в его мнении, что Шекспир был великий поэт: в какую книгу или газету на каком бы то ни было языке он ни заглядывал, с кем бы ни говорил в течение долгих и долгих лет, он везде читал, от всех слышал одно и то же мнение. Относительно Шекспира, это единогласное мнение не было ошибочно. Но относительно характера английской нации, по несчастью, единогласный хор пел не с такою удачною близостью к истине.

в Петербург вывести русского императора из его иллюзии. Но когда Абердин узнал, что они были произнесены, он стал настаивать, — и, говорят, настоял, — чтобы министр попросил Брунова считать его [Кларендона] слова за не бывшие сказанными. После такого отступления английского правительства, конечно, трудно было царю убедиться, что он встретит в нем серьезное сопротивление.

Русский император сидел один в своем кабинете в Царском-сельском дворце, когда созревало в нем решение двинуть войска в Дунайские княжества. Он не посоветовался ни с кем. Он позвонил. Перед ним явился офицер или генерал. Царь отдал ему приказание распорядиться посылкою приказа войскам двинуться. Потом уже он сказал графу Орлову¹¹³ о своем распоряжении. Граф Орлов омрачился лицом и сказал: «Это война». Царь удивился, что граф принял дело так серьезно, и сказал, что ни одна держава не пойдет на Россию без Англии, а партия, проповедующая безусловное проклятие войне, торговцы и первый министр Англии служат ему обеспечениями, что Англия не пойдет на войну*.

* Кинглек думает, будто роковой шаг не был бы сделан, если бы покойный государь, например, посоветовался с графом Орловым. Частным и случайным образом мне известен изустный рассказ графа Орлова о его посольстве в Париж для подписания трактата после Крымской войны. На основании этого рассказа, слышанного мною прямо от лица, которое было собеседником графа Орлова, я утверждаю, что Кинглек ошибается. Через несколько строк Кинглек делает другую важную ошибку, какой и следовало ждать после его соображений о религиозных чувствах русской нации по турецкому вопросу. На другой день по отдаче распоряжения «занять Дунайские княжества» (2 июля нов. стиля) вышел манифест (3 июля н. ст.), объявлявший русскому государству об этой мере. Кинглек цитует религиозную часть манифеста, как будто она имеет дипломатическое значение, — как будто русская нация не понимала, что документ, предназначенный для обнародования через чтение в церквях, необходимо должен иметь форму, приличную месту его чтения. Эта ошибка равняется той, как если бы стали предполагать религиозное значение в актах английского правительства, соответствующих нашим манифестам и точно так же писанных отчасти языком, принятым в английской церкви. — Потом и в Турции правительственные объявления, относившиеся к войне, были читаны в местах совершения мусульманских обрядов. Благодаря этому Кинглек, заключая главу, в которой говорит о движении наших войск в Дунайские княжества, с полною видимою основательностью пишет следующие строки:

«И вот в Европе, Азии, Африке, повсюду, куда простиралась власть турецкого султана, мусульмане призывались к оружию кровавыми проповедями. В русских церквях также призывался народ к оружию во имя религии».

Конечно, так; но сила ли этого призыва была причиною, что народ стекался к оружию? И стекался ли? Из тысяч сражавшихся солдат, турецких или русских, было ли хоть два человека, которые добровольно взялись за оружие? Было ли в каждой тысяче солдат хоть по одному человеку, который с радостью не отложил бы оружие в сторону и не пошел бы куда-нибудь подальше от войны, на работу или хоть на мирную праздность? — вот вопросы, которые забываются при подобных изображениях стремлений массы. Кинглек до того чужд мысли об этих вопросах, что серьезно про-

Едва русский император произнес угрозу занять Дунайские княжества, — еще задолго до отдачи его приказа русским войскам, — все другие великие державы сильно высказались против такого намерения. Австрия видела в занятии русскими войсками Молдавии и Валахии прямую опасность себе; сообразно своим интересам она твердо заговорила против этого. Ее голос был тут тем важнее, что по положению своих границ она могла, как только захочет, заставить русские войска выйти из княжеств. Конечно, царь мог бы рассердиться на нее за это, объявить ей войну; но и войну против нее он должен был бы вести не на Дунае, а с другой стороны. Русские войска не могли оставаться в Валахии против воли державы, которой принадлежат Трансильвания и Банат: австрийцы, двинувшись оттуда, отрезывали бы русскую армию от России.

Итак, решение Австрии имело непреодолимую силу. А она с первой же минуты прямо выражала его. Еще в мае граф Буоль¹¹⁴ сообщил в Петербург, что считает действия князя Меншикова ведущими к опасности. 17 июня он объявил, что «совершенно разделяет» политику Англии по турецкому вопросу, считает «целость и независимость Турции существенно важною для драгоценнейших интересов Австрии» и употребит «все находящиеся в его власти средства для ее сохранения», что он «не обязывается не прибегнуть к оружию».*

Мнение прусского правительства было также решительно. Оно еще в начале июня сообщило в Петербург, что изумлено

должает: «Разумеется, вступавшие в борьбу правительства в значительной степени» (только ли «в значительной»?!) «руководились политическими расчетами. Но народ обоих государств, считал наступавшую войну войною религиозною». — Ужасна та вещь, что это — обыкновенный прием огромного большинства историков и публицистов, что, начитываясь таких соображений, люди начинают руководиться ими. Так и поступила тогда Западная Европа. Вообразив, что русская нация прониклась религиозно-военным фанатизмом, Европа, конечно, не могла остаться равнодушна к опасности, которая в подобном (небывалом с русскою нациею) случае была бы действительно велика. Когда маленькое племя чехов схватилось за оружие на защиту своей веры, оно разорило большую половину центральной Западной Европы. Легко вообразить, каков был бы результат, если бы 50 миллионов русских греческого исповедания вздумали повторить гуситские войны. Европа основательно ужаснулась последствий такого фанатизма. Ошибка была только в том, что фанатизма-то в нас вовсе не было. По всей вероятности, и в турках было ровно столько же его, сколько в нас. — Но это замечание относится к позднему периоду дела. Теперь пока оно готовилось было кончиться гораздо безобиднее для Англии, Франции, России и гораздо выгоднее для всех них — путем соглашения.

* Из этого видно, как неосновательно кричали у нас, будто австрийцы обманывали нас, скрытничали, коварствовали; как напрасно у нас кричали это, когда Австрия, наконец, двинула свои войска. Если кто на свете, то уж, конечно, я очень не расположен к Австрийской империи и к австриизму. Но надобно же обо всяком говорить правду: тут австрийский кабинет действовал прямо, честно. Он не обманывал нас.

действиями князя Меншикова и ожидает, что русский кабинет выразит порицание им. О Франции и Англии нечего и говорить.

Так отозвалась Европа уже и на самую угрозу занять княжества. Но когда угроза перешла в приказание русским войскам двинуться, западные державы отозвались на это так сильно, что не всякий мог бы ждать даже и по предыдущему. Австрийский кабинет тотчас же отказался от прежних отношений тесной дружбы с русскими *, и через три дня после перехода русских войск через Прут граф Буоль уже положил основание лиге, способной остановить Россию. «Вступление русских войск в Дунайские княжества, — писал Кларендону английский посланник в Вене, — очень опечалило венский кабинет; граф Буоль желает, чтобы я сообщил это вам; он намерен также немедленно сообщить о своем чувстве петербургскому кабинету и считает нужным, чтобы четыре великие державы согласились между собою о принятии мер для получения от русского кабинета самых точных объяснений о цели этого движения и о том, когда русские войска выйдут из Дунайских княжеств». Английский и французский (официальный) кабинеты совершенно приняли это мнение. Пруссия, от которой трудно было бы, кажется, ожидать решимости на ссору с царем, не побоялась выразить свое порицание решительным языком, и ее посланник в Константинополе получил приказание «единодушно соединиться» с представителями Австрии, Франции, Англии.

Словом сказать, Европа не замедлила стать в положение, силою которого война должна была отклониться; ясно было, что ее сопротивление русскому императору будет иметь полную серьезность. У России не было возможности противиться требованию остальных четырех великих держав, действующих заодно. Австрия, двинув свои войска через Восточные Карпаты или через Банат, брала бы во фланг и в тыл русскую армию в Дунайских княжествах; флоты Англии и Франции, стоявшие уже у входа в

* Из этого мы видим, что перемена, которую возлюбленное большинство русской публики изволило признать «неблагодарностью», была не следствием благодарности или неблагодарности, — эти слова не имеют смысла в серьезных политических делах, — а следствием солидной необходимости защищать свои интересы. Тот министр изменил своему правительству, кто руководится в иностранной политике не его интересами, а нежными чувствами. Кому угодно, тот может находить, что интересы венского и петербургского кабинетов были тут одинаковы; если так, австрийский кабинет ошибся; если же они были действительно противоположны, тут венский кабинет не ошибся. Но основательно ли, или неосновательно смотрели на дело австрийские министры, они с своей точки зрения были совершенно правы. Прошу заметить смысл моих слов. Я говорю о факте: существует Австрийская империя; в ней существует правительство; у этого правительства есть свои интересы. Только. Я не говорю о том, нравятся ли мне или кому другому эти факты. Если кому они не нравятся, перед тем Австрийская империя не может быть неблагодарна, потому что он постоянный враг ее. Но стыдно же иметь на неделе семь пятниц (обычай большинства русской публики).

Дарданеллы, мгновенно явились бы на Черном море; русский флот не мог даже и пытаться на борьбу с ними, заперся бы в гаванях. Царь не мог подвергнуть себя такому положению и должен был уважить мнение Европы.

Четыре великие державы уже так давно видели надобность приготовиться к этому единодушному действованию, что в тот самый день, когда русский авангард перешел Прут, представители их в Константинополе собрались на конференцию для общего протеста. Это единодушие отстраняло всякую опасность войны. Каким же образом союз, столь согласный и могущественный, что противиться ему было невозможно, вдруг заменился отдельным действом только двух из четырех держав? Ответ на это: личные надобности людей, составлявших компанию, которая господствовала над Франциею. Эта компания, вынуждаемая необходимостью, повела дело о занятии Дунайских княжеств по той же методе, с тою же целью и в том же духе, как прежде вела палестинское дело.

Мы видели, что через несколько дней по захвате власти над Франциею элизейское правительство послало тогдашнему представителю Франции в Константинополе Лавалетту такие инструкции, что он шумно поднял палестинское дело, тотчас же стал грозить Порте пушками французского флота, запугал ее, заставил делать вещи, обидные для русского императора, и с той самой поры элизейское правительство неотступно все вновь и вновь представляло Порту под гнев русского царя, видевшего каждый день новые неприятности себе от несчастных, запугиваемых Франциею турок, — и, наконец, после года этих шумных и скрытных интриг, цель была достигнута: в порыве гнева русский император сделал распоряжение, взволновавшее Европу, которая уже была встревожена и гневным тоном русского правительства в переговорах, веденных в Константинополе князем Меншиковым. Теперь элизейское правительство видело для себя хорошую возможность отлично зарекомендоваться перед всею Западною Европою и подружиться с тою державою, которая тогда пользовалась наибольшим нравственным авторитетом в Европе и которая всегда была единственною, кроме Франции, державою первой степени материального могущества из западных держав.

Англия постоянно и твердо держалась мнения, что ее интересы требуют охранения независимости и целостности Турецкой империи. Франция издавна протезировала паше египетскому во вред целостности владений султана. Если элизейское правительство объявит, что Франция принимает поддержку Англии по восточному вопросу, этим можно будет купить дружбу Англии и приобрести для Французской империи санкцию более солидную, чем засвидетельствованные графом Морни 8 000 000 голосов. А главное, через дружбу с Англиею можно выйти на то видное поприще европейских международных дел, на котором по необходимости сле-

дует искать безопасности от внутренних французских дел; если из этого и выйдет война, — война в союзе с Англиею не рискованное дело *.

И вот, когда элизейское правительство увидело, что достаточно раздражило русского императора против Турции, Наполеон III предложил Англии, что будет помогать ей в погашении пожара, который сам же он поджигал, — готов действовать заодно с нею против угроз русского правительства султану. Это было 28 января 1853 года. Он совершенно принимал английскую политику и выражал свои намерения по турецкому вопросу теми самыми словами, какими издавна характеризует свои намерения английское правительство. Он как будто взял и переписал какую-нибудь старую английскую тронную речь. С того дня, до лета 1855 года, он постоянно выражался так, будто во всем подчиняется решению Англии. Англичане думали, что имеют в нем послушного союзника.

Имела ли Франция надобность так усердно заниматься ссорою между Россиею и Турциею? Нет, по своему положению и интересу, Австрия должна была идти впереди всех четырех великих держав в этом деле. Она и шла вперед, насколько было нужно, готова была дойти и до войны, если бы понадобилось. Франции и Англии не было оснований бросаться дальше, чем находила нужным Австрия. Они должны были только не покидать ее, неотступно поддерживать. Так и началось было дело по поводу занятия Дунайских княжеств, и если бы оно продолжало идти так, войны не было бы. Но элизейскому правительству надобно было шуметь, соваться вперед, чтобы дать себе громкую репутацию и репутациею упрочить свое существование. Ясно было, что оно не может блистать и отличаться перед Европою и Франциею, если Франция будет только одною из четырех великих держав, действующих заодно, имеющих в авангарде Австрию: этою скром-

* Далее Кинглек дает важность и личному чувству досады Наполеона III на русского императора, — повторяет известный рассказ, будто русский император очень раздражил французского тем, что в письмах к нему называл его только «друг» и ни за что не хотел назвать «брат». Очень правдоподобно, что Наполеон III обижался этим. Но подобные отношения не имеют серьезного влияния на дела такой важности, как англо-французская война против России. Элизейским правительством руководила необходимость, а не амбиция. Никакою любезностью русского императора не отстранялась бы надобность элизейского правительства отвлечь внимание Франции от внутренних дел внешним шумом, не устранялись удобство и выгода поднять шум именно по турецкому вопросу. Тогдашние французские правители не были в таком положении, как г-жа Помпадур, которая, беззаботная за прочность своего владычества, могла обращать внимание на то, что Мария-Терезия любезна к ней, а Фридрих II смеется над нею. Да и тогда союз французского правительства с австрийским основался не на чувствах г-жи Помпадур, а на том, что эти правительства оба держались на том порядке вещей, которому грозили гибелью принципы, принятые, как политическое орудие, Фридрихом II.

ною ролью нельзя было занять внимание французов настолько, чтобы они перестали думать о том, какие люди засели во дворцы и министерства. Это — одно. А с другой стороны, тесный союз с Англиею, — и с одною Англиею, при устранении Австрии и Пруссии, — вел к шуму, который был нужен и, кроме того, влагал в чистые уста королевы английской перед лицом Европы одобрение плутовства и кровавых дел декабрьского переворота. Безмерная драгоценность такой рекомендации для людей, подобных Наполеону III и Сент-Арно, и Морни, и Мопа, будет понята теми, которые внимательно подумают о высоком нравственном уважении, каким пользовались Англия, ее конституция и ее правительство во всей массе континентальной публики после разочарования континента в 1848—1849 годах ¹¹⁵.

Англия и Франция одни из четырех великих держав — морские державы ¹¹⁶, и, конечно, была надобность, чтобы они согласились между собою о действиях своих флотов; но это соглашение следовало сделать с ведома и одобрения двух других держав. А между тем английское правительство далось в тот обман, что стало совещаться с одною Франциею о действовании флотов, — и дело повернулось так, что война была навлечена на Англию и Францию движениями их флотов. И это устранение других двух держав из той части дела, которая стала решительною, было устроено не по той причине, чтобы Англия хотела сделать на море что-нибудь, кроме одобряемого Пруссиею или Австриею, — нет, незаметно для английского правительства, дело повертывалось так, что Англия и Франция уже выдвинулись вперед особо от Австрии и Пруссии, между тем как лорд Кларендон (министр иностранных дел) еще искренно говорил парламенту, что «все четыре державы действуют искренно заодно». Это обособление расстроило великую лигу, могущество которой устраняло возможность войны Европы с Россиею. Еще не обнародованы документы о том, как вовлеклось английское правительство в эту ошибку, тем более странную, что из всех тогдашних министров разве только одному Пальмерстону, министру внутренних дел, мог нравиться отдельный союз с Франциею. Итак, о подробностях этого дела теперь можно говорить только на основании частных сведений, без формальных документальных доказательств *. Но, по частным сведениям, ясно, что английское правительство было обольщено готовностью французского безусловно принять его политику, и дело велось на основаниях, подобных тем, какие можно выразить в виде следующего контракта: «Император французов обязывается отложить в сторону прежнюю политику Франции по турецкому вопросу и поддерживать в нем политику Англии всеми силами Франции. За это Англия дает ему аттестат на уважение

* Само собою разумеется, что Кинглек говорит, основываясь на документах, и только находит ненужным печатать отрывки из них прежде чем английское правительство сочтет удобным обнародовать документы вполне.

Европы и принимает следующие меры с этою целью, достижением которой упрочивается его престол: 1) Англия вступает в отдельный союз с Франциею и 2) немедленно объявляет через свою королеву о своей особенной дружбе с императором французов; 3) если дело дойдет до войны, то в признательность за содействие французских военных сил королева обязывается принять посещение императора в Лондон и встретить его как уважаемого союзника, а английские сановники и вельможи должны будут принимать соучастников его по декабрьским делам в свое знакомство, невзирая на их предшествовавшую жизнь». Само собою разумеется, что не такие выражения употребляемы были в действительных переговорах; но смысл дела был таков. Всякое государство должно считать правительство иноземной нации ее представителем. Так. Но тут, — говорит Кинглек, — «мы (англичане) слишком, слишком далеко зашли в выводах из этого принципа. К нам являлись пять человек с туго набитыми карманами, но с тревогою в лице; они желали побеседовать с нами. Спросив, кто они и сличив их ответы с фактами, известными нам, мы нашли, что двое из них (принц Луи Бонапарте и Мопэ) носят имена, полученные обыкновенным образом от родителей и в св. крещении, что остальные трое носят имена, которые изволили сами сочинить для себя. Они сказали нам, что внезапно прониклись сочувствием к нашей давнишней политике и просят позволения обратить свои громадные средства на служение ей, — а взамен того просят только, чтобы мы позволили им выходить рядом с нами перед публикою и чтобы мы немножко отстородились от наших союзниц, Австрии и Пруссии. Лица у них были такие, что внушали нам мысль: если мы оттолкнем их, они понесут свои сокровища русскому императору, действия которого тревожили нас тогда. Руки их были запятнаны кровью. Нам было стыдно, мы колебались вступить в сделку с ними, но вступили. Мы не нарушили этим букву международного права: люди, с которыми завели мы дружбу, уже больше года владычествовали во Франции; мы могли, если хотели, считать их имеющими право говорить именем великой нации. Но после такого поступка нашего благородные люди Европы, благородные люди Франции не могли сохранить прежнего своего мнения о нас».

И вот через шесть дней после того, как образовалась лига четырех великих держав лорд Пальмерстон уже выразился в палате общин такими словами: «Англия и Франция согласились между собою следовать одной политике». Это показывало, что Англия и Франция выступают вперед двух других держав, что дело может принять опрометчивый ход. Вмешательство парламента могло бы отвратить опасность; но парламент пропустил эти слова, и прежде чем вновь получил он случай заняться турецким вопросом, дело было уже испорчено. В августе, распуская парламент, королева в тронной речи сказала, что «император фран-

цужов соединился» с нею «для примирения раздора, продолжение которого могло бы вовлечь Европу в войну», что она «действует по согласию со всеми державами, составившими Венскую конференцию». Это могло казаться не более как неудачным выбором слов: нельзя было в одной и той же речи говорить, что Англия действует по согласию с Францией и что Англия действует по согласию со всеми державами, составившими Венскую конференцию. Но, к несчастью, запутанность слов соответствовала действительному положению английского правительства: четыре державы были соединены в союз; но с тем вместе без всякой надобности одна из них, Англия, согласилась вступить в отдельный союз с другою, Францией. Первое вело бы к мирному разрешению вопроса, второе — к войне. Министерство Абердина желало мира, и пришло к войне. Оно само не видело, как это сделалось.

Но точно так же и Стратфорд не заметил того, что дипломатическая игра, которою он занимался так искусно, ведет к войне, которую он желал отвортить ею. По отъезде князя Меншикова он вытребовал у Порты, чтобы султан издал фирманы, на вечное время утверждающие за греческою церковью в Турции все ее права. Это значило, что он достиг своим влиянием того, для достижения чего русский император требовал протектората. Сущность желания России была исполнена. Оставалось устроить, чтобы Россия удовлетворялась этим и прекратила ссору, не обижаясь тем, что потерпела по форме неудачу в деле, которое выиграла в сущности. Стратфорд полагал, что Порта просто должна послать в Петербург новые фирманы с любезною нотою, в которой говорила бы, что исполнила сущность желания России. Но конференция, собравшаяся в Вене, нашла, что эта форма сообщения была бы щекотлива: русскому правительству могло показаться неприятно, что оно своими требованиями не вынудило у Порты гарантий, которые теперь будто бы добровольно дают турки по совету Стратфорда. Венская конференция, на одобрение которой Порта прислала свою ноту, прежде чем отправить ее в Петербург, рассудила, что дело будет иметь более приятный для России вид, если все четыре державы возьмут на себя главную роль в нем и если нота Порты будет заменена нотою Венской конференции. Так и было сделано. Конференция составила проект ноты, принятие которой предложит обоим ссорящимся державам. Черновая бумага этого проекта была сообщена русскому правительству, оно осталось довольно ею. То, что согласится Порта, казалось разумееющимся само собою: повидимому, нельзя было ждать, что Турция решится вступать в борьбу с Россиею, когда четыре великие державы будут удовлетворены согласием России на их предложение и должны будут перенести на сторону России ту поддержку, которую до сих пор давали Турции. Нота, предлагаемая конференциею на принятие ссорящимся державам, имела форму проекта, составленного австрийским кабинетом,

требующим, чтобы турецкое правительство приняло этот проект и обнародовало его от своего имени. Эта бумага была послана в Константинополь — для того, чтобы Порта приняла ее, и в Петербург, с настоянием, чтобы русское правительство объявило себя удовлетворенным, если Порта примет ее. Конференция наперед, частным образом, удостоверилась, что петербургский кабинет доволен проектом ноты; и действительно, скоро был получен ответ, что русский император объявил, что будет удовлетворен, если проект будет принят Портою.

Но конференция, позаботившись предварительно узнать мнение русского кабинета о своем проекте, не почла нужным также спросить мнения Стратфорда. Порта нашла некоторые выражения проекта опасными; флоты Англии и Франции в это время уже стояли у входа в Дарданеллы; она была уверена, что в случае войны обе эти державы будут ее союзниками. Потому Порта была не расположена к уступчивости. Стратфорд получил инструкцию требовать, чтобы она уступила; сам он не одобрял проекта ноты, составленного без его совета; однакоже формальным образом он исполнил свою обязанность. Он писал в Лондон, что «заботливо удерживался от выражения своих личных мыслей, о проекте ноты, пока он рассматривался Портою», и действовал сообразно своей инструкции: «я говорил Решиду-паше (министру иностранных дел), что проект настойчиво и сильно рекомендуется Порте Англиию, точно так же и Австриею, Франциею, Пруссиию; что Россия уже согласилась на него; что надобно решаться как можно скорее; что опасно отвергать или хотя видоизменять проект, так настойчиво рекомендуемый четырьмя великими державами и одобренный Россиею». Без сомнения, он говорил это; но если турки и не знали прямо, что он говорит только по обязанности повиноваться своему правительству, а не по собственному убеждению, они все-таки могли заметить это по выражению его лица, по тону его голоса. Они надеялись, что он станет защищать их перед английским правительством, если они не послушаются его официального совета, противоположного его личному мнению. Совет Порты единогласно решил, что не принимает проекта в его настоящем виде и требует изменений в нем. Это было решено 19 августа. Россия не согласилась на изменения, требуемые Портою. Пошли переговоры о них, — не удались, и 23 октября 1853 года Порта объявила России войну за занятие Дунайских княжеств русскими войсками.

Само по себе турецкое объявление войны не было бы фактом слишком важным: война России с одною Турциею — дело довольно незначительное сравнительно с войною Россиею и двумя сильнейшими державами Запада. Притом же петербургский кабинет отвечал на объявление войны циркуляром 31 октября, в котором говорил Европе, что Россия не будет предпринимать наступательных действий и русские войска ограничатся защитою тех

позиций, которые уже мирно заняты ими в Дунайских княжествах. Этим отнималась у войны почти всякая серьезность: турки сами по себе не в состоянии были сильно атаковать русских на северном берегу Дуная. Военные операции ограничились бы мало-важными стычками и перестрелками, пока Австрия, по соглашению с тремя другими державами, не почла бы за нужное остановить и эти действия движением своих армий наперерез линии сообщений между русскою армиею и Россиею. Тогда война неизбежно прекратилась бы отступлением русских из Дунайских княжеств. Но за несколько недель перед тем был факт более важный: английское правительство, уступая настойчивым убеждениям императора французов, приняло меру, которая дала решительный оборот делу.

В сентябре в Константинополе некоторые любители войны из турок уже шумели о том, что надобно воевать с Россиею. В сословии улемов * нашлось 35 человек, согласившихся подписать просьбу султану в этом смысле. Все они были люди очень неважные; но министры притворились встревоженными, заговорили, что надобно ждать беспорядочных волнений от партии войны: они только притворялись, чтобы обманом приобрести вооруженную помощь Англии и Франции. Они говорили, что для ограждения тишины в столице необходимо ввести английский и французский флоты в Босфор, — они рассчитывали, что если это будет сделано раньше, чем султан объявит войну России, то русский император объявит бы, что Англия, Франция и султан нарушили трактат, запрещающий во время мира вход в Дарданеллы и Босфор всяким военным кораблям, кроме турецких; по этому трактату и сам султан не имеет права дать подобное разрешение какому бы то ни было чужому флоту. Турки поступили тут тонко: они очень хорошо приняли в расчет разницу английского и французского посланников по характерам и говорили с ними разными тонами. Стратфорду они говорили о том, что бунт может низвергнуть власть султана; от Стратфорда, отправившись прямо к де ла Куру, они запугивали его тем, что бунтовщики перережут французов. Де ла Кур действительно встревожился и вместе с австрийским посланником поехал советоваться к Стратфорду. Но Стратфорд остался спокоен и сказал, что, по его мнению, еще нет надобности призывать флоты в Босфор для ограждения тишины в Константинополе; согласился лишь на то, чтобы просить у английского и французского правительств присылки еще двух-трех военных пароходов в прибавку к тем, которые находились у Константинополя в распоряжении посланников по дипломатическим поездкам и посыл-

* Ученые мусульманские богословы, занимающие места судей или юрис-консультов. — *Ред.*

кам, — это дозволялось трактатом 1841 года, — и дело обошлось в Константинополе этою мерою, не составлявшею нарушения договора. Но в Париже и Лондоне оно повернулось иначе.

Уже давно, с самого заключения тесной дружбы с Англиею, французский кабинет, двигая свой флот все на восток, заставлял английский кабинет также подвигать и английский флот. Абердин поддавался настояниям элизейского правительства, все министерство постоянно чувствовало неловкость отстать от Франции, боялось обвинения в трусости, если отстанет; оно еще твердо было уверено, что вопрос о войне в его руках, что войны не будет, что дело идет только о дипломатических демонстрациях движением военных сил по пространству, движения по которому не были нарушением никаких договоров, не вели ни к каким действительным столкновениям. Таким образом элизейское правительство привело свой флот вместе с английским ко входу в Дарданеллы. Теперь, получив горячую депешу де ла Кура об опасности, грозящей Константинополю, элизейское правительство выразило английскому, что считает необходимым, чтобы его и английский флоты получили приказание войти в Босфор. 23 сентября французский посланник в Лондоне граф Валевский имел объяснение об этом с Абердином и Кларендоном и сказал, что «ему поручено просить английское правительство о немедленном решении, чтобы не было потери времени в отправлении инструкций посланникам и адмиралам».

Английское правительство в это время еще не получало от своего посланника известий о том, действительно ли есть опасность смут, но оно знало, что флоты стоят у входа в Дарданеллы, посланникам уже дано было полномочие распоряжаться их движениями; в случае действительной опасности, флоты в несколько часов явились бы перед Константинополем по приказанию самих посланников. Мало этого: самая депеша де ла Кура, послужившая предлогом для элизейского требования, показывала, что посланники уже нашли средство отвратить опасность, если б она и была, что им не нужно никаких новых приказаний из Парижа и Лондона, что они умеют и могут действовать сами. Трудно после этого понять, зачем отнимать у них власть действовать по их усмотрению, зачем посылать приказание флотам войти в Босфор без их воли? Флоты стояли в таком пункте, что через несколько часов могли бы явиться куда нужно, когда понадобилось бы; какое же основание имело требование императора французов, чтобы — нужно ли то, или не нужно — они вошли в Дарданеллы, нарушая тем трактат 1841 года? Но английское правительство не сумело встретить это требование с тою твердостью, как следовало бы: оно понимало, что не должно соглашаться на него, — и согласилось из-за того, что очень дорожило союзом с Франциею.

Вот слова самого Кларендона: «Я сказал графу Валевскому, что мы не получали от нашего посланника известий такого тре-

возного тона, как французское правительство от г. де ла Кура, что пока Турция не объявит войну России и не пожелает потом вступления английского флота в Дарданеллы, мы желали бы соблюдать трактат 1841 года; но лорд Абердин и я, мы оба одинаково сказали ему, что при таких обстоятельствах, какие описываются г. де ла Куром, разумеется, невозможно стесняться никакими трактатами». И лорд Абердин и лорд Кларендон продолжали: «Не колеблясь, мы берем на себя ответственность, соглашаемся на ваше требование, чтобы нашему и вашему посланникам было дано приказание призвать флоты на защиту британских и французских подданных в Константинополе и на охранение султана от бунта в его столице». В тот же день приказание и было послано. Это согласие на элизейское требование тем страннее, что английское правительство действительно не получало еще никаких известий от Стратфорда; следовало бы во всяком случае подождать их. И если бы Абердин и Кларендон подождали только пять дней, они увидели бы из хладнокровной депеши Стратфорда, что опасности нет, что флот ему не нужен. Если бы подождали еще четыре дня, узнали бы, что через неделю флоты могут войти в Дарданеллы без нарушения трактата 1841 года, потому что Турция объявляет войну России, и через это другие державы приобретают право вводить свои флоты в Дарданеллы и даже в Черное море по желанию султана, сами не нарушая через это своих мирных отношений к России. И будто насмех, опрометчивое приказание произвело лишь ту разницу во времени, что флоты вошли в Дарданеллы 22 октября — в нарушение трактата, когда 23 октября, через сутки, уже могли бы сделать это, не нарушая трактата.

Барон Бруннов, русский посланник в Лондоне, сильным языком протестовал против этого распоряжения. Кларендон отвечал ему также с достоинством, но ничем не мог оправдать сущности дела: распоряжение имело вид меры, столь враждебной к России, что этой стороны факта нельзя было смягчить ничем. Опасение бунта в Константинополе действительно извиняло бы эту меру и отнимало бы у нее характер враждебности относительно России, но приказание не говорило ни о каком подобном основании, оно было безусловно: «ввести флот в Дарданеллы» — только, не рассматривая того, нужно ли это для чего-нибудь.

Когда узнали об этом распоряжении в Петербурге, всякая надежда на мир исчезла; сам граф Нессельроде, до сих пор старавшийся удерживать своего императора в миролюбивом образе действий, с грустью сказал теперь, что в действиях английского правительства видно «обдуманное намерение унижать Россию». «Он с большою искренностью высказал мне, как ненавистна ему всякая мысль о войне, — писал тогда Сеймур, — особенно о войне между двумя сильными державами, — между старыми союзницами, как Россия и Англия, государствами, имеющими средства

наделать друг другу чрезвычайно много зла. Он заключил словами, что если Англия объявит войну России, то насколько он может видеть, существуют ли серьезные основания для подобного дела, он видит, что никаких подобных оснований нет и что это будет война самая непонятная и неизвинительная».

Русский император был очень раздражен этим распоряжением. Известие о нем пришло в Петербург около 14 ноября. Через месяц русский флот уже вышел из Севастопольского порта, готовый истребить турецкий флот на Черном море, пока еще имеет возможность действовать. Принимая в расчет время, какое тогда было нужно для передачи приказаний из Петербурга в Севастополь, и время, нужное для окончательного снаряжения кораблей к отплытию, надобно полагать, что приказ русскому флоту идти в море и искать турецкого флота был послан русским императором именно под впечатлением известия о распоряжении, чтобы англо-французский флот вошел в Дарданеллы. Результатом этого приказания была Синопская битва¹¹⁷.

Англия и вся Европа долго считали истребление турецких кораблей в Синопской гавани коварною атакою врасплах на эскадру, которая еще не должна была ждать, что против нее начаты военные действия. Это несправедливо. Русский флот вовсе не скрывал, что он вышел из Севастополя для военных действий и что он начал их. Отплыв из Севастопольской бухты в половине ноября, 20 ноября он уже успел захватить в плен «Медору», турецкий пароход; захватывал все другие турецкие суда, какие мог; русские моряки не только не скрывали, что им приказано вести войну, они хвалились удачею этих своих военных поисков за турецкими судами и «с восхищением» расспрашивали, успела ли дойти до Константинополя молва о их подвигах. Турецкая эскадра в Синопе должна была знать, чего надобно ждать ей. Целые десять дней русский флот крейсировал в виду Синопа, прежде чем начал атаку. Он пошел в нее только уже 30 ноября. 22 ноября было уже послано из тех мест известие Стратфорду, что русский флот угрожает синопской эскадре. Стратфорд должен был получить это известие 25 или 26 числа. 23 числа командир турецкой эскадры уже писал, что на нее хотят напасть и что она погибнет, если не будут присланы корабли на выручку ей. Англо-французский флот тогда уже давно стоял в Босфоре. Пароходные корабли его могли в несколько часов явиться на фланге русского флота и заставить его уйти в Севастополь. Почему не было сделано этого? Стратфорд был человек энергический, не боявшийся брать на себя ответственность в делах, хорошим судьей которых считал себя; но тут, кроме дипломатической и политической стороны, вопрос имел техническую сторону: мореходную военную. Стратфорд не почел себя вправе дать английскому адмиралу только по своему соображению приказ, какой обыкновенно дает только старший моряк младшему. Эта совестли-

вость была причиною того, что англо-французский флот не успел явиться на Черном море в пору, чтобы огромным перевесом своих сил отвратить Синопское дело. Оно было вызвано ненужным, преждевременным появлением англо-французского флота в Дарданеллах, — оно совершилось оттого, что этот флот бездействовал теперь, когда была пора ему итти в Черное море*.

30 ноября Нахимов повел шесть линейных кораблей в Синопскую гавань на турецкую эскадру. Она была готова к бою и первая открыла огонь. Но силы были слишком неравны: она состояла из семи фрегатов, шлюпа и парохода, а береговые батареи были слабы. Вся турецкая эскадра, кроме парохода, была истреблена; почти весь экипаж ее погиб — до 4 000 человек, как считают; спаслось лишь человек 400, и те почти все были переранены.

Этот бой страшно поразил Европу, но волнение, им возбужденное, было чувством раздражения, а не боязни. Англия и Франция почли себя даже прямо обязанными мстить: русские истребили эскадру державы, принятой ими под охранение, их флоты стояли в Босфоре, когда русские отважились на такое дело. Оно было оскорблением для них, Россия будто делала им вызов, они почли бы унижением себе колебаться, получив его.

Теперь очень видно: трудно было ожидать, что русский Черноморский флот будет бездействовать, когда Турция объявила войну России. Следовало предвидеть, что военные действия, с конца октября начавшиеся на нижнем Дунае, не могут не сопровождаться неприязненными движениями и на Черном море. А между тем французский и английский посланники не имели инструкций, как им поступить, если русские начнут действовать против турок на Черном море. Этот, повидимому, странный недостаток не был недосмотром: Англия и Франция не дали инструк-

* Кинглек находит неизвинительным это бездействие Стратфорда, хоть вообще в восторге от этого действительно хорошего дипломата. Мне кажется, что тут нельзя строго порицать Стратфорда; он еще не понимал, в чем дело, он еще не оценил характера действий элизейского правительства; думал, что оно, подобно английскому и русскому, желает избежать войны, а не рвется к тому, чтобы коварно впутать в нее, — даже и не собственно в войну, как увидим, а вообще в какие-нибудь шумные ссоры, Англию — как свою союзницу, Россию — как свою противницу. Стратфорд говорит в объяснение того, что медлил: «Мне хотелось как можно дольше удерживаться от прямых неприязненных действий», — он еще не видел, что дело ведется нечисто со стороны французского правительства, что оно радо будет схватиться за всякий эффектный предлог для действительной, серьезной ссоры Запада с Россией, — потому и не мог рассчитывать, что все-таки меньше беды было бы от демонстрации, хотя и раздражающей русское правительство, чем от промедления, дающего время возникнуть какому-нибудь эффектному предлогу для вовлечения Англии Францию в решительную ссору с Россией. Притом же время года было очень опасное для плавания по Черному морю — в следующем году, около того же времени, союзный флот сильно пострадал от бури; Стратфорду, не моряку, трудно было послать самому флот в такой риск.

ций, которые вели бы к неприязненным действиям, потому что Англия всячески желала избежать военного столкновения с Россией. А между тем именно от этого вышло очень дурное последствие; французские и английские посланники и адмиралы, не имея полномочий употребить сил, если русский флот нападет на турецкий, натурально, не желали вводить своих флотов в Черное море, чтобы флоты эти не остались в унижительном положении бездействующих зрителей борьбы. И все-таки вышло именно это, вышло именно оттого, что хотели избежать этого: подле Синопа или подле Константинополя стояли союзные флоты, — все равно они успели бы помешать Синопскому бою, если бы захотели, и он был оскорбителен для французской и английской национальной гордости: союзные флоты будто выдали по трусости флот покровительствуемой державы на истребление ее неприятелю.

Известие о Синопской битве пришло в Париж и в Лондон 11 декабря. Французское правительство тотчас же выразило английскому, что «чувствует горькое унижение от истребления турецкой эскадры под пушками французского и английского флотов». Английская публика так живо прониклась таким же чувством, что министерство было бы низвергнуто, если бы публика знала тогда, отчего вышла Синопская беда: оттого, что правительство не дало инструкции посланнику на случай выхода русского флота из Севастополя для военных действий. Но именно сила негодования публики спасла министерство: раздражение англичан было так горячо, что они позабыли о внутренних расприх партий и не искали вины за своим министерством, а прониклись национальным чувством, расположенным искать за границею, на ком выместить свой гнев.

Найти было нетрудно: в циркуляре 31 октября граф Нессельроде говорил Европе, что русское правительство, получив объявление войны от Турции, ограничится оборонительными действиями, не будет предпринимать наступательных. Из этого натурально выведено было Европою ожидание, что война ограничится сухопутными действиями на нижнем Дунае. Турецкий флот точно так же был слишком слаб перед русским, как русский перед англо-французским: как русские не могли вести наступательных действий на море, когда явился на Черном море союзный флот, так <был> бессилён начинать их турецкий флот, когда был один против русского. Поэтому Европа ждала, что на Черном море не будет войны, а когда вышло Синопское дело, оно и раздражило Европу, как разочарование в этой надежде, и представилось нарушением обязательства, данного графом Нессельроде: всякому показалось, что русские начали наступательные действия, когда пошли в Синопскую гавань. На самом деле было не так: прежде того турки атаковали с моря форт св. Николая на восточном берегу Черного моря. В строгом смысле слова, нельзя не признать, что после этой атаки русские имели право

истреблять турецкие корабли, чтобы не допустить новых атак. Война на море с русской стороны могла казаться оборонительною. Но английская публика ничего не слышала о мелких нападениях турок; первое, что она услышала, был Синопский бой; и притом она была так раздражена им, что не могла судить спокойно. Поэтому она пропустила без внимания ошибки своих министров, посланников и адмиралов и обратила все свое негодование на русского императора.

Когда английское министерство, по получении известия о Синопской битве, собралось на совет, большинство решило, что союзным флотам надобно войти в Черное море для прекращения военных действий на нем, что этого распоряжения будет довольно, и затем нет надобности посылать новые, более точные инструкции адмиралу английского флота. Но лорд Пальмерстон находил нужным принять более сильные меры: он всегда умеет очень верно понимать настроение публики, и знал, что она вознегует, если не будет сделано ничего громкого для отмщения за британскую оскорбленную гордость. Большинство министров не согласилось, и Пальмерстон вышел в отставку. Кабинет остался при политике безусловно миролюбивой. Так думали министры.

Но 16 декабря французское правительство выразило английскому настоятельное желание очень двусмысленного содержания. Император французов предложил, чтобы «Франция и Англия уведомили Россию, что они приняли решение предотвратить повторение Синопского дела, что поэтому их флоты, вступив в Черное море, будут приглашать, — и в случае надобности принуждать, — всякий встреченный ими русский военный корабль возвратиться в Севастополь, и что всякое дальнейшее нападение на турецкую территорию будет отражено силою» *. Что такое это было? Это было равнозначительно заключению оборонительного союза с Турциею. Но только в сущности дела, а не на словах. На словах от этого объявления России было еще очень далеко до заключения союза с Турциею. К войне или миру вело это? Повидимому, к миру. Русский флот, так или иначе, будет спокойно стоять в Севастопольской бухте. Военные действия на море прекратятся. Без флота русским войскам трудно будет идти на юг от Дуная, — подвоз вещей с моря необходим для подобного движения: сухопутные дороги за Дунаем слишком плохи; а турки не в силах серьезно идти через Дунай. Война на Дунае останется ничтожна, как была, и легко будет помирить воюющих, лишенных средств серьезно сражаться. Так поняли

* При Синопском бое русский флот стрелял в береговые батареи, потому Синопское дело было уже нападением на турецкую территорию. На Дунае война велась и раньше Синопского дела; но там русские не переходили через Дунай в земли, непосредственно подвластные султану; занятие Молдавии и Валахии, особых, хоть и вассальных султану, государств, не было вторжением в турецкую территорию в строгом смысле слова.

дело Абердин и другие министры. Один Пальмерстон знал, что оно может повернуться не так, ему были отчасти — но только отчасти — известны намерения элизейского правительства. Русские корабли едва ли уйдут в Севастополь так, чтобы не случилось ни одного обмена выстрелом между хоть каким-нибудь союзным и каким-нибудь русским кораблем, — вот уж и факт, составляющий войну для тех, кому во Франции и Англии угодно будет ловить повод для войны с Россиею. Это если русский император сам не объявит войну за такое требование, согласится исполнить его. А согласится ли он? Абердин и другие министры, убежденные, что все зависит от них, не остановились этими соображениями: они поведут дело так, чтобы из него вышло прекращение войны между Россиею и Турциею. Однакоже они колебались согласиться на желание императора французов; они не хотели понимать, что оно ведет к войне; но оно не нравилось им своею резкостью, оно противоречило решению, только что принятому ими и заставившему Пальмерстона выйти в отставку; оно было в их глазах дурно своею щекотливостью для России. Но, думали они, разрыв с Франциею скорее ведет к войне с Россиею, чем эта щекотливая для России мера: Россия так или иначе должна будет исполнить требование, отнимающее у нее средства к серьезным наступательным действиям против Турции; а если Франция отделится от Англии, император французов слишком далеко пойдет вперед; лучше сдерживать его, и для этого уступить ему в вопросе не слишком важном. Притом же английская публика раздражена против русского императора; это будет хорошо и для ее успокоения.

24 декабря английское министерство, теснимое настояниями императора французов, уступило. Оно имело благородство открыто высказать, что поступает только по принуждению, против собственных соображений: «Мы объявили прежде, что не должно быть допущено повторение бедственных происшествий, подобных Синопскому, — говорил лорд Кларендон, — и что союзные флоты должны взять на себя власть на Черном море, и мы полагали наилучшим предоставить исполнение этих решений усмотрению адмиралов; но в наших глазах чрезвычайно важно то, чтобы не только было единодушие в общих распоряжениях между французским и нашим правительствами, но чтобы их инструкции их посланникам и адмиралам были одни и те же; потому мы согласились принять образ действия, предложенный императором французов». Когда это было решено, Пальмерстон согласился возвратиться в кабинет*. В Босфор были посланы

* И для отставки, и для возвращения был выставлен другой формальный предлог, относившийся ко внутренним, а не к внешним делам. Это правило, по возможности, всегда соблюдается, чтобы было как можно меньше видимых примет разногласия между политическими людьми по отношениям нации к другим нациям. Ясно, что выход Пальмерстона в отставку был са-

инструкции, составленные по желанию императора французов, только с тою оговоркою, что и турки не должны производить неприязненных действий на Черном море. Посланники Англии и Франции в Петербурге получили приказание одновременно уведомить графа Нессельроде об этом распоряжении своих правительств.

А без этого дело уже совершенно близко было бы к мирной развязке. Война России с Турциею не прервала косвенных переговоров между этими державами; они шли через посредство Венской конференции, которая, будучи представительницею всех четырех великих держав Запада, имела такое могущество, что все воюющие стороны должны были уступать ее решениям. Трудно было составить проект примирения, который был бы безобиден и для России, и для Турции, но 31 декабря 1853 года Венская конференция исполнила эту задачу.

Русский император в это время находил уже удобным уступить желанию четырех великих держав: синопская победа, успехи в нескольких делах с турками на армянской границе загладили досаду, произведенную безуспешностью посольства князя Меншикова; Россия могла помириться без всякого унижения для своей гордости. Расположение к этому не было уменьшено в русском императоре сообщением первоначального решения, принятого английским министерством по известию о Синопской битве: Россия вперед могла ждать, что следствием этого дела будет вступление англо-французского флота в Черное море для прекращения военных действий; английское министерство позабо-

мою существенно из причин, заставивших министерство согласиться на требование императора французов. Пальмерстон мог обратиться к публике, — публика была бы на его стороне; он мог низвергнуть министерство. Почему он был на стороне французского требования? Ясны две причины: одна — его уменье быстро понимать настроение публики и сообразоваться с ним; в этом главная сила и главный талант Пальмерстона. Он человек честный, но не с такими определенными убеждениями, как Дерби или Россель, Гладстон или Кобден. Он имеет довольно широкий простор приближаться то к тори, то к вигам; впрочем, он вообще виг, а не тори; тогда он шел к тому, чего и достиг очень скоро: стать законодателем в борьбе между вигами и тори, давая голоса своей партии вигам, на том условии, чтобы они покорялись его первенству: без него они не имели бы большинства. Этим его стремлением больше всего объясняется то, что он с самого основания декабрьской империи был расположен давать покровительство элизейской компании: она доставляла ему случай отличаться эффектами, которых не хотели делать ни тори, ни виги. А ему надобно было чем-нибудь зарекомендовать себя особенному расположению английской публики; для такой цели всегда недурен бывает умеренный авантюризм. Но и он сильно ошибся в существе дела: сначала он не думал, что его клиенты серьезно вовлекут Англию в тяжелую войну; когда война разыгралась, он уже и хотел серьезно продолжать ее до серьезного разрешения вопроса, из-за которого она велась Англиею, — он стал серьезным неприятелем России. Но тут был опять обманут, — наоборот против прежнего: элизейское правительство отказалось вести войну до серьезного решения спорных дел.

тилось в своем решении, чтобы эта мера была исполнена деликатным образом, без оскорбления гордости России. Потому, когда Сеймур сообщил об этом первоначальном решении своего правительства графу Нессельроде, граф спокойным и дружелюбным тоном отвечал, что, принимая в соображение неудобное для действий время года, он полагает, что русские корабли и не захотят выходить из Севастопольской гавани, и что, конечно, союзный флот не допустит и турок продолжать на Черном море военные действия, которых не будет с русской стороны; что решение английского кабинета, по мнению русского правительства, очень натурально и нимало не ведет к неприятностям между Россией и Англиею, и что Россия попрежнему остается готова принять проект примирения с Турциею, который изготовляется Венскою конференциею*.

Но между тем как это происходило в Вене и в Петербурге, из Парижа и Лондона ехали в Петербург курьеры с депешами о втором, оскорбительном для России решении, придуманном в Париже и принятом английскими министрами в угождение Наполеону III. Натурально, что миролюбивое расположение русского императора не устояло против такой щекотливой для него перемены. Принять меру для вынуждения обеих воюющих сторон сохранять нейтралитет на Черном море — это далеко не то, что объявить государю сильной державы прямое решение: «Мы отведем ваш флот в Севастополь, независимо от того, нравится ли вам самому установление нейтралитета на Черном море»; первое — только мера, внушаемая интересами нейтральных держав; второе — оскорбление, внушаемое желанием дать этой мере форму, унижительную для одной из воюющих держав.

12 января 1854 г. это обидное решение было формально сообщено русскому императору, — он отвечал на него приказанием своим посланникам выехать из Парижа и Лондона. Англия и Франция не могли после этого не вызвать своих посланников из Петербурга, и 21 февраля 1854 г. дипломатические сношения России с Англиею и Франциею были прекращены.

Это еще далеко было от объявления войны России с Англиею и Франциею. Но, освобожденный теперь от обязательства делать дружелюбные уступки мирным желаниям Англии, русский император решил, что ему нет надобности удерживаться от того, чтобы дать туркам наказание за объявление ими войны России. До сих пор русские войска на Дунае действовали только оборо-

* Само собою, что граф Нессельроде был предуведомлен заранее, заранее успел выслушать волю императора и говорил тут Сеймуру не свое только личное мнение, а решение своего государя. Со стороны Турции не могло быть отказа: проект примирения на этот раз был составлен Венскою конференциею при содействии, лучше сказать, руководстве Стратфорда, заранее вытребовавшего у турецких министров обязательство принять решение Венской конференции.

нительно, как решил император из любезности к Англии. Теперь он не захотел продолжать этого бездействия и решил действовать на Дунае наступательным образом.

Пока русские не действовали наступательно, военные действия на Дунае не имели и не могли иметь ничего серьезного; о них не стоит и говорить ни одного слова, кроме того, что нужно для объяснения следующих, более важных действий, которые, впрочем, даже и сами не очень важны: движение русских за Дунай и осада Силистрии, конечно, факты более значительные, чем мелкие атаки турок в предыдущий период войны и Калафатское дело, не имевшее никакого влияния на серьезные отношения между воевавшими армиями; но даже и осада Силистрии важна лишь тем, что послужила поводом к осаде Севастополя, а Калафатское дело имеет значение лишь настолько, насколько связано с ходом обстоятельств, по которому произошла осада Силистрии.

Русские войска вступили в Дунайские княжества не воевая, а только «занять территорию», занятие которой было не войною, а только «демонстрацией», угрозою войны. Когда Турция объявила войну, русский император почел это обстоятельство гораздо менее важным, чем сохранение хороших отношений с западными державами. Турки не могли сделать важного вреда русскому военному могуществу своими силами, слишком ничтожными для серьезных наступательных действий, и русские войска могли спокойно оставаться занимающими всю Валахию и Молдавию, пока одни только турки были неприятелями России.

Но это положение России относительно Европы и это расположение русской армии по Дунайским княжествам давало большие стратегические выгоды турецкой армии; ее главнокомандующий, Омер-паша, воспользовался ими. Русские обещались Европе не нападать, не переходить Дуная; турки атаковали, когда и где хотели, не боясь преследования за Дунай. Русские стояли по всей молдаво-валахской линии; но туркам нечего было бояться их наступления, потому Омер-паша мог безопасно собрать свои силы в данном месте, оставляя все другие пункты без обороны. Лучше всего для турок было действовать на крайнем правом русском фланге, самом дальнем от России, — Омер-паша перешел Дунай в самом западном углу Валахии, у Виддина, и занял Калафат. Русские четыре дня бились, чтобы вытеснить его из этой крепкой позиции; но у него были тут главные силы, и натурально, что перевес остался за ними. Это дело оскорбляло русскую гордость; удача тут и во многих мелких атаках по другим пунктам ободряла турок. Натурально было им иметь эти мелкие удачи, — они выбирали время и место для сражений. Разумеется, удача была только от бездействия русских; разумеется, русские

бездействовали только потому, что не хотели вести серьезную войну (даже и Калафатское дело не было важно, хотя и было довольно кровопролитно), но натурально, что эти мелкие досады должны были возбуждать охоту показать туркам, что нешуточная война не так легка для них, и когда русский император перестал видеть надобность сдерживать себя из-за дружбы с Англиею, он решил показать туркам, что не могут же они держаться против русских. После разрыва с Англиею он начал наступательную войну.

Он поручил Паскевичу составить план похода на весну 1854 года*. Паскевич твердо сказал, что если начинать наступление, то надобно бросить мысль, что русские войска могут оставаться занимающими всю Валахию, — западную часть ее следует очистить, чтобы сосредоточить силы для наступления. Путь наступления — один, другого никакого нет: русские переходят Дунай близ того угла, где он поворачивает свое течение на север, — это восточный край Валахии; переходя тут в Болгарию, русские прежде всего должны взять Силистрию (на болгарском берегу Дуная); идя далее, они встретят всю массу турецких сил в громадном укрепленном лагере, центр которого — крепость Шумла; если возьмут эту позицию и успеют перейти Балканы, русские идут на Адрианополь. Итак: Силистрия, Шумла, Адрианополь — другой дороги для наступления нет. Эта дорога далеко от моря**. Потому русские будут безопасны от союзного флота. Но без подвоза с моря сами они едва ли смогут проникнуть далеко на юг за Дунай. Впрочем, можно ждать того, что лишь бы пройти хоть небольшую часть дороги между Силистриею и Адрианополем, русская армия будет избавлена от дальнейшего — слишком трудного — похода вмешательством Западной Европы, которая потребует, чтобы Россия мирилась с Турциею: тогда уже Европа сама обязана заставить Турцию отказаться от войны, а русское правительство может принять всякие условия, потому что самолюбие будет удовлетворено успехами в первой части похода от Дуная на юг. Но, — прибавлял Паскевич, — и в эту первую часть пути можно пускаться лишь на том условии, чтобы Силистрия была взята раньше 1 мая; иначе не остается времени для успешной кампании***.

Англия и Франция знали, что результатом разрыва с ними будет движение русской армии за Дунай. Они еще не заключали никакого трактата с Турциею, но длинным рядом движений пришли в такое положение, что и без формальных условий обязаны были защищать турецкие владения. Сначала ничего другого и

* Кинглек, рассказывая следующие факты, основывается на бумагах, находящихся в собрании документов лорда Раглана.

** Среднее расстояние ее от берега по прямой линии — верст сто.

*** Кинглек хвалит Паскевича за суровую честность ответа на вопрос, ему предложенный.

не предполагалось: думали ограничиться поддержкою туркам в обороне от русского наступления. Французский инженер полковник Ардан и английский инженер сэр Джон Бургойн поехали в Турцию с поручением посмотреть, что и как можно сделать для этой поддержки, особенно в обороне пунктов, дающих господство над Босфором и Дарданеллами. Кроме того, было решено послать на восток небольшой английский и также небольшой французский отряд. Английский посылался на Мальту.

Немногие из министров полагали тогда, что этим отрядам придется действовать: остальные думали, что это останется только демонстрацией, делаемой для склонения России к миру. Потому и не было сделано приготовлений, нужных для употребления этих немногих батальонов на действительное участие в турецкой войне. Русские поняли это: они видели, что западные державы не посылают в Турцию агентов для закупки провианта и т. д., следовательно, угроза не серьезна. Они, вероятно, знали больше: когда военный министр, Ньюкестль, стал говорить, что на случай войны надобно увеличить армию*, остальные министры нашли это ненужным. Барон Бруннов, конечно, знал это.

Мало того: Абердин толковал встречному и поперечному, что Англия ни в каком случае, ни за что не будет воевать, что он не видит никакого основания ждать войны. Собственное миролюбие ослепляло его, он сам не понимал, что делает и куда идет. Барон Бруннов видел это лучше его и уведомлял свой двор, что миролюбие Абердина и большинства министров — не порука за сохранение мира. Но сам первый министр, человек честный и правдивый, искренно говорил противное: натурально было полагать, что глава правительства лучше всякого иноземного посланника может судить о положении и намерениях правительства, что барон Бруннов ошибается. Произошел еще странный случай, характер которого в то время не был понят правильно ни русским правительством, ни Европою; этот случай — знаменитое письмо императора французов к русскому императору**.

Необходимая надобность заставляла новое французское правительство постоянно хлопотать о том, чтобы заглушать во французах воспоминание о декабрьском перевороте подниманием шума в Европе и искать громкой знаменитости себе. Император французов действовал по этой необходимости. Когда Европа была спокойна, он, для спасения своей головы, был принужден возмущать ее спокойствие. Но когда дело уже подошло или подходило к войне, он охотно повернулся на другую дорогу для

* Читатель знает, что в Англии армия набирается вербовкою; в случае надобности значительно усилить ее, увеличиваются суммы, даваемые поступающим в солдаты, пока явится столько охотников, сколько нужно.

** Эпизод о письме я прямо перевожу, лишь с сокращениями.

достижения нужной ему славы: это было натурально, потому что он человек не кровожадный, даже не энергический, и нет причины сомневаться, что он, доведя Европу до того состояния, какое было в конце января, с искренностью сделал миролюбивый шаг, который сделал тогда. Война уже была приготовлена, — великие державы уже вовлеклись в нее, — тут ему, по его всегдашнему пустому тщеславию и театральничанью, очень естественно захотелось выйти на сцену и облагодетельствовать народы счастьем мира, чтобы они изумились и возблагодарили. А английские министры не алчны до таких аплодисментов и охотно согласились уступить императору французов лавры миротворца, лишь бы установился мир. Они уполномочили его говорить и от имени Англии. И вот 29 января он написал собственноручно письмо к русскому императору. Большая половина письма была написана неглупым и умеренным тоном, но оно было в особенности важно тем, что император французов брал на себя право говорить также и от имени королевы английской, а еще важнее было то, что он от ее имени угрожал войною. Предложив проект примирения, он говорил царю: «Примите этот план, в котором королева английская и я вполне согласились между собою, и тишина будет восстановлена. В нашем предложении нет ничего обидного для вашего величества; но если по какому-либо побуждению, трудно объяснимому, ваше величество отвергнете его, то и Франция, и Англия будут принуждены предоставить силе оружия и случайностям войны то, что теперь могло бы быть решено рассудком и справедливостью». Он писал это 29 января, когда английский кабинет еще не выражал русскому ничего подобного угрозе, которую он приносил от имени английской королевы.

Английские министры не любят употреблять угроз, не любят вмешивать в споры имя царствующего лица. Кабинету Абердина не могло не быть очень неприятно то, что Наполеон III выходит на европейскую сцену публично грозить русскому императору от имени английской королевы. Как объяснить согласие английских министров на это письмо? Очевидно: оно было предложено на их одобрение с многозначительным объяснением, что Наполеон III очень сильно желает их согласия, — они уступили из боязни того, что отказ поведет к отделению Франции от Англии, даже к предложению русскому императору союза с Франциею.

Письмо предлагало России заключить перемирие с Турциею для удобнейшего продолжения переговоров. Русскому императору нужно было много времени, чтобы собрать в окрестности Силистрии армию для задуманного им наступления. С этой точки зрения перемирие было выгодно ему. При известном тщеславии Наполеона III очевидно было, что, сделав неважное и безвредное удовольствие его самолюбию, Россия получит большой

дипломатический выигрыш. Но русский император прочел в письме угрозу и отвечал на нее напоминанием о 1812 годе*.

Это вело к войне. Но вела к войне и другая сила — тогдашнее настроение английской публики.

Когда восхищение ватерлооскою победою и другими торжествами в войнах с Наполеоном I стало остывать, англичане начали раздумывать о том, что победоносные войны обременили их долгами и налогами. Почти все войны с самого начала XVIII века и все войны с Франциею при республике и первой империи были ведены торийскими министерствами; потому виги натурально стали выразителями настроения, порицавшего войну, как вещь разорительную. Дело было ясно, потому тории не нашли

* Кинглек выражается так: «неблагоразумным напоминанием», — конечно, оно было лишнее; конечно, следовало бы пренебречь щекотливостью угрозы и смотреть только на выгоду, а выгода говорила, что лучше принять предложение Наполеона. Я с полною готовностью соглашаюсь, что это порицание справедливо, — оно было делаемо всею русскою публикою, в один голос, когда началась осада Севастополя, и русская публика стала с другой точки зрения перебирать факты, которыми прежде восхищалась. Но я советую публике припомнить два обстоятельства: она стала порицать отказ и намек на 1812 год, когда неприятель стал показывать нам, что мы, господа просвещенные русские, напрасно кричали: «шапками закидаем» — до Толбухина маяка и особенно до Севастополя мы храбрились.

Что стала бы толковать русская публика в феврале 1854 г., если бы услышала, что русский император, оставив без внимания угрозу Наполеона III, занялся сущностью дела и отвечал бы не угрозою и отказом, а словом: «согласен»? Что закричала бы русская публика, собиравшаяся тогда — почти вся — завоевывать Константинополь и чуть ли не половиною своей массы собиравшаяся завоевывать Париж? Русский император сделал ошибку; — это очень жаль; но не мешало рассудить, кто толкал его в эту ошибку, — возлюбленное большинство русской публики. Русский император — человек; он не может быть равнодушен к общественному мнению своей нации, он не вправе наносить обиды своей нации, он ее глава, правитель, представитель. Винават не он, а те, которые кричали: «Мы, русские, хотим закидать шапками; кто не хочет закидывать шапками, тот изменник отечества!» Надобно же быть справедливым хоть через десять лет. Русский император был в страшном положении; в это положение ставило его русское просвещенное большинство. Какой был выбор ему? Прошу рассудить.

Другое обстоятельство. Когда мы по поводу Толбухина маяка и Севастополя начали шушукать против своего правительства, мы повергались тогда перед гениальностью Наполеона III. Вознегодовав на отказ, которым восхищались прежде, мы восхитились письмом. Прошу рассудить, справедливо ли это? Мы видим, что письмо было написано с желанием мира; умно ли было вставлять в него угрозу войною? Очень неумно. Если отказ русского императора не был бы одобрен холодным судьей, то письмо императора французам еще несравненно менее заслуживало быть извавленным от порицания.

Эти заметки могут казаться русской публике обидны: я не признаю ее невинною жертвою, а она любит быть невинною жертвою. Но надобно же приучиться когда-нибудь слышать о себе правду. (Читайте дальше — вы увидите, как объясняется Кинглек с английскою публикою: он ей доказывает, что виноваты не Абердин или Россель (хоть они его политические враги), а она. Я много смягчаю выражения его суда над английскою публикою)**.

* ** Взятые в скобки в рукописи зачеркнуто. — Ред.

возможным спорить, а старались зарекомендовать себя публике уверениями, что и они не меньше вигов отвращаются напрасных войн. Таким образом, обе партии целых сорок лет хвалили мир; поверхностному наблюдателю должно было казаться, что в английской публике прочно укоренилось отвращение к войне. Когда через парламентскую реформу (1832) аристократия допустила средний класс к участию в управлении¹¹⁸, в палате общин образовалась особая партия представителей торгового сословия, в особенности фабрикантов (манчестерская школа); она была малочисленна, но незадолго перед тем одержала великую победу, принудив большинство нижней палаты отменить хлебные законы¹¹⁹ и принять во внутреннем управлении, особенно в финансах, принципы, объясненные политической экономией. Потому она воображала себя довольно сильною; другие партии, виги и тори, также думали, что она имеет более прочный вес в публике, чем она действительно имела. Она по принципу была против наступательных войн. Публика, серьезно поддерживавшая ее в борьбе против хлебных законов, продолжала с удовольствием слушать ее красноречивых ораторов, Кобдена и Брайта, аплодировала им; когда они говорили против войны, она также аплодировала и воображала, что сочувствует их принципу, между тем как на самом деле только увлекалась их сильною логикою и ораторским талантом.

Но при первом соблазне публика, уже успевшая забыть тяжелый опыт войн с французскою республикою и первую империю, начала играть в воинственность и постепенно разгорячилась. Ей нравилось рассуждать, что турки руководятся советами английского посланника, что турки уважают Англию и слушаются ее, — от этого явилось расположение хвалить турок в их дипломатической борьбе с русским правительством, потом называть их молодцами за то, что они храбро дерутся на Дунае, — Синопская битва произошла так, что показалась Европе коварным нападением; мы видели, что это неправда, но таково было первое впечатление, и английская публика вовсе рассердилась на русское правительство за эту битву. Такою игрою в сочувствие войне, раздражением на насильственные меры русского правительства английская публика подготовила себя к тому, что действительно одушевилась воинственностью, когда пришло время серьезно сказать, чего она требует от своего правительства, — войны или мира. Конечно, если бы этот вопрос был предложен ей во-время, она одумалась бы; но дела шли так, что само английское правительство не понимало, к чему они идут; а публика тем меньше остерегалась в своей игре, что видела министрами людей, имена которых ручались ей, что делается все возможное для сохранения мира, что войны не будет, или если будет, то разве неизбежная и самая справедливая. Особенно сильно ручались за это имена Абердина и Гладстона.

Вся политическая жизнь Абердина свидетельствовала, что он ненавистник всяких войн. Но война с Россией была ему ненавистнее всякой другой. Он имел большое личное расположение и уважение к императору Николаю Павловичу. С самого начала несогласий он твердо решил, что выйдет в отставку, если дело будет терять мирный характер; он внимательно всматривался каждую минуту, не надобно ли ему исполнить это решение; он вовсе не имел влечения быть правителем, и ему было бы приятно удалиться на отдых при первом случае к отказу от звания, которое он принял на себя, лишь уступая просьбам других. Но напрасно всматривался он в свои шаги, — он не мог заметить ни одного, который не вел бы, по его мнению, к миру, и, мучась тем, что война как будто становится все вероятнее, он воображал, что отвращает ее. Он слушал и одобрял совещания своих товарищей, читал депеши Кларендона, писанные по этим решениям, в них все было хорошо, и он оставался в должности. Публика, видя его главою министерства, оставалась убеждена, что правительство делает все возможные усилия и уступки для сохранения мира.

Абердин был человек неглупый, но не особенного ума. Гладстон — человек очень даровитый, в нем много тонкого ума; он или первый, или второй из нынешних ораторов Англии. Красноречие его увлекательно. Он человек чрезвычайно добросовестный. Убеждение и долг для него бесконечно выше всего, так что никакая слабость, ни тщеславие, ни властолюбие не затемняют для него вопросов, когда вопросы идут о том, честно ли дело. Его друзья постоянно досаждают на щепетильность его совести, доходящую до излишества, до того, что с ним трудно вести общее дело; он беспрестанно готов сложить в себя должность из-за мелочного уклонения от того, что кажется ему справедливым, — он честен до наивности. Он также ненавистник всяких войн. Он правитель очень бережливый на деньги нации. Тогда он был канцлером казначейства (министром финансов). Неужели такой министр финансов остается в должности, если дело ведется к войне и войне напрасной? Он человек такого ума, что не позволит играть собою, обманывать себя.

И эти люди оставались министрами. Большую отвагу, большую самоуверенность и мнительность надобно было иметь человеку, чтобы предполагать английское правительство идущим к войне, когда первый министр — Абердин, когда деньги на войну должен выдавать Гладстон. Потому публика и шалила в игру воинственностию. А когда в феврале 1854 года публика увидела, наконец, что дело уже на один шаг от войны, она не могла усомниться в том, что война справедлива и необходима. Как же иначе? Англия вовлекается в нее, имея министрами Абердина и Гладстона. Дело в том, что Абердин и его товарищи действительно направляли корабль к тишине, — они только не заме-

чали, что попали с своим кораблем в течение, уносящее его в войну, наперекор их стараниям*.

Итак, Англия шла к войне через игру своей публики в воинственность и через отдельный союз с элизейским правительством, хотевшим занять Францию какою-нибудь внешнею тревогою, войною или не войною, все равно, лишь бы только был шум. Этот отдельный союз двух держав имел силу одолеть Россию, но не имел такого явного и решительного перевеса силы над Россиею, чтобы русское правительство могло решиться на отступление без борьбы, как отступило бы, нисколько не унижаясь, перед союзом всех четырех великих держав, опирающихся на все остальные: уступать воле всей Европы — это не щекотливо для самолюбия никакой из отдельных наций, никакого из правительств. Была ли надобность для Англии и Франции выдвигаться отдельною парюю вперед остальных, двух других великих держав и остальной Европы?***

* Кинглек рассуждает также, почему ни Брайт, ни Кобден, представители партии мира, не могли ничего сделать и никто не слушал их. Дело очень просто: их принципы по делам войны и мира — принципы политической экономии и гуманной рассудительности — еще совершенно чужды убеждениям массовых публики. По вопросам, в которых страсти сходятся с рассудком, Кобден и Брайт могли сделать многое; это вопросы таможенные, промышленные, специально финансовые. Да и то нужна была многолетняя агитация, чтобы добиться успеха. Если правительство не умеет устранить соблазна по вопросам иностранной политики, особенно по тем, в которых замешивается военная амбиция публики, то представители рассудка вообще не могут иметь успеха в борьбе с публикою. Публика в этих делах еще юноша, склонный кутить и пить: никто не удержит его, когда ему подставляют вино и карты. Брайт прямо известен за «человека, не дорожащего честью своей родины». Это потому, что он не воспринимается Ватерлооской битвою и говорит: «Зачем было Англии соваться в эти распри? Пусть бы другие, если хотели, воевали из-за того, кому из них быть больше разоренным. Мы не остались бы слабее от того, что не разорвались бы без надобности на поддержку распри континентальных держав. Нам не было опасности, когда сами пошли на драку, — Франция не имела охоты начинать войну с нами». Такие мнения еще не могут иметь серьезной власти над массою, когда является соблазн.

** Прошу помнить, что здесь у меня не русская, а европейская точка зрения. Надобно же нам знать, как другие нации смотрят на вещи. То, в чем Европа была, по-моему, несправедлива, я оговариваю. Но тут существенные, прочные интересы России и русского правительства были одинаковы с интересами Европы. Если по чьей бы то ни было ошибке — по нашей и английской, — если по чьему-нибудь коварству, — по элизейскому, — Россия возбудила против себя негодование Европы, то уже неудобно и нам рассуждать на основании принципа, что мы можем закидать шапками Европу — ни мы, ни французы, никто не может иметь такой силы, — надобно рассуждать о том, может ли дело быть улажено без нарушения наших существенных интересов. Всегда может, если мы будем рассудительны: Европа не имеет надобности серьезно желать вреда нам; она когда поднимается против какой-нибудь державы, то всегда лишь для ограждения себя, а не для вреда этой державе. Если она ошибается, надобно объяснять; если она не удовлетворяется объяснениями, надобно глубже вдуматься в дело, чтобы рассмотреть, почему ж не удовлетворяется и в чем причина несогласия взгляда нашего и ее. Это всегда поможет делу.

Англия и Франция только тогда имели бы причину выступать вперед одни против России, если бы великие державы, ближе их заинтересованные в деле, Пруссия и особенно Австрия, ближайшая к театру войны, колебались идти к той цели, достичь которой Франция и Англия считали нужным делом. Но Пруссия и Австрия не колебались. На конференции в Вене, по общему согласию четырех держав, принимались такие решения, при которых не оставалось никакой нужды в отдельном действовании Англии и Франции. В то время как эти две державы, действуя отдельно, только оскорбляли и раздражали русского императора угрозами, к исполнению которых еще не были готовы, Венская конференция, на которой представители их действовали по осмотрительным и твердым соображениям венского кабинета, спокойно принимала меры гораздо более решительные, но совершенно безобидные для России.

В январе Венская конференция четырех великих держав одобрила проект мирных условий, составленных турками, т. е. Стратфордом, искренно желавшим мира, и решила требовать, чтобы Россия согласилась на эти условия. Граф Орлов и барон Будберг¹²⁰ приезжали в Вену и Берлин, чтобы сколько-нибудь отклонить Австрию и Пруссию от решительной политики. Они получили полный отказ и уехали с ответом, что Австрия и Пруссия буквально будут следовать решениям, принимаемым на Венской конференции ими вместе с Англией и Францией. В Берлине барону Будбергу сказали: «Мы должны сохранить европейское равновесие и сохраним его, несмотря ни на что». В Вене Франц-Иосиф¹²¹ сказал графу Орлову. «Я руковожусь интересами моего государства».

Говорят, будто русский император был лично огорчен, узнав, что Франц-Иосиф против него. Он любил молодого австрийского императора, во всех поездках своих брал с собою его статуэтку. Это было чувство опекуна, привязанного к питомцу. Он долго не хотел поверить, что Франц-Иосиф готов противиться ему оружием; когда невозможно стало сомнение, он, как говорят, приказал взять статуэтку его из комнаты, но не сказал ни одного горького слова, только печально закрыл глаза рукою.

Но каковы бы ни были личные чувства приязни между государями немецкими и русским, правительства Австрии и Пруссии шли вперед на Венской конференции. 2 февраля она единогласно отвергла изменения, какие русский кабинет желал в проекте условий мира. 14 марта Австрия и Пруссия послали циркуляр к остальным немецким правительствам, объясняя, что в деле сильно замешан интерес всей Германии и нужно ее общее содействие. Когда Австрия и Пруссия говорят вместе, они распоряжаются всею Германиею. 18 марта король прусский потребовал у своих палат 30 миллионов талеров на приготовление к войне, объявляя, что будет твердо следовать политике Венской

конференции и защищать всякую державу германского союза (т. е. Австрию), которая вступила бы в войну с Россией. А уже раньше того Австрия сделала распоряжения, дававшие ей силу прекратить войну на Дунае: 6 и 22 февраля она послала 50 000 человек в подкрепление своей армии на валахской границе и потребовала, чтобы Англия и Франция согласились с нею в назначении срока, в какой должны быть выведены русские войска из Дунайских княжеств. Пруссия одобрила это, и 25 февраля Мантейфель, глава прусского правительства, написал в Вену, что оно горячо поддержит Австрию. 29 марта император австрийский назначил эрцгерцога Альбрехта главнокомандующим войск, собранных на валахской границе; около того же времени была приведена в готовность к войне австрийская «Третья армия». Император австрийский назначил набор в 95 000 человек. Все четыре державы Венской конференции продолжали заявлять в протоколах ее, что «действуют в полном согласии относительно цели, и ни одна из держав не будет вести отдельных сношений с Россией». 20 апреля (когда отдельный союз между Францией и Англиею заставил другие две державы также определить точнее свои частные отношения) Австрия и Пруссия заключили формальный трактат, которым взаимно обязывались «защищать интересы Германии» — т. е. на нижнем Дунае, «против всякого врага» — т. е. против России, и говорили, что когда «одна из них начнет наступательные действия», т. е. Австрия на Дунае, то другая «обязана отражать нападения на нее», т. е. Пруссия воевать с Россией, если бы Россия вздумала мстить Австрии нападением на галицийскую границу за принуждение вывезть русские войска из Дунайских княжеств, где успешная борьба с Австриею была невозможна для нее. Следующие статьи трактата прямо и говорили, что он имеет это назначение и что Австрия обязывается потребовать удаления русских войск из Дунайских княжеств с обеспечениями против занятия их русскими в будущее время, что в случае отказа Австрия начинает войну и Пруссия будет самым сильным образом поддерживать ее, «предоставляя в ее распоряжение все свои силы».

23 мая все четыре державы вновь подтвердили протоколом конференции, что имеют одну и ту же цель — удаление русских войск из Дунайских княжеств и охранение неприкосновенности Турции. 3 июня, с полною поддержкою от Пруссии, Австрия выразила России требование, чтобы русские войска были выведены из княжеств. У ней была готова армия, против которой они не могли держаться на Дунае. 14 июня она заключила с Портою конвенцию, по которой получала от Порты полномочие занять своею армиею Дунайские княжества и обязывалась «в случае надобности, по истощении мирных убеждений, удалить русские войска из этих княжеств силою», и через два дня потребовала у всех второстепенных государств Германии обязательства под-

держивать ее в этом, как обязалась Пруссия. Россия, как и следовало по необходимости, немедленно уступила требованию: 23 июня была снята осада Силистрии, русские войска пошли из княжеств.

Это было сделано не только без вооруженной борьбы между Западом и Россиею, даже без дипломатического разрыва между Россиею и Австриею, которая тут действовала от имени всей Западной Европы, опираясь на военные силы Пруссии и всей Германии, с поддержкою двух остальных великих держав. Необходимость уступить могла быть неприятна русскому императору, но не имела в себе ничего обидного для него или для России. Дело было ведено умеренно, с сохранением полного уважения к России, осмотрительно, без угроз, только заявлением того, что интересы Европы, в особенности Германии и Австрии, принуждают к принятию таких мер, какие кажутся неизбежны для спокойствия держав, которым тяжело видеть эту надобность.

Итак, война на Дунае прекратилась. Могла ли Россия не заключить мира? Для нее становилось совершенно напрасною вещью не заключать его. Она могла теперь продолжать военные действия только на армянской границе в Малой Азии. Но чрезвычайная отдаленность этого театра войны от мест, из которых шла сила России, затруднительность путей сообщения Армении с европейскими провинциями России, дикая непроходимость самого театра войны, — все это отнимало всякий шанс, чтобы военные операции могли иметь важное влияние на судьбу Турции, доставить какие-нибудь существенные выгоды России, — Россия напрасно тратила бы тут свои силы без вреда для Турции. Ясно, что мир с Турциею был уже совершен на деле через отступление русских войск из Дунайских княжеств. Оставалось бы только уладить дипломатические формальности.

Так действовала Западная Европа, выставляя в своем авангарде Австрию. И все обошлось бы благополучно, если бы не было, кроме того, отдельных действий англо-французского союза. На деле шла впереди Австрия, как и следовало по отношению местности и требованиям интересов; она действовала так, что другим державам не оставалось ни места, ни надобности соваться вперед. Но англо-французский союз, бывший далеко позади ее по действительной готовности к существенным мерам, храбрился, грозил и обижал, и когда причина к войне была устранена, он уже был в таких отношениях с Россиею, что должен был воевать — ни из-за чего, неизвестно для чего, не будучи вовсе и готов к действительному ведению войны.

Как произошла эта ужасная нелепость, разорившая Россию, изнурившая Францию, Англию, Турцию, заставившая Австрию продолжать страшные траты на военное положение, отозвавшаяся тяжелыми пожертвованиями на Сардинии, Пруссии, на всей Германии?

Очень просто: элизейское правительство коварствовало, английская публика играла в воинственность, и когда Австрия сказала: «все сделано», — английская публика, увидев, в какое положение зашло ее правительство, уже серьезно сказала: «не воевать — будет позор для Англии»; элизейское правительство струсило, сказала английскому: «делайте, что хотите»; английские министры должны были отвечать: «начинаем войну, Англия поведает нам», и Раглан повел Сент-Арно с его армиею и своею армиею под Севастополь.

Дело вышло очень незамысловатым образом, как видим, но оно любопытно именно по своей незамысловатости. Одни двоедушничали, другие шалили, третьи (т. е. мы) упрямылись, — и все это только для развлечения себе, только играя, — и доигрались до потери нескольких тысяч миллионов рублей серебром и погубления миллиона людей, ни для чего, ни в чье удовольствие. Хотя бы в удовольствие кому-нибудь, — нет, и того не было.

Мы видели, что все меры, которые вели к войне, были принимаемы английским правительством против его убеждения, без всякой действительной цели, только в угоду элизейскому правительству. Точно так же была принята и та мера, из которой уже неизбежно вышло объявление войны, — была принята самым диким образом.

Собрав свои войска на валахской границе, Австрия, как мы говорили, решила послать России требование, чтобы русские войска были выведены из Дунайских княжеств. Надобно было, чтобы и тут, как во всем, остальные три державы Венской конференции поддерживали ее (Пруссия так и сделала: спокойно отвечала на это заявление, что поддержит его). Надобно было с общего согласия определить срок, какой будет объявлен России для вывода войск. Граф Буоль (глава австрийского правительства) сказал Буркне, французскому посланнику в Вене, что Австрия намерена сделать требование о выводе войск и что если Англия и Франция согласятся в назначении дня срока, то Австрия сделает это требование. Что ж устроилось из этого? Вот что. Австрия должна была стать главной исполнительницею требования; конечно, Россия уступила бы ему без борьбы. Но следовало предвидеть и другой случай, хотя неправдоподобный: Россия могла отвечать отказом; тогда австрийские войска шли бы вытеснять русскую армию из княжеств силою оружия, а русские в отмщение за это двинулись бы из Царства Польского в Галицию. На такой случай следовало Пруссии быть уже готовою не пустить их. Поэтому, действуя совершенно серьезно, Австрия должна была подождать, пока Пруссия вполне приготовится исполнить это обязательство. Отправление требования Австрии к России и срок, назначаемый для вывода русских войск, определялись временем, в какое будут готовы прусские войска. Но элизейское правительство опять посмотрело на меру, предлагаемую

Австрию, не как на серьезную меру для достижения серьезной цели, а как на средство произвести эффект: если требование заявится Австрию, Англия и Франция остаются на втором плане; надобно им поспешить, чтобы отличиться перед Европою и чтобы Европа знала, что все это устроивается мудростью и энергией элизейского правительства. Как только узнало оно о намерении, выраженном Буолем Буркне, оно тотчас же объявило английскому кабинету, что, «по его убеждению», надобно немедленно выразить русскому кабинету от имени Англии и Франции, что русские войска должны быть немедленно выведены из княжеств, так, чтобы и последние отряды их уже перешли обратно Прут, «например, к концу марта», а это было в конце февраля. Английский кабинет спросил в Вене, готова ли Австрия на это; Австрия отвечала: «еще нет»; Пруссия не раньше как через полтора месяца могла успеть приготовить свои войска, — раньше того требование было преждевременною, опрометчивою угрозою. Но элизейское правительство настаивало перед лондонским кабинетом «немедленно требовать немедленного вывода», — английская публика уж сильно горячилась в это время, министерство под тяготением общественного мнения уступило настойчивости элизейского союзника, которому после неудачи письма 29 января надобно было спешить устроением нового эффекта, — и Англия с Франциею отправили в Петербург требование, чтобы в течение шести дней от получения этой депеши русское правительство дало ответ, что оно обязывается совершенно очистить Дунайские княжества к 30 апреля. Австрийскому правительству не было и сообщено об этом решении. Курьеры поехали из Лондона и Парижа уже с готовыми, подписанными бумагами в Петербург через Вену, где никто и не знал, что они едут с такими депешами к графу Нессельроде. Когда английский курьер явился к английскому посланнику в Вене Вестморланду, Вестморланд поспешил уведомить Буоля о том, какая депеша едет в Петербург, задержал курьера на несколько часов, чтобы получить ответ от Буоля; но Австрия не могла присоединяться к преждевременной угрозе, делаемой без совещания с нею, когда она и Пруссия еще не готовы сопровождать слова действиями; Буоль не мог сказать ничего, кроме того, что он одобряет эту меру, да и в инструкции Вестморланда было сказано не то, что «лондонский кабинет требует соучастия венского в этой депеше», — нет, соучастие Австрии отодвигало бы Францию на второй план, а только «надеется на одобрение венского кабинета». Итак, дело было устроено так, что Австрия не могла и не приглашалась сделать то, что должна была и хотела сделать именно она, и требование было заявлено только от имени Англии и Франции. Буоль мог и успел только дать английскому курьеру наскоро составленное решение Венской конференции, отвергавшее составленный в Петербурге проект мирного трактата и требовавшее принятия проекта, прежде того составленного в Вене, но он

еще не мог прибавить, что отказ России вывести войска из княжеств в срок, назначенный Англиею и Франциею, будет принят Австриею за объявление войны.

Итак, в Петербург явилось требование Англии и Франции, отдельно от Австрии и Пруссии: эти две державы только выразили, что убеждают Россию согласиться на желание Англии и Франции, но сами не высказывали, что требуют того же и что примут отказ за войну. А требующие державы не имели войск в готовности к делу: их требование было только хвастливыми словами. Союз их двух не имел такого могущества, которому не стыдно было бы подчиняться, и 19 марта граф Нессельроде объявил, что русский кабинет не считает нужным давать какой бы то ни было ответ на англо-французское требование. Это было равнозначительно отказу, Англия и Франция стали в необходимость объявить войну, это уже разумелось само собою. 27 марта император французов уведомил сенат и законодательный корпус, что отказ России поставил Францию и Англию в состояние войны с Россиею. 28 марта обнародована была в Лондоне такая же прокламация от имени королевы. 10 апреля Англия и Франция заключили формальный союз между собою для общего ведения войны.

Глава четвертая

Главкомандующие союзной армией Сент-Арно и Раглан. — Раглан в Тюильри. — Сцена, устроенная Стратфордом и Рагланом для Сент-Арно по случаю назначения Сент-Арно турецким главнокомандующим. — История о том, как Сент-Арно делал себя главнокомандующим английской армии. — История о том, как французы хотели не идти на войну, потом хотели спрятать союзную армию, чтобы она «не была в опасности от русских». — Тяжелое положение действительного командира французской армии полковника Трошю. — Союзная армия в Варне. — Влияние осады Силистрии и дела под Журжею на настроение английской публики. — Настроение английской публики раздражается бездействием союзного флота на Балтийском море, из этого возникает Севастопольская экспедиция. — Роль «Times'a» и диктатура герцога Ньюкестля: он от имени английской публики повелевает английскому министерству двинуть союзную армию на Севастополь. — Император французов повинуется английскому кабинету; английский кабинет против собственной воли повинуется английской публике, — парламент молчит, потому что и сам не посмел бы противиться ей, — Раглан повинуется инструкциям кабинета и письму герцога Ньюкестля, против воли английских министров и собственной воли он принуждает себя и Сент-Арно плыть на Севастополь. — Совещание английского кабинета 28 июня. Военный совет в Варне 18 июля. — Осада Севастополя решена. — Новый военный совет в Ваоне 28 июля; французы надеются отменить решение о Севастопольской экспедиции. Раглан опять одолевает. — Прогулка Сент-Арно по Черному морю. — Канробер и Мартенпре сочиняют — уже на переезде в Крым — новый план спрятать союзную армию от Севастополя и вообще от русских. — Милая проделка французов при высадке. — Опасения союзников и средство, обеспечившее маршала Сент-Арно от русских нападений. — План битвы, составленный французами. — Альмская битва.

Французские и английские войска были торопливо отправляемы в Дарданеллы. В половине апреля отправились в Константино-

поль и главнокомандующие: Сент-Арно и Раглан. Разница этих людей была довольно точным отражением разности характера правителей, объявивших войну России, и разности мыслей, с которыми выступали они на войну.

Маршал Сент-Арно, урожденный Жак ле Руа, не без оснований заменил свое прежнее имя новым. Впрочем, напрасно воображали, что он человек сильный в злодействе. Он совершал ужасные вещи, но это не мешало ему быть человеком, очень далеким от твердости характера, которая дает право назвать человека злодеем: он был только человек, способный делать все дурное, когда представится случай, а случаи представлялись часто, потому что он был человек с пылкими страстями, алчный на все: и на чины, и на наслаждения, и на деньги. Это был француз вроде пройдох старого века, времен Людовика XV: отважный, веселый, беззаботный, пустой, но способный быть администратором. Чужая жизнь была ему нипочем. В алжирской войне он приобрел репутацию предприимчивого офицера и мастера удерживать в повиновении полупокоренный округ беспощадными мерами. Он был очень хилого здоровья от излишеств кутежа; потому нельзя сказать — от природы ли, или только от припадков болезней он был лишен твердости характера. Но энергические порывы вспыхивали в нем беспрестанно, и лишь проходил упадок духа от болезни или беды, он тотчас делался бодр и весел, как ни в чем не бывало. Он был бессовестен, потому беспощаден; но без выгоды не был жесток: он говорил даже, что он добродушнейший человек в мире. В промежутках черных дел он танцевал и пел. И женщинам, и важным людям он писал стишки, чтобы войти в милость. Был человек очень живой, неусидчивый. С молодости нравы его были таковы, что ему пришлось три раза начинать военную карьеру: два раза его выгоняли за дрянные поступки или он должен был бежать по тем же причинам. Сделавшись офицером в 1816 году, он скоро принужден был снять эполеты и много лет прятаться от прежних сослуживцев; он провел эти годы за границею и выучился говорить на нескольких иностранных языках (между прочим, очень хорошо на английском). О своей жизни в Англии он молчал — и основательно. После революции 1830 года он возвратился во Францию и, уже имея 33 года, во второй раз начал офицерскую службу с первого чина. Написал поздравительные стишки Менье, за них получил следующий чин. «Значит, и стишки не пустая вещь», — говорил он. Следующее предприятие его было прозаическое. Бюжо, тогда окружной генерал, потом главнокомандующий в Алжирии, написал брошюрку о военном деле. Сент-Арно перевел ее на несколько языков и поднес плод трудов своих окружному генералу с надлежащим письмом; Бюжо принял переводчика в свою милость и не покидал его до самой своей смерти: тотчас же взял Сент-Арно в свой штаб, скоро сделал его одним из своих адъютантов. Когда герцогиня

Беррийская содержалась под арестом, Сент-Арно, взявшись быть ее надзирателем, умел, не ссорясь с нею, шпионить очень недурно. Все это обещало ему хорошую карьеру. Но опять он должен скрыться, и карьера рушилась во второй раз.

В 1836 году, уже на 40-м году жизни, он в третий раз начал ее с первого офицерского чина, на этот раз в «иностранном легионе», куда принимали смелых людей, не разбирая их деяний. Солдаты этого легиона были люди, не дорожившие жизнью; с ними отважному офицеру можно было отличиться, а Сент-Арно говорил: «Выйду в отличия или сломаю себе шею». И всячески искал отличий, — до того, что даже с постели, больной, таскался на места схваток с кабилами, не для того, чтобы участвовать в деле, а хоть для того, чтобы имя его вошло в список офицеров, бывших в деле. Но при взятии Константины ему действительно удалось сделать подвиг: мина, неловко взорванная, подняла на воздух много французских солдат; другие бежали в смятении. В роте Сент-Арно были выходцы из северной Европы — немцы, шведы, англичане, датчане. Он крикнул: «ура!» Воинственный зов, родной всем им, не употребительный у южных народов, давно не слышанный ими, подействовал на них электрически. Они бросились вперед, увлекая других, и брешь была взята. Ее взятие решило сдачу крепости. Когда он по временам уезжал во Францию для поправления здоровья, он и тут с редкою силою воли искал случаев отличиться. Если, например, бывал пожар, его видели работающим в пламени, пробирающимся с кровли на кровлю по веревке или жерди. В начале его алжирской службы, когда в Алжирии был Бюжо, этот патрон сильно подвигал его по чинам, да и сам он исполнял отважные дела, потом выказал административное дарование, и благодаря этому в восемь лет поднялся он из первого чина до полковника, занимающего команду, обыкновенно даваемую генералам. Он был ужасом племен его военного округа.

«Когда я видел его в это время, в 1845 году, — говорит Кинглек, — он вел колонну мстить возмущившемуся племени и должен был углубиться в пустыню на пять недель пути. Он говорил с энергическою ясностью понимания дела, с увлечением. Мы ехали рядом с этой «летучей колонною», устройство которой он объяснял мне, и его меткие слова казались мне мастерским военным языком. Но его впечатлительное лицо было так занято шумною и мишуною стороною его положения, он так восхищался суетливым галопированием его адъютантов к нему и от него, треском барабанов, блеском своих эполет, полуприкрытых, полуоткрытых грациозно драпированным кебааном, так рисовался своею посадкою на горячей арабской лошади и ее курбетами, что не показался мне человеком, которого выберут некогда для исполнения страшных тайных дел. А между тем обнаружилось потом, что он умеет хранить тайну, — да и тогда было у него на душе дело, которого не выдал он никому, не то что мне, видевшему его в первый раз,

но и никому, — такое дело, какое немногие умели сделать и сохранить в секрете от всех: Шеласское дело, о котором я рассказываю дальше».

Мы видели, что перед декабрем 1851 г. решительный и предприимчивый Флэри поехал в Алжирию искать генерала, пригодного к званию военного министра для содействия в перевороте. Жизнь господина Сент-Арно, урожденного ле Руа, была такова, что нечего было конфузиться сделать ему предложение, которое другие называли бы бесчестным, а способности у него были достаточные для звания военного министра: кто умел управлять большим военным округом, сумеет управлять военным министерством, как нужно Флэри и компании; командир колонны, которая была прозвана «адскою», не покажет недостатка в беспощадности, когда понадобится. Но сумеет ли хранить тайну человек такой легкомысленный? В архиве правительства был секретный рапорт, доказывавший, что на этот счет он человек благонадежный.

Сент-Арно нашел прекрасным делом подвиг, совершенный Пелисье ¹²² в 1844 году в Дахрской пещере: Пелисье задушил дымом арабов, спрятавшихся в пещеру. Но Сент-Арно очень тонко наблюдал, что похвала Европы этому деянию несоразмерна одобрению, какое заслужил герой от военных начальств. Сент-Арно принял во внимание оба эти обстоятельства. Летом 1845 года он получил тайное уведомление, что толпа арабов скрывается от преследований в Шеласской пещере. Он пошел туда с отрядом. Одиннадцать человек вышли навстречу ему и сдались. Но Сент-Арно знал, что в пещере остаются 500 человек, никто другой из французов не знал этого. Он положил: задушить их дымом. В этом он был только подражатель Пелисье (полагают, впрочем, что Пелисье оставил не заложёнными хворостом некоторые из выходов пещеры и употребил душение дымом только для принуждения прятавшихся выйти и сдаться); но усовершенствование в исполнении дела принадлежит уму самого Сент-Арно. Он решил сделать так, чтобы подвиг остался тайною от офицеров и солдат, исполнявших операцию разложения и зажжения костров, — и они не знали, что делают. Он только донес о своем подвиге генералу Бюжо, похвалы которого искал и заслужил этим делом, и написал своему брату; из остальных никто не узнал смысла бивуачных костров, горевших у входа в Шеласскую пещеру: «Я герметически заложил все отверстия, — писал он брату, — сделал пещеру могилою. Никто не входил в нее; никто, кроме меня, не знал, что в ней 500 разбойников, — ну, теперь они больше не будут убивать французов. Секретным рапортом я рассказал это маршалу без мелодраматической поэзии. Брат, нет на свете человека добрее меня по природе и влечению характера. С 8-го до 12-го числа я был болен; но моя совесть не упрекает меня. Я исполнил свою военную обязанность и завтра готов повторить то же. Но Африка надоела мне».

Человек, который сумел сделать свой отряд не знающим ничего исполнителем такого секрета и потом сохранить этот секрет от всех исполнителей его, справедливо казался Флэри именно таким человеком, какой нужен. Сент-Арно был вызван в Париж и сделан военным министром. Франции известно, что он вполне оправдал мнение Флэри о его способностях. Он сохранил тайну, ему вверенную, и если колебался в ночь 1/2 декабря с 12 часов до 3, то после 3 часов исполнил все поручения: к рассвету Франция уже была удушена.

Между людьми, захватившими большую добычу, часто возникает несогласие из-за дележа. На долю Сент-Арно шло очень много, как и было справедливо; но его надобности были громадны, а он имел бесспорное право требовать, чего хотел, и беспрестанно приходил к главному сообщнику со словами: «давай еще». Его здоровье было так хило, что он не мог командовать действующею армиею. По временам, правда, он бывал свободен от страданий и пылал энергиею; но по временам совершенно расслабевал телом и становился неспособен заниматься. Говорят, однакоже, будто бы он, несмотря на это, искренно желал командовать армиею в европейском походе, когда будет такой поход. Желал он этого или нет, но он говорил это, — император поймал его на слове, будучи рад удалить на нижний Дунай опасного и ненасытного друга. Кажется, элизейская компания и сама не считала Сент-Арно имеющим военные таланты, нужные главнокомандующему, так надобно заключать из того, что к нему определили адъютанта с полномочиями, дававшими власть требовать, чтобы маршал исполнял его советы о том, что надобно делать.

Таков был французский главнокомандующий. Личность, общественное положение и репутация английского были совершенно иные.

Лорд Физрой Сомерсет, впоследствии лорд Раглан, был человек одного из знатнейших домов английской аристократии, — младший сын герцога Бьюфорта. Теперь ему было уже за 65 лет. Он вступил в службу в 1804 году. Веллингтон, назначенный главнокомандующим в испанской войне, взял молодого офицера в свой штаб, когда отправлялся на войну (1808), и приблизил его к себе: они ехали в Португалию на одном корабле, вместе учились тут в каюте испанскому языку. Все время войны Сомерсет был подле Веллингтона, сначала его адъютантом, потом его военным секретарем. По восстановлении Бурбонов он сделан был секретарем английского посольства в Париже и в это время женился на племяннице Веллингтона. По возвращении Наполеона с Эльбы он опять стал военным секретарем и адъютантом Веллингтона в походе 1815 г. Под Ватерлоо он потерял правую руку. Но скоро выучился очень легко писать левою рукою. По окончании войны возвратился секретарем посольства в Париж. В 1819 г. его вызвали в Англию и сделали правителем дел при главноуправляющем артил-

лерийским и инженерным ведомством (Secretary to the Master-General of the Ordnance), в 1827 г. — военным секретарем главного начальника военных сухопутных сил (Military secretary to the Commander-in-Chief at the Horse Guards) Веллингтона. В этой должности (ближе всего соответствовавшей в русском устройстве званию дежурного генерала при военном министре) он оставался до самой смерти Веллингтона (1852), а по смерти Веллингтона был сделан главноуправляющим артиллерийским и инженерным ведомством и получил пэрство с титулом лорда Раглана *. В феврале 1854 г. его сделали полным генералом.

Итак, с ранней молодости до 1852 г. он служил под непосредственным руководством Веллингтона. Сделавшись главнокомандующим, он был в полном смысле слова генералом веллингтоновской школы. Это имело свои невыгоды, но, во всяком случае, подобный генерал не мог быть дурным главнокомандующим: вся опытность Веллингтона была и его опытностью.

Он тридцать лет был администратором армии в мирное время. Это имеет очень вредное влияние на способность быть хорошим главнокомандующим: привычка к административной рутине делает формалистом. Но Раглан был человек очень дельный, если не гениальный, то одаренный очень сильным здравым смыслом, твердым характером и имевший, кроме формалистики, действительную военную опытность: он был помощником великого полководца в войне, которая была ведена с удивительным искусством. Ему было теперь 66 лет, но он имел еще очень бодрое здоровье. Он был человек, заслуживавший глубокого уважения солидных и практических людей: ненавидел мишуру, был совершенно чужд тщеславия и мелочности, говорил просто; твердость и сдержанность его характера давали ему очень сильную власть над людьми, с которыми он имел дела, так что трудно было не подчиняться его мнению, когда вопрос решался изустным объяснением. Словом сказать, это был человек веллингтоновского типа по всем чертам характера ¹²³. Он готов был исполнять самую скромную роль, когда было кому занимать первое место. Но если он, не по самолюбию, а по необходимости, видел надобность взять ведение дела на себя, то трудно было не покоряться ему. Так и вышло: французская армия и Сент-Арно были взяты им в крепкие руки, так что он был настоящим распорядителем всего в походе.

Человек совершенно практический и солидный, он издавна имел привычку деловых людей устранять всякие лишние рассуждения с людьми, которыми рассчитывал управлять, надеясь на силу своего характера. Для этого у него была очень хорошая манера: вместо того чтобы вдаваться в разговоры о предметах, по которым вышел бы спор, он спокойно обращал речь на какой-нибудь

* Младшие сыновья герцогов имеют титул лордов, но не пэры. Как Физрой Сомерсет, он не был членом палаты лордов.

чисто практический вопрос, хотя бы и мелочный, лишь бы дававший возможность избежать ненужных рассуждений. Так он поступил и с императором французов. Отправляясь из армии, собранной в Дарданеллах, он ехал через Париж; два дня прошло в визитах и любезностях, на третий день французы хотели рассуждать о плане похода. Наполеон III попросил Раглана в свой кабинет; там, наедине, показал ему инструкции, которые дает своему главнокомандующему, и спросил, как думает действовать он. Раглан еще прежде, в Лондоне, был знаком с принцем Луи-Наполеоном; в эти два дня успел рассмотреть Сент-Арно и его помощников; поэтому чувствовал, что когда начнется настоящее дело, то будет господствовать над этими людьми, с которыми не для чего объясняться ему прежде времени. Потому он спокойно начал рассуждать о том, какая местность на дарданельских берегах удобнее для лагерной стоянки войск. Поговорив об этом, т. е. о предмете, вовсе не относящемся к плану военных действий, император французов и Раглан вышли в другую комнату, где было несколько человек, составлявших интимный военный совет элизейского правительства. Главные лица тут были маршал Вальян¹²⁴ и Сент-Арно; был тут и старик принц Иероним. Раглан предоставил французам объясняться между собою, — Вальян начал приставать к Сент-Арно с вопросами о том, как он поступит в том, в другом случае. Сент-Арно не умел отвечать на мудреные вопросы ученого маршала, — сказал в заключение, что «будет поступать смотря по обстоятельствам, по согласию с лордом Рагланом». Лорд Раглан все молчал. Тогда принц Иероним начал рассуждать о Франции, об Англии, о турках. Тем и обошлось дело.

Скоро по приезде главнокомандующих в Константинополь Раглану пришлось приложить силу своего характера уже прямо к притязаниям Сент-Арно на первую роль. Раглан оставлял его блистать, сколько угодно, но когда Сент-Арно вздумал дать своему блеску действительную силу, Раглан тотчас остановил его так, что Сент-Арно и не подумал заспорить. Французская армия у Константинополя имела 50 000 чел., английская была вдвое меньше; из этого натурально следовало бы, что голос французского главнокомандующего должен был преобладать. Сент-Арно и не сомневался в этом. Он уже готовился распоряжаться в турецком походе всеми войсками и считал себя господином в Турции. Боске¹²⁵ ездил взглянуть на турецкую армию, стоявшую в Шумле для отпора русским, когда они, взяв Силистрию, двинутся на юг. Возвратившись, он донес, что турецкие войска не так дурны, как полагали французы, — напротив, даже хороши. У Сент-Арно не замедлило явиться желание быть главнокомандующим турецкой армии, когда она недурна. Он приступил к турецким министрам; они, разумеется, поддались, — вероятно, надеясь, что Стратфорд выручит их, когда дело дойдет до англичан. 11 мая Сент-Арно приехал к Раглану и в разговоре упомянул, что

армия Омер-паши отдается под его начальство и что вот теперь он едет к Решид-паше окончательно уладить это. Раглан, не пускаясь в объяснения, сказал только: «Сколько я могу судить, английский посланник не знает об этом». Это так подействовало, что через два дня Сент-Арно прислал сказать Раглану, что едет известить Стратфорда о своем назначении турецким главнокомандующим, и просил бы Раглана также заехать к Стратфорду. Но Раглан и Стратфорд и в этом распорядились по-своему: осадить Сент-Арно даже без эффекта, тихо. Стратфорд сказал, что желает, чтобы Раглан приехал несколько позже Сент-Арно, потому что ему, Стратфорду, «надобно познакомиться с маршалом», — т. е. что он до сих пор и не желал знать, кто такой маршал Сент-Арно. И вот Сент-Арно вошел к Стратфорду один. Легко вообразить себе эту сцену «знакомства» (говорит Кинглек): как бойко вошел в комнату вертлявый маршал, довольный собою, довольный всеми, довольный даже тем, какие милые голубые глаза видит он у Стратфорда; и как начал он замечать, какие, однако, серьезные черты губ у этого милого Стратфорда и какие густые брови, и очень скоро совершенно оселся и присмирел перед таким солидным человеком, потому что этот человек очень ласково обращается с ним, потому что ему почувствовалось, будто в этой ласковости видно вот что: «ты мой гость, потому я с тобою очень учтив; но как же ты, пустая голова, посмел думать явиться ко мне с намерением сказать, что ты делаешься главнокомандующим турецкой армии?» Впрочем, об этом не было еще разговора. Но когда Сент-Арно присмирел, то вошел Раглан, и маршалу надобно было говорить, зачем он приехал. Он сказал, что просил и получил, чтобы армия Омер-паши была отдана под его начальство, и что, между прочим, он возьмет в каждую французскую дивизию бригаду турецкой пехоты, и т. д.

Если бы Стратфорд не был предуведомлен, он вспыхнул бы, но он знал это от Раглана, и они уже устроили, как распорядиться с новым турецким главнокомандующим, — без всякого шума. Выслушав новость от Сент-Арно, Стратфорд спокойно спросил его, известен ли ему договор о союзе, заключенный Англией и Францией с Турцией, — взял копию этого договора и прочел вслух четвертую статью его: в ней говорилось о трех армиях трех держав; из этого выходил теперь для Сент-Арно тот смысл, что главнокомандующими трех армий должны быть три различных лица. Вероятно, Сент-Арно приготовился отвечать на возражения, ближе идущие к сущности дела, но на это не нашелся и сконфузился. Тогда Раглан стал говорить и о существенных неудобствах: Омер-паша — даровитейший из турецких генералов; если подчинить его другому генералу, когда он уже получил за свои действия сан генералиссимуса, он, вероятно, обидится и выйдет в отставку, а если б и нет, такое подчинение компрометировало бы его во мнении турецкой армии, а турецкая армия со дня на день ждет

генеральной битвы с неприятелем, и в такое критическое время неудобно колебать мнение армии о командирах. И Раглан, и Стратфорд были одарены качеством драгоценным для подобных разговоров: говорить так, чтобы производилось впечатление: «ты должен понимать гораздо больше, чем высказывается тебе». Это ясно выразилось на лице Сент-Арно, и он тотчас же сказал, что не желает уменьшать вес Омер-паши во мнении турецкой армии: напротив, желает сделать все, что может усилить доверие его войска к нему, и видит надобность прежде всего переговорить лично с ним. Тем дело и кончилось. Когда Сент-Арно вышел из комнаты, он уже перестал мечтать о себе как турецком главнокомандующем*.

Но в Сент-Арно было столько задора, что он тотчас же оправился и начал сочинять себе другое повышение. Он сообразил даже лучше прежнего: вздумал сделаться главнокомандующим английской армии и устроил это очень хорошо. Он был старше Раглана в чине, — вот он и предположил, чтобы было так: когда французские и английские войска действуют вместе, то пусть имеет общую команду над ними тот генерал или офицер, который старше в чине, из какой бы армии ни был он. Сент-Арно заговорил сначала о принятии этого правила только для отдельных отрядов; но понятно, что потом стал бы интриговать для его перенесения и на командование всеми войсками, когда они действуют вместе. Раглан спокойно отвечал, что не может ничего делать сам без приказа от военного министра и указал в своей инструкции слова, говорившие, что он зависит исключительно от военного министра. Слова эти имели совершенно другой смысл: они ставили Раглана в независимость от Стратфорда по распоряжению военными действиями; но Сент-Арно, помнивший свой визит в дом английского посланника, очень смиренно замолчал.

Так легко справлялся Раглан с нахальным честолюбцем, — и так тихо осаживал его, что Сент-Арно даже не сердился, а только слушался.

Но скоро явилось затруднение более серьезное, чем честолюбивые мечты Сент-Арно. Мы видели, что элизейское правительство лезло вперед Австрии и тащило за собою английских министров, требуя «немедленных» мер; от этого оно и английский кабинет неожиданно попали в дипломатический разрыв с Россиею, из дипломатического разрыва попали в необходимость объявить

* Я подробно пересказываю эту сцену, потому что она показывает, как смиренные становятся подобные герои, когда встречаются с действительною силою. Это страшно, когда вспомнишь, что делал Сент-Арно над французами, предварительно потрудившимися обезоружить себя и истребить своих передовых бойцов в обеих партиях — и в монархической, и в республиканской. В монархической, например, сами же монархисты сбили с ног Гизо и Дюшателя,¹²⁶ которые, каковы бы они ни были, были люди солидные, и остались под предводительством Тьера; с Тьером немудрено было справиться: польстить ему, он и работал в пользу Луи-Наполеона, не понимая сам, что такое делает.

войну России, и вот война уже давно была объявлена, — вдруг французы явились к Раглану и объявили, что французская армия не может еще довольно долгое время принять участие в военных действиях, должна оставаться в окрестностях Константинополя. Она еще не готова.

И точно, она еще была не готова. Два месяца по объявлении войны, довольно много недель до объявления войны всячески торопились посылать войска в Турцию, — посылали, спешили, хлопотали и наслали уже 50 000 человек; они стояли в лагере по соседству Константинополя, но солдаты без провианта, без артиллерии, без перевязочных средств — конечно, солдаты, но не действующая армия. Они были неспособны ни к чему, кроме как стоять в сотнях верст от неприятеля. Зачем же лезли вперед? Посылали бы войско к Константинополю, заготавливали бы провиант и пр., чтобы войско могло двинуться на войну, когда придет надобность в том, но из этого еще не было нужды кричать, ссориться, лезть на объявление войны. Австрия делала, что было нужно, ее армия собиралась, была теперь уже готова двинуться, через несколько дней и двинулась, — и Россия все-таки не ссорилась с Австриею, и дело с той стороны обошлось мирно; обошлось мирно с той стороны, с которой одной и было ведено <дело> не на словах и обидах, а на действительном употреблении силы; а здесь, еще не готовые ни к чему, еще бессильные действовать, отставшие на несколько месяцев от Австрии действительную готовность к войне, были уже два месяца в войне с Россиею на бумаге, с криком по всем газетам, на всю публику. И вот когда втянутые в войну англичане все-таки уже успели кое-как приготовиться и Раглан стал посылать войска из Босфора на север, к театру войны, в Варну, — Сент-Арно явился к нему и объявил: «Моя армия еще не готова и не скоро будет готова, — она еще долго должна оставаться неподвижною около Константинополя».

Куда же и зачем лезли с своими настояниями о «немедленных» обидных для России мерах, об угрозах русскому императору, с этим хвастовством и наглостью? Мы увидим. Элизейское правительство все еще и само не понимало, что оно слишком заигралось в гвалт, — оно воображало, что это еще не война, а театральное представление для Европы, которое кончится чувствительными объятиями для внушения Европе умиления перед французским миротворцем. Оно шло на войну и думало, что не дойдет до войны.

Но, играя само, оно затянуло в игру англичан. Мы увидим, что вышло, когда явилась на сцену английская публика; теперь на сцене были еще только английские правители и их уполномоченные, Стратфорд и Раглан. Уж и с этими шутка вышла плохая. Раглан не был гений, но он был человек солидный и серьезно думавший о чести английского имени. «Война — то война, шутить

нечего», — так он понимал дело, и к такому-то компаньону французы явились сказать, что они не готовы, когда англичане уже приготовились по их настоянию.

Война шла на Дунае. Русские осаждали Силистрию, турки дожидались их в Шумле. Туда, к Шумле и Силистрии, надобно было спешить союзникам. Быстрейший путь туда от Босфора — морем, в Варну. Варна уже недалеко от Шумлы. Такой план похода и был принят союзниками. Раглан, наскоро запасшись хоть кое-чем на первый раз, стал посылать войска в Варну. Одна дивизия его уже отправилась туда, когда явился в его штаб-квартиру полковник Трошю и потребовал немедленного свидания с ним. Трошю приехал в Константинополь 10 мая с званием старшего адъютанта при Сент-Арно. Но ему было дано полномочие требовать послушания у Сент-Арно: куда же в самом деле годился Сент-Арно быть главнокомандующим? Он мог быть отчаянным ротным командиром, храбро штурмующим брешь по указанию знающего распорядителя, но он не мог распоряжаться действиями армии, — он был боевой офицер, не имеющий понятия о том, что и как делать надобно главнокомандующему. Эта обязанность требует ума и знания. Трошю был прислан исполнять ее. Это был человек осмотрительный, не без царя в голове, знающий стратегию. Он сказал теперь, что прислан маршалом Сент-Арно с просьбою, чтобы Раглан приостановил всякое движение своих войск к Варне до той поры, когда маршал увидит, что хотя часть французской армии может выступить в поход.

До этой минуты англичане не сомневались в готовности французов. Раглан, в удивлении, очень сильно высказался о неудобствах отсрочки. Трошю отвечал, что при приезде в Турцию он отправился в лагерь посмотреть, до какой степени французская армия готова к походу, и убедился, что она еще не может идти против неприятеля, рассказал много подробностей в подтверждение этого и сказал, что доложил об этом Сент-Арно, что маршал совершенно согласился с ним и прислал его убеждать Раглана отсрочить поход. Раглан отвечал, что это очень неудобно: он и Сент-Арно сами объявили Омер-паше, что идут на подкрепление ему; они связаны этим своим обещанием, и особенно неблагоприятно изменять слову теперь, когда все очень опасаются за судьбу Силистрии.

— Все это правда, — сказал Трошю, — но мы не в состоянии идти.

До часу ночи он и Раглан толковали об этом. На другой день Сент-Арно прислал письменное уведомление, что не может двинуть свою армию. Но скоро явилась еще более важная перемена в мыслях французов о походе.

Очень рано поутру 4 июня, в 7 часов, Сент-Арно приехал к Раглану и сказал, что решил принять совершенно новый план похода. Вместо того чтобы отправить армию в Варну, как было ус-

ловлено прежде, теперь он решил послать туда только одну дивизию, а все прочие свои войска поставить не перед Балканами, а за Балканами от русских: правое крыло его будет у моря, в Бургасе; главная квартира в Айдосе, и он надеется занять эту позицию 20 июня. Он приглашал Раглана сообразоваться с этим решением и занять позицию в Курнабате *, так, чтобы английская армия составляла левое (дальнее от моря) крыло союзной армии.

Итак, в то время как глаза всей Европы были устремлены на Силистрию, на действия войск в низовьях Дуная, — Трошю и Сент-Арно потребовали, чтобы англо-французская армия заняла позицию на юге от Балкан, так, чтобы ее отделяли от русских вся Болгария, Балканский хребет и часть Румелии! Сент-Арно уже решил это дело и уже послал войска по дороге в Айдос. Это значило, что союзная армия обращается в нуль для военных действий. Когда-то русские еще возьмут Силистрию, потом должны будут взять Шумлу, идти через Балканы; только когда ими будет сделано все это, они дойдут до встречи с англо-французскими войсками **.

Лорд Раглан наотрез сказал Сент-Арно, что не согласен так сделать. Сент-Арно исполнял приказание, полученное через Трошю, и не мог уступить. Но, сидя перед глазами такого серьезного

* Б у р г а с — гавань верстах в 50 южнее того места, где выходит к морю южная гряда Балкан; А й д о с — город верст на 30 в глубину страны от Бургаса, верстах во 100 на юг от Шумы, между Шумлою и Айдосом — Балканы. К у р н а б а т — еще верст на 30 от Айдоса в глубину страны, и еще южнее, то есть дальше от Балкан.

** В то время, к которому Сент-Арно рассчитывал притти на эту позицию, русские уже начали отступление из княжеств, вытесняемые оттуда австрийцами. Итак, если бы план Сент-Арно был принят, война кончилась бы без обмена одним ружейным выстрелом между русскими и англо-французской армией. Сент-Арно в Константинополе 4 июня не мог не знать от Порты, что она уже подписывает с Австриею конвенцию, по которой через несколько дней австрийцы двинутся и вытеснят русских. Сент-Арно мог не понимать, но хороший офицер, как Трошю, не мог не понимать и другого обстоятельства: русские уже не имели времени пройти в ту кампанию через Балканы, если даже австрийцы не двинут свою армию. Паскевич находил, что идти за Балканы можно лишь тогда, если Силистрия будет взята к 1 мая. Теперь было 4 июня, и осада Силистрии только еще начиналась. Ясно, русским не оставалось времени, чтобы до зимы успеть взять Шумлу и пройти через Балканы в кампанию того года. Итак, если Австрия не вмешается в войну, встреча союзной армии с русскими отлагается до следующей кампании. Но следующей кампании наверное не будет: Австрия и Порты уже решили, что на-днях австрийская армия двинется в Дунайские княжества; Россия или примирится, или перенесет театр войны в Галицию; война в Турции во всяком случае прекращается, а поездка англо-французской армии на берега Босфора, прогулка ее оттуда в Айдос остается военным парадом. Вот как еще в июне 1854 г., за три месяца до высадки в Крым, элизейское правительство думало разыграть пьесу. — Но оно, как я говорил, не сообразило того, что втянуло в пьесу и серьезных людей: Раглана, Стратфорда, Пальмерстона, а главное, английскую публику, которая сказала этим людям: «Дело идет о чести английской нации, мы не позволим играть ею, извольте идти вперед», — и союзная армия пошла не туда, куда желала запрягать ее элизей-

человека, как Раглан, он чувствовал, что не смеет говорить с ним, — язык не слушался его, — он нагнулся к столу, взял лист бумаги, написал на ней возражение, которое не шло у него с языка, подал эту записку Раглану и ушел со словами, что пришлет полковника Трошю объяснить за него. На бумаге, которую он подал Раглану, было написано возражение, возмутительное для всякого французского офицера, уважающего честь французской армии: «выгода послать в Варну одну дивизию состоит в том, что столь малый отряд не может идти на помощь Силистрии; а если вся союзная армия придет в Варну, турки увлекут союзников вперед, и надобно будет сражаться с русскими, а сражаться с русскими опасно — они могут одержать победу. А французы никак не могут подвергать себя такому риску». Выражения были не совершенно эти, но смысл был буквально этот *.

План идти в Айдос, т. е. спрятаться от русских, основывался на том, что у союзной армии еще не было заготовлено больших запасов провианта и что силы русских за Дунаем ужасны. При других обстоятельствах это было бы справедливо. Но море было во власти союзников, постепенный подвоз провианта обеспечивался этим. А русские, не имея подвоза с моря, были совершенно связаны в своих движениях: сухопутные дороги на юге от Дуная слишком затруднительны для обозов, идущих из России. Поэтому русские до 4 июня все еще оставались под Силистриею, все еще не успели проникнуть ни на несколько верст от берега Дуная. Это показывало, что на театре войны, столь неудобном для русских, союзники не должны трусить за себя. Кроме того, было уже известно, что австрийцы скоро пойдут в тыл русским; кроме того, было уже дано слово Омер-паше: честь Англии и Франции была бы запятнана, если бы армии их не явились в Варну, как было обещано турецкому главнокомандующему.

Но если уж не являться им в Варну, то зачем же идти в Айдос? В Варну нельзя идти по недостаточности запасов провианта; но Варна — на море, туда легче подвозить провиант, чем в Айдос. Сент-Арно и Трошю или сами растерялись, или слепо

ская биржевая фирма, прикрывающаяся именем Наполеона III. Мы сейчас увидим, как вышла эта замена элизейского военного парада севастопольского бойнею, — чистейшее повторение той, которая произошла, как мы видели, на парижском бульваре 4 декабря. Биржевые игроки и комедианты выставили серьезные силы для шарлатанства; серьезные силы, — тогда французские офицеры и солдаты, теперь английская публика, — разгорячились и вместо шарлатанства распорядились серьезно, и вместо бенгальского огня сцена озабилась оба раза настоящим боевым огнем.

* Это удивительно до неправдоподобности, но действительно таковы были эти люди, герои парижской бойни. Читатель увидит потом, как они сражались при Альме и, — что еще любопытнее, — как они шли от места высадки к Альме. Командиры французской армии были трусы, и страх всякой серьезной встречи с серьезным неприятелем заставлял их делать распоряжения, позорившие французскую армию не меньше этого айдосского плана и этой записки о том, что они не смеют сражаться с русскими.

исполняли элизейские инструкции, объявляя, что идут в Айдос. Но они уже исполняли это решение. Дивизия Боске уже пошла по айдосской дороге (через Адрианополь). На другой день после визита Сент-Арно явился к Раглану Трошю (5 июня).

Выслушав все, что имел сказать Трошю, Раглан просто сказал: «Уведомьте маршала, что я не поставлю ни одного английского отряда в Румелии» (т. е. на юге от Балкан). «Если маршал не готов отправлять французские войска в Варну, чтобы оттуда итти на выручку Силистрии, то мои войска не отправятся с берегов Босфора никуда, кроме как морем в Варну. Пока я буду в состоянии послать их туда, они остаются в своем лагере на берегу Босфора».

Этим ответом было решено дело. Четыре дня Трошю думал. 10 июня Раглан получил уведомление, что план итти в Айдос брошен и маршал Сент-Арно, возвращаясь к прежнему плану, отправляет свои войска в Варну.

Вся эта история была сохранена в глубокой тайне, и Европа ничего не узнала о плане спрятать союзную армию от русских. Французы и англичане попали в Варну. Но дивизия Боске уже была послана по адрианопольской дороге к айдосской позиции; приказать ей вернуться значило бы обнаруживать, что был какой-то покинутый теперь план; потому она была оставлена итти сухим путем. Офицеры и солдаты ее не узнали, что сделали несколько сот верст изнурительного марша до Варны для прикрытия постыдной ошибки, от которой французские войска были избавлены только чужим главнокомандующим.

Когда союзники прибыли в Варну, война на Дунае уже кончалась. Сама по себе она не была важна, как я говорил уже много раз. При огромности расстояний и затруднительности путей сообщения, лишенные подвоза с моря, русские не раньше 19 мая успели подойти к Силистрии и начать осаду ее, между тем как сам Паскевич находил возможным сделать что-нибудь серьезное за Дунаем лишь в том случае, если бы Силистрия была уже взята к 1 мая. Теперь не могло уже произойти ничего существенно важного в этом походе 1854 года, да и что-нибудь очень эффектное произошло бы лишь в том случае, когда бы Омер-паша пошел на выручку Силистрии. Но должно отдать справедливость его уму в этом случае: он решил, что ему выгоднее будет ждать русских в страшно твердой шумлянской позиции, не рискуя своею армиею, и оставил русских осаждать Силистрию. Ее укрепления были довольно недурно поправлены перед этим временем; турки всегда упорны в обороне стен и окопов, потому осада не могла быть кончена в несколько дней. Как при всякой осаде, гарнизону было много случаев для отважных дел; они были мелки сами по себе, но получили очень важное значение по особенному обстоятельству: предводителями турок в этих схватках были три молодые англичанина. Читатель вспомнит, как у нас гремел довольно

долго мужественный подвиг г. Щоголева¹²⁷, как вся наша публика гордилась г. Щоголевым, который и действительно заслуживает полного уважения за свое храброе дело. Такую же действительно почтенную и блестящую роль, как он при обороне Одессы в течение одного дня, играли в течение целого месяца осады Силистрии три английские офицеры, бывшие тут волонтерами: Бетлер, который был убит и место которого занял новый волонтер, Баллард, и Насмит¹²⁸. Они одушевляли турецких солдат, водили их в штыки, ободряли турецких командиров, иногда просто хватали за руку турецкого командира, хотевшего отступить с позиции за окопом, сильно теснимым русскими. Они стали любимцами солдат, — быть может, и точно содействовали тому, что командиры волею-неволею защищали упорно каждый шаг, а во всяком случае, роль этих храбрых юношей была блистательна. Особенную важность получало все это оттого, что Насмит приехал в Силистрию по поручению газеты «Times», которая старается всегда иметь хорошего корреспондента на театре всякой войны. Кинглек лично знал Насмита и говорит, что это был скромный и совершенно правдивый человек, нисколько не хвастун. Его письма читались жадно, производили сильную гордость в англичанах. Как мы тогда думали, что пушка г. Щоголева спасла Одессу (которая и не была в большой опасности, как мы теперь знаем), так англичане думали, что трое молодых англичан своею храбростью заставили русских отступить от Силистрии. Скоро молодые английские волонтеры совершили во мнении английской публики другое дело, еще более важное: присутствие троих английских офицеров было достаточно, чтобы отразить русских от Силистрии; после этого натурально, что семейных было совершенно <достаточно> для вытеснения русских из Дунайских княжеств. Это и совершилось Журжинским делом, по мнению английской публики. Осада Силистрии была уже снята; в Журже стоял отряд Соймонова, всего 12 батальонов с несколькими эскадронами и орудиями; на южном берегу Дуная, против Журжи, в Рушуке, отряд Гассана-паши¹²⁹. Оба генерала полагали, что не будет схваток между их отрядами: река очень широка. Но в отряде Гассана-паши было семь человек английских волонтеров, все люди молодые, отважные офицеры, в числе их был и Баллард, который один уцелел из троих, находившихся в Силистрии.

7 июля (через две недели по снятии осады Силистрии) турки заметили в отряде Соймонова движение, из которого заключили, что он отослал большую часть своего отряда и остается в Журже лишь в очень слабом числе. Гассан-паша почел нужным произвести рекогносцировку; несколько сот турок с английскими офицерами переехали реку в лодках; но русские не ушли из Журжи: увидев неприятеля на своем берегу, они пошли на него. Однако же турки успели занять порядочную позицию — отбивались; к ним

все приплывали подкрепления — до 5 000 человек. Они отбились, удержались в своей позиции. Английские офицеры-волонтеры дрались и тут очень отважно, водили турок в штыки, одушевляли их своим примером; из семи человек трое были убиты. На другой день русские не возобновляли нападения; на третий явилась близ турецкой позиции вся русская армия, но пошла на север, прочь от Дуная. Английская публика ясно увидела, что именно дело под Журжею и заставило русскую армию отступить из Дунайских княжеств. Итак, трое английских юношей отразили русских от Силистрии, семеро — изгнали русских из Валахии и Молдавии.

На самом деле история шла менее чудотворным образом. Без всякого сомнения, русские взяли бы Силистрию, хотя бы там было не трое, а хоть и три тысячи таких, — впрочем, действительно храбрых и почтенных английских бойцов, как Насмит и его товарищи, и армия, отступавшая из-под Силистрии, без труда истребила бы под Журжею и целых семь тысяч таких храбрых людей. Но австрийцы уже угрожали сообщению русской армии с Россиею, русские не могли не отступить. Поэтому они сняли осаду Силистрии; поэтому не занялись напрасным нападением на турок, мимо которых шли около Журжи на своем отступлении: терять время на уничтожение этого турецкого отряда значило бы напрасно терять время: он ничего не значил, победа над ним, хоть и несомненная, не приносила бы ровно никакой пользы.

Но английская публика геройствовала, два раза победив русскую армию своими тремя и семерыми волонтерами. Из этого мы видим, что и английская публика, на свою беду, не была рассудительнее нашей добропочтенной публики. С этой стороны, со стороны ума и понимания дела, обе публики стяжали пальму первенства, состязание было успешно для обеих соперниц. Но вот в чем разница: при безрассудстве, одинаковом с нашим, англичане были безрассудны как люди все-таки честные и твердые: они восхитились своими волонтерами, — действительно храбрыми, — как мы восхитились г. Щоголевым, также действительно храбрым и почтенным молодым офицером, также не потерявшим головы в положении, в котором растерялись бы, дрогнули бы очень многие и из людей нетрусливых. Одинаково мы и англичане пересолили свое чувство: вместо должной похвалы храбрым молодым людям, начали воздавать из-за них похвалы самим себе, как героям сплошь и рядом, что, дескать, мы все такие герои, каких и свет не видывал, и надобны лавровые венки нашему героизму — не храбрости г. Щоголева, или Насмита, или Балларда, а нашему героизмованию в Петербурге, Москве, Казани, Рязани и всех городах и уездах, как у англичан — их героизмованию в Лондоне, Эдинбурге и везде по всей Великобритании. Это было одинаково умно. Но когда мы и англичане с этим одинаковым героизмованием довоинствовались до надобности в

серьезных пожертвованиях, тут оказалась между нашею и английскою публиками небольшая разница: обе одинаково ввели свое правительство в ненужную разорительную войну, но английская публика не изменила в ней своему правительству, а наша почтенная русская публика — она заблагорассудила забыть свои подвиги и возопить: «Ах, за что это страдаем мы, невинные агнцы!» Быть агнцами очень добродетельная манера поведения, но кроткие существа, расположенные поджимать хвост при неудачах, не должны воинствовать и толкать свое правительство в войну. Агнцы не должны мечтать о том, что приятно пугнуть султана, а при случае, пожалуй, и взять в свое заведывание Константинополь.

Читатели помнят, какое постыдное чувство овладело петербургскою публикою, когда англо-французский флот весною 1854 года явился перед Кронштадтом. Был ли взят Кронштадт? Сколько можно было видеть с Красной горки, из Ораниенбаума и — желающим — с самых стен Кронштадта, — Кронштадт едва ли был взят. Нам чуть ли уже не казалось, что он взят, когда союзники вовсе и не нападали на него. От бездейственной стоянки у Толбухина маяка до серьезной атаки далеко; от серьезной атаки на крепость до ее взятия тоже далеко. Нам заблагорассудилось забыть это, — вообразить Петербург в таком положении, как будто Кронштадт если еще не взят, то через два часа будет взят. Если бы эта наша уверенность, делающая такую честь нашим мирным добродетелям, исполнилась, это составило бы, конечно, тяжелую потерю для России: был бы истреблен наш Балтийский флот, погибли бы тысячи, — вероятно, и не один десяток тысяч, — наших храбрых офицеров, солдат и матросов. Это было бы очень прискорбно. Неприятель приобрел бы очень твердую позицию почти в виду нашей столицы. Это было бы очень неприятно; отчасти и существенно вредно для нас в остальное время войны: союзники имели бы сильный базис для солидных предприятий на берегах Финского залива. Но только, — ведь еще только. Устье Невы очень мелко. Неприятельский флот не может войти в нее, хотя бы у нас не было ни одной пушки против него. Что ж могли сделать Петербургу союзники? Послать в Неву канонирские лодки? Но ведь уж если так, то наши солдаты поехали бы на яликах, — половину яликов перетопили бы канонирские лодки; остальная половина взяла бы все канонирские лодки на абордаж, — только если уж рассуждать о таких бреднях и забыть, что у нас были же пушки, что этими пушками очень легко было отстоять устье Невы против не то что канонирских лодок, а хотя бы против флота вдвое сильнейшего, чем стоявший тогда у Толбухина маяка. Мы заблагорассудили забыть все это, заблагорассудили позеленеть и поднять постыдный гвалт, простительный только трусам и потому, впрочем, совершенно простительный нам.

Англичане по делу о стоянии их флота у Толбухина маяка совершенно уподобились нам милою способностью поднимать совершенно безрассудный гвалт. Но оказалась небольшая разница между нами и ими в характере гвалта. Мы позеленели от подвигов их флота у Толбухина маяка, — они закричали: «Англия обесчещена и должна показать, что она не так бессильна!» Это было безрассудно, но это не было позорно, как наше позеленение. То, что перепугало нас, показалось англичанам недостойно их, постыдно для них: английский флот стоял у Толбухина маяка.

— Непир дурак, Непир трус! — закричали они. — Если он не взял Кронштадта и не бомбардировал Петербурга, мы должны загладить этот стыд наш другим делом.

Это было неосновательно. Союзный флот не имел силы взять Кронштадта¹³⁰. Никакому флоту не приносит бесчестия то, что он не исполнил дел, которых не мог исполнить. Никакому адмиралу не приносит бесчестия то, что он не бросается в предприятие, которое не могло бы быть удачно, — напротив, его бездействие в таком случае приносит честь его уму и патриотизму. Английская публика была несправедлива к своему Балтийскому флоту и его командиру. Это дурно. Тем более дурно, что если бы она не впала в эту несправедливость, то не впала <бы> в надобность наносить себе и нам громадные потери для смытия своего мнимого стыда на Балтийском море кровью на Черном море. Стыда не было. Но если она ошиблась, увидев стыд, то надобно же признать, что она поступила, как поступают твердые люди: когда твердый человек полагает, что дал повод усомниться в силе его характера и его руки, он ищет случая восстановить свою репутацию. Так сделали англичане. Неудача одного их флота под Кронштадтом заставила их двинуть другой флот на Севастополь¹³¹.

Союзники слышали из Варны отдаленный гул силистрийских канонад; они наскоро готовились двинуться туда. 22 июня канонада была слышна им особенно долго и громко. На следующий день все было тихо: «Силистрия взята», — думали союзники. Через несколько часов они услышали: «Нет, снята осада, русские отступили».

Отступив от Силистрии, они скоро и вовсе очистили княжества. Таким образом, цель военных приготовлений западных держав была достигнута, и дела пришли в положение совершенно удовлетворительное для всякого рассудительного государственного человека в Австрии, Англии, Франции, самой Турции. Русские должны были не только прекратить свое вторжение за Дунай, не только возвратиться из Дунайских княжеств в Россию, — должны были б и вовсе мириться: они не имели средств вести военные действия против султана нигде, кроме Армении, а там, как мы видели, нельзя было достигнуть ничего, — русские

гавани были блокированы без всякой возможности сопротивления блокаде. Австрия загородила от русских европейскую Турцию своими войсками, русские не могли объявить за это войну Австрии, потому что вместе с Австриею были выставлены против них войска Пруссии, опирающиеся на всю Германию. Русским не оставалось ничего, кроме как мириться с Турциею.

Если бы Франция была тогда сама госпожою своих действий и если бы Англия была тогда не увлечена воинственным порывом, война была бы уже кончена.

Но над Франциею владычествовали люди 2 декабря, и не было пользы Европе, Франции, России от того, что французская публика была тогда расположена к миру: она не имела голоса в своих государственных делах. Императору французов нужна была дружба Англии, его игра пробудила в Англии воинственность. Для него было все равно, что ни делать, — война даже обещала славу, а во всяком случае, давала развлечение мыслям французской публики, — потому, если он лично и был не расположен к серьезному ведению войны, то совершенно готов был и на нее, для угождения Англии. Когда пришло известие, что русские отступают из Дунайских княжеств, он предоставил английскому правительству решить, что теперь надобно делать.

Английская публика была разгорячена; ее надежды на действия Балтийского флота были горько обмануты; как же кончать войну? Английская публика заговорила: «Теперь, когда наши силы на юге сделались свободны, перестали быть заняты надобностью охранять султана, они должны перейти к наступательным действиям». Цель наступательных действий уже давно была определительно видна: Севастополь, громадный морской арсенал, служивший опорным пунктом России для действий против Турции, крепкая гавань русского Черноморского флота. Еще в начале своего царствования император Николай Павлович знал, что в случае войны с Англиею по турецким делам надобно ждать нападения на Севастополь. Поццо ди Борго¹³², один из замечательнейших русских дипломатов, еще тогда, во времена его первой турецкой войны, писал ему: «Правда, нет вероятности, чтобы английский флот явился на Черном море; но все-таки благоразумие требует обезопасить Севастополь от нападений с моря. Когда Англия вступит в войну с нами, она непременно нападет на Севастополь, если нападение будет возможно». Поэтому Севастопольская гавань была сильно укреплена с моря.

Теперь английская публика заговорила: «Надобно разрушить этот пункт, из которого направляются удары на Турцию; его уничтожение должно быть естественною и необходимою развязкою войны, начатой нами на защиту Турции». Люди сообразительные понимали, что это дело потребует долгого времени, но они рассчитывали, что если Россия захочет отстаивать Севастополь, ее силы будут изнурены борьбою в пункте, столь от-

даленном от мест, из которых она должна присылать туда войска и запасы. Чем больше думали англичане о Севастополе, тем больше разгоралась в них охота разрушить его.

Это было желание публики. Из английских правителей не разделял этого желания никто, кроме одного человека — герцога Ньюкестля, военного министра. Все остальные министры и государственные люди были против мысли о нападении на Севастополь¹³³.

Герцог Ньюкестль был тогда человек энергический, деятельный, отважный. Он горячо увлекся мыслью публики атаковать Севастополь. Но он не имел большого веса между своими товарищами: он был неважный человек сравнительно с могущественными государственными людьми — Абердином, Росселем, Пальмерстоном, Гладстоном, играл совершенно второстепенную роль в кабинете, был только усердным секретарем, не имевшим никакого влияния, лишь исполняющим работу, поручаемую ему решениями главных людей кабинета, которые и не обращали внимания на его мнение. А они все были против серьезного нападения на Севастополь. Правда, если бы русский флот стал противиться владычеству союзников на Черном море, то союзникам пришлось бы сделать что-нибудь и против Севастополя; потому было упомянуто об этом шансе в инструкциях, посланных из Лондона и Парижа еще в апреле; император французов даже уже говорил тогда, вслушиваясь в мнение английской публики, что нападение на Севастополь могло бы быть предметом войны; но он говорил это лишь с голоса английской публики, и для него самого было все равно, — мы видели даже, что через месяц и через два он совершенно бросил это и хотел запрятать союзную армию так далеко от театра войны, что она не обменялась бы с русскими ни одним выстрелом. И все это были только пустые мысли, а на деле он все представлял решению английского кабинета. Итак, по мнению английского правительства, не было никакой ни надобности, ни вероятности, чтобы союзная армия имела дело с Севастополем: русский флот не противился союзному, война на Черном море была лишь в словах; на деле союзный флот спокойно владычествовал там, — чего же больше? А теперь русские должны были скоро начать выступление из княжеств (английский кабинет уже давно должен был знать, что Австрия в начале июня двинет армию, что через несколько дней русские пойдут домой), — теперь, в июне, война, собственно говоря, и вовсе кончалась этим; теперь, конечно, союзной армии вовсе не приходилось действовать. Так полагал английский кабинет. И полагал, что так и будет, потому что все зависит от его решения.

Но его решение зависело от решения английской публики. Он и не предчувствовал, что в несколько дней будут перевернуты все его мысли ее грозным требованием. Он не знал, как она заговорит, когда услышит, что война кончается бездействием на Чер-

ном море, пустым парадом на Балтийском. Она отдала свое приказание через газету «Times» *.

По разным провинциальным городам и поместьям Англии живут разные немудрые люди: вдовы, сельские джентльмены, — люди сами по себе очень мирные, понимающие в политических делах столько же, сколько другие вдовы и дамы и другие сельские джентльмены. Но по завещаниям, свадебным контрактам, вообще по праву наследства они владеют паями акционерного общества, которое основано для издания газеты с коммерческой целью — получать дивиденды. Они сами не занимаются политикой и не вмешиваются в издание своей газеты, потому что это дело не по их знаниям и не по их дарованиям; они поручили его способным людям из публицистов, а сами спокойно живут себе, не думая ни о чем. Итак, эта газета существует исключительно на коммерческом основании; цель ее — успех в публике, но успех солидный; обязанность ее директоров — вести коммерческое предприятие. Оно и ведется уже издавна с замечательною энергиею. Во время наполеоновских войн «Times» часто получала свои депеши раньше, чем правительство свои; и министры вместе со всею публикою узнавали из нее новость, о которой лишь после получали донесения от посланников и генералов. Это дало очень большой успех газете. Она стала самою знаменитою газетою целого света. А как приобрела она эту репутацию, репутация дала ей новую силу. Она сделалась газетою, наиболее распространенною в Англии и по всему цивилизованному свету. Этого довольно было, чтобы она стала нужна всякому, имевшему какое-нибудь свое важное дело к европейской и особенно к английской публике: государь, требовавший себе возвращения потерянного престола, и мать, отыскивавшая своего малютку, отбежавшего от нее на прогулке и затерявшегося в толпе; шарлатан, хотевший обмануть, и мудрец, хотевший напомнить о благоразумии; человек, желающий отомстить врагу, и тот, на которого он нападал, — все стали обращаться к посредничеству этой газеты. Она принимала и печатала все присылки, лишь бы только они были интересны для публики. Она печатала жалобы и оправдания, требования и проекты — все, не отвечая за их справедливость или несправедливость, отвечая только за их интересность для публики. Но в тех столбцах, которые писались от имени ее редакции, она про-

* Кинглек преувеличивает важность того обстоятельства, что в Англии существовала и существует такая газета, как «Times». Нам, живущим в других отношениях, очень ясно, что то же самое вышло бы и без всякого «Times'a» и без всякой сколько-нибудь независимой газеты. Об этом я скажу после. Но при английских отношениях посредницею между публикою и правительством действительно была тут, как и в очень многих других случаях, газета «Times». Потому видимое, осязательное значение этой газеты в английской истории последнего времени очень велико, организация и роль этого орудия публики очень оригинальны, — в Европе нет другой значительной газеты подобного характера.

износила свой приговор всему, что печатала по желанию этих посторонних людей. Эти приговоры высказывались без всякого лицепрятия перед кем бы то ни было: редакция никогда не связывала себя никакими обязанностями ни перед кем, кроме английской публики. Она брала под свою защиту или подвергала своему гонению ту или другую партию, того или другого министра или предводителя оппозиции, не руководясь ничем, кроме того соображения, чтобы ее мнение показалось справедливо большинству английской публики. Она старалась угадать мысли этого большинства и высказывала их, не стесняясь ничем. Если она полагала, что большинство стало или готовится стать против той партии, против тех политических людей, на стороне которых это большинство было прежде, редакция газеты становилась против них, нисколько не стесняясь тем, что месяц тому назад — быть может, вчера — ее газета говорила противное. Она держалась только того, чего держалось большинство публики. По этой организации «Times» — единственная газета в мире. Всякая другая порядочная газета постоянно проводит какой-нибудь свой собственный образ мыслей, «Times» — только тот образ мыслей, который торжествует или готовится торжествовать во мнении английской публики. Конечно, это может добросовестно быть сделано только при таком громадном размере средств, каким располагает редакция этой газеты. В ее многочисленном штате набраны публицисты всех партий; редакция отдаст свою — редакционную — часть нумера тем из них, партия которых торжествует или близка к торжеству, — они и говорят от имени «Times'a»; остальные сотрудники, люди других партий, занимаются другою работою по журналу, пока придет им возможность говорить от имени газеты: служат корреспондентами за границу, пишут литературные статьи, разборы ученых книг, разрабатывают специальные вопросы, чуждые борьбе партий. Так, например, когда Пальмерстон шел к тому, чтобы стать предметом чрезвычайной популярности, редакция «Times'a» отдала политическую часть своей газеты во временное заведывание даровитейшего публициста партии Пальмерстона, Лау (Lowe); когда Пальмерстон, наделав ошибок, должен был упасть, у Лау была взята власть над газетою и отдана другим.

Люди, составляющие комитет, который делает эти распоряжения; люди назначающие, так сказать, этих временных главнокомандующих, — сами они чужды всякого политического увлечения: они — директоры коммерческого предприятия, обязанность их — обязанность управляющих торговой фирмы. Но это предприятие солидное и обширное; оно ворочает каждый год сотнями тысяч фунтов, должно давать десятки тысяч фунтов выгоды. Поэтому оно неподкупно ни для кого, кроме английской публики: оно угождает только ей, ни у кого другого, ни у английского, ни у иноземного правительства не достало бы денег подкупить «Times» или хоть смягчить его: «Times» продает себя только за миллион

рублей в год, — миллион рублей в год можно получить только продажей экземпляров английской публике. Поэтому «Times» беспристрастен и нелицеприятен ко всем остальным. Года три тому назад, когда Пальмерстон пользовался огромною популярностью и был полным господином своего кабинета, был всесилен в парламенте, и когда поэтому «Times» горячо восхваляла его, оппозиция вздумала кольнуть его и «Times» намеками в палате общин, что у него дружба с тогдашним политическим распорядителем «Times'a», что поэтому «рука руку моет», — «Times» пристрастен к Пальмерстону, потому что главный редактор «Times'a», — Делени. Delany — друг Пальмерстона, а Пальмерстон за это сообщает «Times'у» новые известия.

— «Что за ребяческие выходки, — сказал Пальмерстон, — каждый первый министр бывает всегда рад оказывать услуги «Times'у» открытием всего, что может быть открыто; но «Times'a» не подкупишь — это известно. Я считаю себе за честь, что г. Делени бывает на моих вечерах и что мы с ним имеем деловые разговоры; но одно из двух: или г. Делени совершенно равнодушен ко мне и завтра же готов напасть на меня, если это будет угодно английской публике, или г. Делени завтра же не будет ровно ничего значить в редакции «Times'a».

«Times», печатая этот ответ, комментировал его еще яснее: «Кто такой г. Делени? — сотрудник «Times'a»; ни он, ни кто не скрывает этого. Расположен ли г. Делени к лорду Пальмерстону? Это решается просто: если он расположен к кому-нибудь, кроме «Times'a», он не имеет никакой власти над «Times'ом». «Times» слуга только одной госпожи — английской публики».

И это правда: в это же самое время «Times» заметил, что в английской публике будет сильное сочувствие к делу, которое хотят поднять противники Пальмерстона, тори, — к знаменитому «волонтерскому движению», — это формирование волонтерской милиции должно было попасть в руки сословия сельских джентльменов, масса которых — тори; оно должно было дать тори сильную популярность, много вредить Пальмерстону. Но «Times» предвидел, что оно будет успешно, и он первый поднял это дело и повел его всеми силами.

Другой такой газеты нет. Она имеет одну цель: чтобы из десяти человек английской публики девятю находили каждый день: «так, «Times» совершенно верно смотрит на вещи»; из этих девяти восьмю переходят в политике со стороны на сторону, — и «Times» ходит за ними, старается угадать, куда они пойдут, прежде чем сами они догадаются, что завтра пойдут в другую сторону; и когда «Times» угадает это, когда одним днем предугадает их, — «Times» кажется их руководителем; а во всяком случае, «Times» ни за что не отстает от них, ровно нисколько не заботясь об удовольствии остальных двух из десятка, которые твердо держатся своих убеждений. Из этих двух то один, то дру-

гой поочередно негодует на «Times», — «Times» нимало не беспокоится об этом.

Зато один «Times» в руках у всей английской публики. Все остальные газеты того разряда, как он, — органы партий и твердые проповедницы каких-нибудь определенных политических убеждений, — все вместе не имеют и наполовину столько читателей, как он. Например, у лорда Пальмерстона есть своя газета, — эту газету читают только его постоянные приверженцы и немногие люди, специально занимающиеся политикою; остальным англичанам газета Пальмерстона или неприятна, или скучна. «Times» приятен огромному большинству и нужен всем, потому что всякому нужно же знать, каково ныне настроение огромного большинства. И, кроме того, нигде нет столько новостей и таких дельных корреспонденций, как в «Times'e». Он имеет на это такие средства, как ни одна газета. И, например, в Крымскую войну его корреспондент Россель успел хоть наполовину спасти своими письмами английскую армию, погибавшую от дурного устройства комиссариатской и провиантской части. Виги и тори одинаково негодовали на эти письма. Росселю и «Times'у» не было никакой нужды бояться их или угождать им: Россель не зависел ни от кого, кроме «Times'a», «Times» никогда не хотел ничего, кроме привязанности английской публики к нему, а на этот раз она приобреталась благородным делом, потому он был благороден: он хотел спасти английскую армию. Публика вознегодовала было на него, вздумала было не поверить, что дела так дурны, почесть письма Вильяма Росселя клеветой, но «Times» знал своего корреспондента, знал, что через неделю, через две одолеет недоверие и станет так высоко, как никогда.

Это было через несколько месяцев после Альмской битвы. Теперь, в июне 1854 г., было не то: теперь «Times» служил не действительно благородному чувству, не тому чувству долга, что нация обязана знать истинное положение своей армии, — теперь еще не было бед, о спасении от которых было бы нужно заботиться, теперь дело шло только еще о национальной гордости, — и «Times» служил ей так же усердно, как через несколько месяцев служил действительному и благородному интересу нации.

Он увидел, что английская публика придет в негодование, когда узнает, что войну хотят кончить без всяких серьезных действий, что английская публика скажет: «Наши флоты не посылаются для того, чтобы стоять у Толбухина маяка или прогуливаться по Черному морю. Кто потревожил нас, у того должны быть отняты средства тревожить нас в другой раз. Надобно уничтожить Севастополь, если не взят Кронштадт и не уничтожена русская армия на Дунае. Так нельзя кончать войну, пустым парадом, — это было бы бесславием».

«Times» предвидел, что английская публика заговорит это, когда узнает, что русские войска отступают с Дуная. Он знал,

что Австрия заключает с Портою конвенцию, результатом которой будет это. И на другой же день по заключении этой конвенции «Times» поднял вопрос, который и без него подняла бы английская публика, но подняла бы только через две-три недели: 15 июня «Times» провозгласил, что «великие политические и стратегические цели войны не будут достигнуты, пока не будут уничтожены Севастополь и русский Черноморский флот, что только этим вознаграждаются пожертвования, уже сделанные на войну, только этим прочно разрешаются вопросы, из-за которых поднялась война, а без того — цель не будет достигнута, потому что Россия при сохранении этих наступательных средств возобновит войну с Турциею, как только вздумает».

Все министры, кроме Ньюкестля, смутились, особенно Абердин. Он до сих пор был в душе против войны, рассчитывал, что дело обойдется без серьезной войны. Так рассчитывали и все товарищи Ньюкестля, даже Пальмерстон. Они целый год пропустили, не думая готовиться к войне, и начали приготовления только уже по ее объявлении, всего только три месяца; они не имели ничего подобного серьезной мысли о возможности, что театр войны перенесется в Крым, и ничего не готовили на этот случай. Осада Севастополя союзною армиею, не предвиденная ими, была сама по себе делом слишком опрометчивым, а кроме того и не было сделано приготовлений к ней. Но «Times» отпечатал решение: «без этого нельзя». Что скажет на это публика? Публика увидела в «Times'e» свою мысль и вся повторила: «Да, без этого нельзя». 21-го числа в Лондон пришло известие, что осада Силистрии снята, и 22 июня «Times» объявил: «Итак, наши флот и армия свободны и должны итти на Севастополь». Это известие было преждевременно, но на другой день, 23 июня, осада Силистрии действительно была снята, дела действительно пришли в положение, на котором основывался приговор «Times'a», а этот приговор был очень верною разгадкою приговора английской публики, она уже подтвердила его. С каждым днем «Times» громче возвещал ее волю, — и в пять дней, с 23 до 28 июня, министры увидели, что не в силах противиться: или должны повиноваться, или будут низвергнуты всеобщим негодованием на бездействие. И когда 28 июня герцог Ньюкестль, дотоле ничтожный исполнитель чужих решений, сказал в совете министров: «надобно итти на Севастополь», — никто не посмел спорить против этих слов, которые прежде были оставляемы без всякого внимания.

Итак, повидимому, «Times» приказал осадить Севастополь, — его воля подняла войну наперекор всему правительству. Но в сущности статьи «Times'a» были лишь формою выражения воли английской публики. Мы, не имеющие ничего подобного «Times'у», очень хорошо должны понимать, что дело совершилось бы и без этой формы. Нет силы, которая устояла бы против общего требования. Кто приказывает кому из нас, печатными статьями или

парламентскими речами, носить сапоги, а не лапти? Сколько тысяч из нас, — и, может быть, я первый, — ропщут в душе против этого расхода на сапоги? Но кто смеет явиться на улицу без сапог? Кому из людей, имеющих деньги, запрещается газетами или какими-нибудь публичными речами сморкать нос без помощи носового платка? Кто посмеет нарушить это требование общественного мнения? О нем нет и речи; оно действует на вас уже и тем, что молчит, что не говорит вам: «вам позволено сморкать нос без платка». Только уже потому, что вам не говорят этого, вы не смеее позволить себе этого.

В Кабуле нет ни «Times'a», ни даже «Московских ведомостей». Что ж, может ли кабульское правительство назваться не подчиненным общественному мнению? Нет, оно точно так же, как в Англии, исполняет его волю: оно состоит из людей, этого уже довольно. На сто человек приходится лишь один, который имеет силу пренебречь общественным мнением, но остальные 99 не будут исполнять решений этого твердого человека, и он останется бессилем; он или сойдет с своего места, — волею или неволею, — или покорится. Может ли в Кабуле быть введена теперь христианская вера? Может ли быть установлено единоженство? Может ли дикая система государственной жизни быть заменена мирным гражданским устройством? Об этом не смеет и думать никто из людей, заведующих кабульскими делами, хотя без всякого сомнения многие из них уже поприсмотрелись к европейцам настолько, что в душе понимают превосходство европеизма над их бытом. Общественное мнение еще единодушно против них, — и они не смеют не только действовать, даже говорить. Общественное мнение всецельно и в Кабуле.

«Times» был только выразителем его ¹³⁴, как и герцог Ньюкестль. Скажи «Times» годом раньше то, что говорил теперь, он был бы осмеян и презрен, как презирали Ньюкестля. Теперь никто не посмел сказать слова против Ньюкестля, и <он> 28 июня написал Раглану письмо, в котором предувещивал главнокомандующего, что пишет для него новую инструкцию и завтра прочтет ее в совете министров; рассказывал ее содержание, сообщал, в каком смысле надобно будет Раглану понимать ее, если она будет одобрена советом министров и прислана ему. «Если будет одобрена» — это была только официальная форма выражения: Ньюкестль видел очень хорошо, что не посмеют не одобрить, и, действительно, в совете 28 июня его инструкция была безмолвно выслушана и беспрекословно одобрена. «Они спали, когда он читал», — говорит Кинглек и серьезно доказывает, что большинство министров спало, когда Ньюкестль читал инструкцию. Это очень желчно, это очень зло, может быть, и основано на том, что вздремнул кто-нибудь из стариков, которых немало было между министрами: и Абердин, и Пальмерстон, да и Россель были старики уже и тогда. — Но этот сарказм, хоть и очень колкий, недо-

стоин серьезной книги; это один из немногих случаев, когда Кинг-лек не остерегся против своей торийской узкой враждебности к политическим противникам. Ужасно то, что Англия ничего не проиграла бы или не выиграла бы, хоть бы и точно все министры ее спали, когда Ньюкестль читал свою инструкцию; им и следовало бы соснуть в эту четверть часа — другого нечего было делать: чтение было чистою формальностью; Ньюкестль в эти минуты был диктатором от имени английской публики, все его товарищи — его рабами, обязанными подписать все, что он даст им подписать, или он прогонит их, и они будут замещены другими, которые подпишут то, что английская публика ¹³⁵ продиктовала Ньюкестлю.

Вечером 13 июля маршал Сент-Арно получил депешу, шедшую в Варну отчасти по телеграфу, отчасти с курьером. Депеша была шифрованная, и в шифре было сделано много ошибок при переписывании его по дороге, так что можно было понять лишь некоторые строки, смысла других нельзя было разобрать. Но из разобранный части было видно, что депеша очень важна, что поход на Дунай отменяется и что французская армия должна готовиться куда-то плыть. Трошю отправился сообщить это Раглану и узнать, не получил ли он чего-нибудь поясняющего французскую депешу. Перед самым приездом Трошю Раглан получил письмо, видел, что оно от Ньюкестля, но еще не распечатывал его; теперь поспешил распечатать, и депеша пояснилась: союзные правительства хотят, чтоб их армии плыли осаждать Севастополь. 16 июля Раглан и Сент-Арно получили формальные инструкции об этом. Конечно, им предоставлялось и право не делать экспедиции, если она невозможна.

Экспедиция должна была совершиться при помощи флотов. Французский флот был подчинен Сент-Арно; командир английского, Дендас, не был подчинен Раглану. Итак, решение зависело от трех лиц: Сент-Арно, Раглана и Дендаса. При Сент-Арно был Трошю, который собственно и располагал голосом маршала.

Сент-Арно приехал на восток с репутациею отважного человека, но упал духом до того, что его армия теперь смеялась над ним. Он и должен был повиноваться Трошю, и боялся Стратфорда и Раглана, так что обратился в нуль. Трошю, человек, державшийся принципов правильной, ученой стратегии, был против экспедиции. Уж и поэтому Сент-Арно был бы рад, если бы английский главнокомандующий и адмирал решили, что экспедиция невозможна. Адмирал Гамлен, командир французского флота, также был против нее. Но он сам не имел голоса в совете. Точно так же не имел в нем голоса и Омер-паша, потому что еще не было предположения, чтобы часть его армии ехала в экспедицию. Но он был также против нее. Однакоже все эти силы действовавшие на мнение Сент-Арно, и собственное уныние маршала ничего не значили: парижские инструкции говорили ему

«вы сами не должны возбуждать к экспедиции, но если англичане решат, что быть ей, то вы должны принять их решение».

Поэтому важно было мнение только Дендаса и Раглана. Дендас больше был государственный человек и морской администратор, чем военный человек, — хороший моряк, но не воинственный моряк. Он был человек прямодушный и твердый. Он считал всю эту войну безрассудством, но его партия, виги, поручила ему командование флотом, и он повиновался. Точно так и тут: он прямо сказал, что экспедиция против Севастополя — дело, совершенно не одобряемое им; но с полною прямою прибавил, что она опасна только для армий, а не для флотов; что участие в ней — дело незатруднительное для английского флота: перевезти армию в Крым вещь легкая, и, если будет решено, что надобно везти ее туда, он повезет. Итак, все осталось зависящим от решения Раглана. Но его решение было, по его мнению, совершенно связано инструкцию и письмом Ньюкестля. Ньюкестль в письме 28 июня, накануне отправления инструкции, говорил ему, что «отступление русских дает совершенно новый вид войне: кабинет единодушно думает, что вы и маршал Сент-Арно, если не мешает тому неприготовленность ваша, должны осадить Севастополь, потому что мы больше чем когда-нибудь убеждены, что без покорения этой крепости и без взятия русского флота в плен невозможно заключить прочный и честный мир. Я предложу кабинету депешу вам об этом, и если она будет принята, то вы получите ее со следующею почтою. А между тем, надеюсь, вы обдумаете и переговоры с маршалом Сент-Арно, что можно и должно сделать».

В инструкции то же самое содержание развивалось подробнее; говорилось, что план похода к Дунаю во всяком случае должен быть теперь уже покинут, хотя б русские и не совершенно очистили Дунайские княжества, — против этой русской армии уже нет надобности бороться, — и «если вы не имеете каких-нибудь особенных сведений, еще не полученных нами, — продолжала инструкция, — и если поэтому вы не имеете решительного убеждения, что осада Севастополя не может быть удачна, то вы должны предпринять ее. Трудность этого предприятия, конечно, будет возрастать с каждою минутою» (потому что русские поведут новые войска в Крым), «а честного и прочного мира нельзя заключить без покорения этой крепости и без взятия в плен или уничтожения русского Черноморского флота; потому надобно решаться на экспедицию поскорее; и правительству была бы приискорбна всякая отсрочка дела, столь важного. Решение должно зависеть единственно от того, достаточны ли силы союзной армии для борьбы с трудностями этого предприятия», т. е. с количеством русских войск, находящихся в Крыму.

Сколько же русских войск в Крыму? Лондонский кабинет собирал сведения об этом и считал там не более 45 000, включая тут 17 000 матросов Черноморского флота. Ньюкестль очень твердо

говорил, что эта цифра верна, — и действительно она была верна, — что надобно основываться на ней. Основываясь на ней, невозможно было не сказать, что союзная армия имеет достаточно сил для осады: она была в полтора раза многочисленнее. А Ньюкестль единственным извинением отказа ставил то, «если Раглан имеет сведения, что русская армия в Крыму гораздо многочисленнее союзной».

Получив эту инструкцию, Раглан попросил к себе человека наиболее уважаемого им, своего сослуживца в испанской войне¹³⁶, тоже старика, сэра Джорджа Броуна, командира одной из дивизий, подал ему инструкцию. Броун сел читать. Раглан сел за свои письменные дела, чтобы не мешать Броуну.

— Какие же сведения имеете вы о числе русских войск в Крыму? — спросил Броун.

— Ни я, ни Сент-Арно — никаких; полагают, что там до 70 000 войска, но ничего неизвестно, — отвечал Раглан.

— Мы с вами привыкли руководиться тем, как поступал Веллингтон, — сказал Броун: — при таком отсутствии сведений о силах неприятеля Веллингтон не пошел бы в экспедицию. И однако же я советую вам итти. Из инструкции и особенно из письма Ньюкестля видно, что кабинет непоколебим в этом решении. Если вы откажетесь, они только заместят вас другим главнокомандующим, который не будет так осмотрителен, как вы.

Раглан не отвечал Броуну ничего. Его не смущало то, что его сменят в случае отказа. А он так же, как Броун, считал дело слишком рискованным. Он хотел взять несколько времени на размышление себе. Но он возмутился тем, что тон инструкции и письма как будто предполагает в нем недостаток мужества. Ему говорили слишком определенно, чего от него требуют, как будто не полагались на его собственную решимость. В инструкции были даже определены главные черты подробного плана похода. Говорилось даже, что хорошо будет занять Перекоп, чтобы русские не могли вводить новых войск в Крым, что надобно постараться запастись плоскодонными канонирскими лодками и ввести их в Азовское море к Арабатской стрелке, чтобы перерезать и эту дорогу русским. Эта чрезмерная определенность была следствием желания Ньюкестля облегчить дело Раглану: инструкции, составляемые в Лондоне, принимались и императором французов; таким образом Раглану давалось обеспечение, что Сент-Арно будет действовать заодно с ним. В Лондоне еще не знали, что это было уже лишнее, что Раглан и без поддержки из Лондона господствовал над французским главнокомандующим. Но именно по желанию облегчить трудную роль Раглана Ньюкестль написал инструкцию таким тоном, от которого бросилась кровь в лицо Раглану; ему показалось, что думают, будто он побоялся бы брать на себя ответственность за риск, и заботятся успокоить его с этой стороны, — Ньюкестль

действительно показывал своею инструкциею готовность снять на себя с Раглана всю ответственность за неудачу дела. Раглан видел перед собою обязанность исполнить инструкцию: Веллингтон любил выставлять непременною обязанностью главнокомандующего исполнение инструкций, присылаемых министерством, и если у Раглана было какое-нибудь колебание, оно было прогнано мыслью, что усомнились в его твердости. Он решил: двинуть союзные армии на Севастополь и взять всю ответственность дела на себя.

Через два дня по получении новых инструкций в квартире Сент-Арно собрались на военный совет главные лица союзных армий и флотов. Они, конечно, воображали, что будут совещаться о том, возможно ли исполнить инструкции, или надобно послать в Париж и Лондон ответ, что экспедиция невозможна. Раглан знал, что все против нее, и, по своему обыкновению, спокойно повернул дело так, что не было и совещания о вопросе, на который французы думали отвечать отрицательно. Он обратил совещание прямо на то, какие средства лучше других для высадки и каких правил надобно держаться при высадке. Французы стали говорить, что при произведении высадки необходимо перевозить на берег артиллерию одновременно с пехотою, потому что пехота без артиллерии подвергается слишком большому риску; сказали, что для этого надобно иметь плоскодонные барки, иначе трудно перевозить орудия на берег и артиллерия запоздает против пехоты; что у них строятся такие барки: орудие ставится на барку, уже положенное на лафет, готовое стрелять, и вывозится с нее на землю очень удобно, но что эти барки еще не готовы, надобно дней десять на их окончание.

— Прекрасно, — сказал Раглан, — а в эти дни мы и успеем сделать рекогносцировку Крымского берега, чтобы выбрать пункт, удобнейший для высадки.

Все увидели, что нечего спорить, что дело решено. Оно было решено исключительно Рагланом. Сент-Арно и все французы были против, но безмолвно покорились. На другой день Раглан писал Ньюкестлю:

«Я обязан сказать вам, что решение сделать высадку в Крым принято не столько по имеющимся у нас сведениям о силе неприятеля или по степени нашей готовности к подобной экспедиции, сколько из уважения к желаниям правительства. сообщенным мне в вашей депеше».

Ньюкестль отвечал:

«При всем благородном спокойствии вашего извещения о решении осадить Севастополь, я не могу не видеть, что решение принято только для исполнения желаний правительства и не вполне было одобряемо вашим собственным мнением. Да вознаградит вас и да оправдает нас успех!»

Раглан и Трошю очень понимали, что решение осадить Севастополь отделяет Англию и Францию от Австрии и Пруссии, что и русские поймут это; что если театр войны переносится с Дуная в Крым, то ни Германии, ни даже Австрии нет непосредственной надобности вступаться в это дело; что потому русские могут перестать опасаться австрийского движения в тыл русской дунайской армии, и она, может быть, прекратит отступление, — быть может, даже снова двинется вперед. Союзным командирам в Варне уже и показалось, что заметны признаки намерения русских возобновить наступательные действия на Дунае. Французы думали опереться на этом, чтобы отменить решение о Крымской экспедиции, и 28 июля у Сент-Арно собрался новый военный совет. Из французов были тут, кроме Сент-Арно, важнейший из дивизионных генералов Канробер, начальник штаба Мартенпре и Трошю. Они стали говорить, что первая обязанность союзной армии — защищать владения султана; что пока безопасность турецкой границы на Дунае не обеспечена, союзная армия не может пускаться в нападение на отдаленную русскую землю; что проект осадить Севастополь принят в Париже и Лондоне по предположению о прекращении войны на Дунае движением австрийцев во фланг русским; что теперь это предположение оказывается несбывшимся, что Австрия отстает теперь от Англии и Франции; что если союзная армия уедет из Болгарии, Омер-паша останется беспомощным против русских; что поэтому надобно отбросить решение, принятое десять дней тому назад.

Раглан мог бы сказать на это, что когда русские раз уже сняли осаду Силистрии, то в нынешнем году не успеют сделать ничего, если бы и хотели: в конце июля им уже поздно начинать серьезный поход на юг от Дуная; но он, по своему обыкновению, не дал возникнуть спору, а прямо поставил на своем, без всякого спора. Он холодно отвечал, что пока будут готовиться к отплытию в Крым, в это время и видно будет, можно ли ждать, что русские возобновят наступление, а что пока надобно всячески спешить приготовлениями к отплытию. Все согласились.

Приготовления к отплытию велись очень деятельно и французами, которые были принуждены следовать решению Раглана, по полученным ими инструкциям, и англичанами. Раглан принял решение, которого не одобрял сам, но, раз приняв его, взялся за него с полной энергиею, будто дело шло об исполнении его любимой мысли.

Отплытие было задержано свирепствованием холеры, зародыш которой был еще в галлипольском лагере союзной армии и которая страшно развилась в Варне. Особенно истребительно подействовала она в походе, неизвестно зачем устроенном Сент-Арно: он послал три своих дивизии из Варны к устьям Дуная, через болотистую Добруджу, в самое знойное время года. Из этих

30 000 человек до 10 000 было пожрано холерою. Зачем они ходили на явную страшную смертность, — вероятно, не умел бы сказать и сам Сент-Арно: эти три дивизии не могли иметь никакого серьезного дела с русскими; они должны были через несколько дней по выходе из Варны опять вернуться туда, чтобы сесть на корабли. Вероятно, Сент-Арно надеялся, что как-нибудь наткнутся они на какой-нибудь русский отряд и выйдет какая-нибудь схватка, которая хотя и не будет иметь никакого смысла, но все-таки годится, чтобы изобразить ее в газетах в виде великой победы.

Холера проникла и на флот. Это в особенности задержало отплытие. Те люди, которые не подвергались настоящей холере, все чувствовали страшный упадок сил, так что целые экипажи бывали по несколько дней неспособны работать. Холера была первым явлением той долгой процессии страшных бедствий, от которой умерло в севастопольскую осаду вдвое, вчетверо больше людей, чем было истреблено друг другом: и французы, и англичане, и мы, — все потерпели от лишений, непогод и болезней еще гораздо сильнее, чем от бомб, картечи, пуль и штыков.

Но сборы все-таки велись очень энергично, и в какие-нибудь полтора месяца все было готово: войска посажены на корабли и готовы к отплытию. 5 и 7 сентября отплыли.

Ужасна эта история того, как произошла севастопольская борьба, стоившая жизни многим сотням тысяч человек, разорившая миллионы других. Для личной своей надобности несколько человек из Парижа начали мутить Европу, не думая, что выйдет что-нибудь, кроме театрального эффекта. Мutilи, — и домутили до того, что русские стали сражаться с турками, что Европа стала опасаться за целостность юго-востока от напора русских сил. Вмешательством Европы была прекращена эта борьба, не имевшая ни цели, ни смысла. Но пока шла она, — сама по себе очень важная, — две сильнейшие западноевропейские державы втянулись в военные парады; правительство, втянувшее их в эти парады, ничего и не хотело, кроме того, как пошуметь процессиями войск и флотов. Но война кончилась, и одна из сильнейших наций Западной Европы увидела, что ее флотами, ее войсками, ее правительством только велась пустая игра; увидела это и вознегодовала, и в несколько дней все перевернулось: в совет английских министров явился диктатором неважный человек, этот Ньюкестль, ни за две недели перед тем, ни через две недели после того не бывший заметным лицом в совете правителей Англии, — и за две недели бывший и через две недели опять ставший только смиренным, усердным исполнителем работы, возлагаемой на него старшими, пред которыми он ничтожен. Теперь он явился диктатором в совет министров — и совет министров безмолвно покорился. Заседал парламент — парламент не был и спрошен, желает ли он повиноваться решению, диктуемому этим неважным человеком. Невоз-

возможность сопротивления этому неважному человеку была слишком ясна, парламент и не желал мешаться тут; министры знали, что парламент не потребует у них отчета, рад не требовать отчета; Ньюкестль продиктовал, английское правительство покорилось и продиктовало французскому, — и главнокомандующие против собственной воли двинули армии в противность желаниям своих правительств. Это дело имеет роковой характер.

Оно имеет его потому, что правители своею игрою щекотали серьезную персону — публику одной из великих держав, — щекотали и дощекотались до того, что особа эта спросонков произнесла словечко. И все побледнели и увидели, что не остается им делать ничего, кроме как исполнять волю этой персоны.

Из шутки вышло кровавое дело. Но оно вышло из этой шутки потому, что самая шутка — англо-французская игра в военные парады по поводу турецких дел — вышла из кровавого дела: другая серьезная персона, французская публика, доигралась перед этим до того, что поработила себя и свою нацию.

Третья великая нация — наша — поплатилась за эту игру.

Невинно ли поплатилась? Нация, конечно, невинно¹³⁷. Но публика наша — про нашу достолюбезную публику нельзя сказать: «она была невинна», — нет, она была преступна тем, что позволяла себе в течение долгих и долгих лет вести жизнь, недостойную цивилизованного общества. Исправилась ли она? Это не замедлит быть решено событиями. Желаящие не быть слепыми видят и теперь.

Итак, армии садились на корабли. Французы не брали с собою кавалерии. Раглан брал 1 000 человек кавалерии. Перевозить лошадей с берега на корабли — дело очень хлопотливое, задерживаемое даже и слабым волнением; потому французы были готовы к отплытию сутками двумя раньше, чем англичане успели кончить возню с лошадьми, — и 5-го числа сентября Раглан был озадачен известием, что маршал Сент-Арно уже отплыл с французским флотом и большею частью французских транспортов. Условлено было плыть вместе. Маршал изволил соскучиться ждать, и поплыл. Но по мере того, как плыл, чувствовал себя плохо, все более и более плохо. Французские военные корабли были так же, как и транспорты, обращены на перевозку войск. Корабль, на котором находится десантное войско, так загроможден им, что не имеет свободы действий в случае встречи с неприятелем, мало годится для сражения. Английские военные корабли были оставлены свободными от войск, они должны были служить конвоем. Что будет делать Сент-Арно без них? Что, если русский флот нападет на него? Он не замедлил струсить, и, отплыв неизвестно зачем, против условия, один, — он на другой же день послал Раглану известие, что не плывет дальше один, что повернул назад, навстречу английскому флоту. Раглан отвечал ему: «Слава богу, что все сошло благополучно. Мы уже очень

скоро подойдем к вам, и тогда нам надобно будет действовать в единодушие». Маршалу Сент-Арно как будто нужны и приятны были беспрестанные щелчки, так постоянно он напрашивался на них и так любезно принимал их. После каждого нового щелчка он становился приятнее в обращении с Рагланом, не только послушнее. Сент-Арно был человек милый, и если прежде злодействовал, то единственно по игривости характера.

7 сентября английский флот отплыл, 8-го соединился с французским. Теперь всякая опасность со стороны русского флота миновала: уже и один английский, плывший совершенно готовым к битве, был не слабее, если не сильнее его. Но тотчас же явилось новое затруднение: Сент-Арно прислал сказать Раглану, что очень болен, а между тем непременно должен видаться с ним, потому просит его приехать на военный совет на свой корабль. В это время было сильное волнение; спуститься в шлюпку и взлезть по трапу было бы очень трудно однорукому Раглану; он послал вместо себя своего военного секретаря Стиля. Отправился и Дендас, командир английского флота. На этот раз маршал не был нисколько виноват. Он сидел такой больной и слабый, что с трудом мог произносить несколько слов, а участвовать в совещании вовсе не мог. Дело было очень странное. Полковник Трошю вынул бумагу и сказал, что нисколько не участвовал в ее составлении, — и действительно не участвовал, — но что ему поручено прочесть и объяснить ее военному совету. Из французов на совете были только трое адмиралов и Трошю. Авторы документа не присутствовали: это были Канробер, Мартенпре и главные люди из французских артиллеристов и инженеров. Они рассуждали о том, в каком пункте надобно сделать высадку. Перед отплытием было назначено высадиться на одном из пунктов юго-западного берега Крыма, на север от Севастополя, недалеко от него, в устье речки Качи (южнее того места, где потом была произведена высадка). Авторы записки доказывали, что это очень опасно, что вообще нельзя делать высадку ни на север от Севастополя, на западном берегу, ни на южном конце полуострова, решительно нигде, кроме как в Керчи: Керчь — единственный удобный пункт.

Ясно было, что это такое. Керчь — самый дальний от Севастополя пункт Крыма. Из нее до Севастополя более 250 верст очень трудного пути по горам; если союзники высадутся в Керчи, они не успеют дойти до Севастополя в том году — осада отлагается до весны 1855 года, с лишком на полгода. Крымская экспедиция обращается в военный парад.

Трошю был человек серьезный. Теперь, уже не принуждаемый инструкциями из Парижа удерживать армию от действительной войны, он не желал обращать французскую армию в предмет смеха для Европы. Но он не имел формальной власти, он был только руководитель Сент-Арно. А Сент-Арно приобрел в своей армии

репутацию человека ничтожного, а в эти дни был совершенно расслаблен болезнью; генералы, боявшиеся серьезной войны, рассчитали, что Сент-Арно не посмеет противиться им. И он не посмел бы, но Трошю, прочитав бумагу, сказал его именем, что он совершенно предоставляет дело решению Раглана. Военный совет переехал на корабль Раглана. Сент-Арно, едва могший сидеть и говорить, остался ждать, чем решит Раглан. Трошю прочел Раглану записку, сказал, что он только докладчик за других, прибавил, что он не разделяет опасений, выражаемых запискою, которая предрекает гибель от высадки на западном берегу. Французский адмирал Брюа также сказал, что не разделяет этих опасений. Составители записки были главные после Сент-Арно генералы французской армии. Раглан видел из записки, что они совершенно против Крымской экспедиции, да и прежде уже знал это, но он почел вредным прямо оспаривать записку и, оставив ее без всякого возражения, сказал только, что сам произведет новую рекогносцировку берегов, и начал рассуждать о том, сколько пароходов нужно для этой рекогносцировки. Четыре парохода. Какие же лучше других? И выбрали, какие четыре парохода лучше других. Тем и кончилось. Авторы записки, увидев, что дело перешло в руки Раглана, почти напрасным продолжать свою попытку.

Мы видим, что генералы, бывшие тогда во французской армии, почти все были плохи, и первый из них был плох Сент-Арно. Если бы распоряжались Мартенпре, Канробер и Сент-Арно, двадцать раз они сбились бы так, что союзная армия ничего не сделала бы. Они запрятали было ее за Балканы от русских; когда это не вышло, они забрались в Добруджу, где нечего было делать, кроме как умирать от холеры, и они продолжали бы ходить где-нибудь по низовьям Дуная, когда русские стояли бы где-нибудь на Воынии; когда и это не вышло, они хотели запрятать союзную армию в Керчь, где она опять стояла бы без дела или еще с меньшею пользою бродила бы по горам восточного края южного берега Крыма. Мы увидим в Альмской битве еще новые примеры того, что они были очень плохие генералы. Хороший генерал во всей французской экспедиционной армии был тогда один Боске. Остальные были назначены не за способность к военному делу. Они были декабрьские генералы, они получили свои команды за полицейскую способность и еще больше за то, что не поцеремонились бить безоружных на бульварах. Но все-таки они были люди дисциплинированные, и какие бы мысли ни были у них самих, они усердно исполняли то, что им приказывалось. Они не имели умения командовать, но они служили усердно ¹³⁸.

Английские транспорты были все пароходные или буксируемые пароходами, у французов не достало паровой силы, их флот шел под парусами. Поэтому переезд занял много времени. Раглан успел осмотреть всю юго-западную половину крымского бе-

рега, от Херсонесского до Тарханского мыса, и самым удобным местом для высадки нашел берег несколько южнее Евпатории: скалы отходят тут довольно далеко от моря, оставляя широкую полосу низменного побережья. На этой низменности — озеро, отделяемое от моря узкою полосой берега, будто длинную плотину. Союзники ничего не знали ни о числе, ни о позиции русских войск; русские должны были уже знать, что союзники едут на Севастополь. Можно было ждать, что русские атакуют их при самой высадке. Поэтому озеро представлялось очень полезно: оно ограждало высаживающиеся войска, <противник> имел бы доступ лишь с концов узкой полосы, вдоль самого моря, под пушками флота, — следовательно, не мог ничего сделать. 13-го числа, вечером, флоты собрались к этому пункту взморья — «Соленому озеру» у «Старого форта». «Старый форт» это — лишь имя урочища, никакого укрепления тут не было тогда*. Длина берега, выбранного для высадки, — около двух верст; посредине этой линии поставили на воде вежу: она делила берег поровну, южная половина была назначена для высадки французам, северная — англичанам; так и расположились флоты, каждый вдоль своей части берега. Пока они становились в порядок, подошла ночь. Высадка осталась до утра. Все уснули на кораблях.

Транспортировкой английской армии заведывал контр-адмирал Лайонс, который один страстно был предан мысли об осаде Севастополя. Все, и сам Раглан, пустились в экспедицию наперекор собственным мыслям. Лайонс восхищался этим нападением на Россию: он один был и в душе нашим врагом; он был хороший моряк, но долго находился посланником в Афинах. Там, по обыкновению, шла дипломатическая борьба между Англиею и Россиею из-за влияния на политику Греции. Лайонс пристрастился к этой борьбе и получил серьезную неприязнь к русскому могуществу на Востоке. Когда началась война, он возвратился к морской службе. Решившись на экспедицию против своего желания, Раглан хотел вести ее со всевозможною энергиею, потому и взял своим помощником Лайонса, поручил ему всю морскую часть ее: и точно, дело кипело в руках Лайонса. Он говорил: «Не смотрите на цену» — офицерам, занимавшимся закупками и другими при-

* Кинглек рассказывает анекдот, относящийся к 13-му числу; кто был господин, о котором идет речь, и в каком смысле он рассуждал по карантинному уставу, — этого я не умею объяснить себе. Но анекдот характеристичен, потому привожу его. Подошедши к берегу 13-го числа около полудня, союзники послали Трошю и Стиля (военного секретаря Раглана) в Евпаторию потребовать сдачи города, который был совершенно беззащитен. При них был переводчик, Кальверт. Их привели к лицу, начальствовавшему в городе. Они передали ему письменное требование сдачи города; он, по карантинному уставу, окурив эту бумагу. Ему растолковали, в чем дело: что вот эти бесчисленные корабли, подошедшие к Евпатории, — флот, на котором приехала армия сделать высадку в Крым. Он отвечал: «выйти на берег — можно, но не иначе, как в карантин, и надобно строго соблюсти карантинные правила».

готовлениями. «Нельзя дать такой цены», — сказал ему один из них о какой-то покупке. «Покупаю на свой счет», — отвечал он. Он был неутомим и неусыпен все это время, и теперь, когда все еще спали, он с первым рассветом уж осматривал опять берег — и вдруг увидел, что вежа перенесена ночью с пункта против середины озера на пункт против северного конца его: французам хотелось иметь побольше места для высадки, и они тайком переставляли знак черты между их и английскою частью. Англичанам приходилось или поднимать скандал, ссору, или передвигаться далее на север; но дальше берег был совершенно неудобен для высадки. Лайонс имел рассудительность сделать новую рекогносцировку. Еще дальше на север было другое озеро, берег между ним и морем опять был удобен. Он доложил это Раглану, и, не говоря ни слова никому, они велели английскому флоту передвинуться на север, к этому другому озеру (Камышовому, Камышлы). Кто приказал тайком переставить вежу, они не стали разбирать, чтобы не поднимать дразг. Вот с какими господами имели дело союзники и противники француз в Крымскую войну. Мы и англичане одинаково изволили не понимать, каковы эти господа, их союзники, наши враги. За такое похвальное постоянство в нежелании понимать людей мы были награждены тем, что потеряли Черноморский флот и его укрепленную гавань, англичане — тем, что их усилия все-таки пропали попусту: восточный вопрос благополучно остался не разрешен войною, и Турция продолжает служить забавою, которою от нечего делать занимается дипломатическая игра, — до поры, когда выйдет из этой игры что-нибудь серьезное или в дурном для всех смысле, как тогда, или в каком другом, если случится европейским великим нациям, и в том числе нашей, быть поумнее тогдашнего.

Высадка заняла целых пять дней. Французы, не имевшие кавалерии, могли бы кончить ее скорее, но без кавалерии не могли бы они двинуться с места, потому не спешили, давая англичанам время управиться с лошадьми. 19-го числа все было кончено, и союзники двинулись к Севастополю.

У них почти вовсе не было обоза: в те дни, пока шла высадка, они успели набрать из окрестных деревень несколько арб или телег, перехватить несколько обозов, очень небольших; таким образом у англичан набралось до 350 арб и телег; у француз, кажется, было еще меньше. Запасы оставались на кораблях; армии должны были идти вдоль берега; по дороге от Евпатории к Севастополю есть несколько речек; но между ними берег моря обрывист и высок, так что, кроме устьев речек, не было других пунктов, удобных для перевозки несколько запасов с кораблей в армии. На своем маленьком обозе армии везли несколько провианта и амуниции; больше несли на себе солдаты. Таким образом, при союзной армии был запас патронов на два сражения и провианта на три дня. Армия, движущаяся с такими малыми запа-

сами, не может считаться армиею, делающею правильный поход, — она обращается в «летучую колонну», совершающую набег. В устьях рек союзники имели точки соприкосновения с источниками своих походных средств. Но каждый переход от речки до речки имел характер довольно рискованный, и союзники опасались больших затруднений себе в этих переходах.

Высаживаясь на берег, они ничего не знали о численности, позиции и планах неприятеля. Но они рассчитывали таким образом: главный путь сообщения между Севастополем и Россиею — дорога из Перекопа в Симферополь; она — важнее всего для русских; потому, вероятно, русская армия заняла позицию между нею и береговою дорогою и будет постоянно держаться во фланге союзной армии, — двигаться параллельно с нею на юг, нападая на нее во фланг в каждой удобной для того местности. А местность была в этом случае очень дурна для союзников, выгодна для русских. Близ берега уже начинаются места, удобные для действия кавалерии. У союзников было только 1 000 человек кавалерии, у русских она гораздо сильнее. Потому атаки могли быть очень тяжелы союзникам, русские могли теснить их своими отрядами и с тыла, и с фланга, задерживая также летучими атаками и с фронта. Этого не сбылось: на первом же переходе союзники увидели, что неприятель ждет их прямо на береговой дороге, загородив ее всеми своими силами, и хочет дать решительную битву в твердой позиции. Но они ждали не этого, когда выступали на юг от места высадки: они ждали иметь движущегося неприятеля на фланге.

При таком предположении надобно было считать безопасною ту часть армии, которая будет идти колоннами, ближайшими к морю (составлять правое крыло); а та часть, которая будет идти левее, должна быть готова выдерживать атаки неприятеля. Сент-Арно объявил, что его армия составит правое крыло. Раглан презрительно поморщился и махнул рукою. Действительно, отдавать одним англичанам всю опасную часть похода — это значило обременять англичан, но в то же время и бесчестить французов.

Однакоже все ограничилось только тем, что заявлена была трусость Сент-Арно, в это время неизвинительная, потому что он давно оправился от болезни, был совершенно бодр и в тот же вечер, как увидим, уже сообразил, что должен пожать все лавры, объяснил Раглану, что распорядился всем: приготовил план битвы, по которому англичанам нечего будет и делать, кроме как произвести диверсию для облегчения торжества французам.

Эта храбрость произошла оттого, что на первом же переходе союзники узнали план неприятеля, а с кораблей их рассмотрели и позицию русских. Первый переход был до реки Булганак. Подходя к ней, Раглан послал небольшой отряд на рекогносцировку; он натолкнулся на 2 000-ный отряд русской кавалерии, успел вовремя остановиться, дожидаться подкреплений, наскоро посланных

Рагланом. Русская кавалерия в это время была подкреплена большим отрядом пехоты. Противники смотрели друг на друга издали, обменялись лишь несколькими пушечными выстрелами и разошлись: русские также делали рекогносцировку, сильным отрядом. Его движения показали союзникам, что русская армия не на фланге у них, а впереди, — на береговой дороге, которую загородила. С кораблей рассмотрели левый (ближайший к морю) фланг русской позиции, — русские стояли на южном берегу Альмы.

Союзники пришли на Булганак рано вечером 19 сентября. От Булганака до Альмы недалеко; вышедши рано поутру, можно было раньше полдня подойти к Альме и начать битву. К ночи у Сент-Арно был уже готов план битвы, и поздним вечером он приехал к Раглану сообщить ему, как думает дать битву и что должны делать англичане.

Гряда гор, до 50—60 сажен вышиною, идет по южному берегу Альмы верст на 8, 9 прямо от моря в глубину Крыма; дальше во внутренность полуострова эти холмы спускаются отлого. Береговая дорога, верстах в 5 или 6 от моря, перерезывает этот кряж гор южного берега Альмы. Северный берег спускается к реке отлогим полотном; горы южного берега тем обрывистее к реке, чем ближе к морю. Русскому главнокомандующему казалось, что приморская половина этого восьмиверстного фронта настолько крута, что нечего опасаться за нее: союзники не могут взобраться тут на берег. Он занял только восточную, дальнюю от моря половину фронта гор южного берега. На этом и основался план французов.

Русские имели около 40 000 человек (39 000). Французов было 30 000; при них находилось под командою Сент-Арно 7 000 турок. Он объявил Раглану, что эти силы разделятся на две части: одна пойдет в обход, у самого взморья перейдет Альму и зайдет во фланг русским (в левый фланг русской позиции); другая часть пойдет штурмовать позицию с фронта, когда тот корпус зайдет во фланг ей. Англичане, которые пойдут на левом фланге союзной армии, не будут иметь против себя неприятеля, — неприятель стоит ближе к морю, чем то место, где они выйдут на Альму; но они могут сразиться с крайним правым крылом русских, — с ничтожными силами, и пусть они обойдут это крыло, чтобы была диверсия также и с восточной стороны. Англичан было 26 000 человек.

Раглан не стал спорить: расположение русских войск на альмской позиции не было известно, приморская часть позиции не занята ими, — это было видно с флота, но не было видно, как они стоят дальше от моря, где их главные силы; ближе к морю или дальше от моря, чем то место, в котором Альма перерезывается дорогою? При такой неизвестности напрасно было рассуждать о том, какая часть союзной армии должна будет иметь против себя главные силы русских. Можно было решить только

то, с какого пункта начать битву и в каком порядке: обходом с приморского края или нет. Раглан согласился, что надобно попытаться, нельзя ли обойти русскую позицию с приморского фланга.

Следовало ли союзникам принимать такой план? Пелиссье говорит: нет, гораздо лучше было обойти русскую позицию с ее правого фланга, чтобы сдавить русских между союзной армией и морем; по всей вероятности, силы союзников оказались бы достаточны для этого: их было 63 000, русских — только 39 000; вероятно, они могли уничтожить русскую армию этим маневром. Можно было повернуть его и иначе, если не хотели рисковать решительною атакою на правый фланг русских, — атакою, которая губила бы союзную армию, если бы не погубила русскую (в случае неудачи союзники были бы отброшены внутрь Крыма, отрезаны от флота). Можно было, по мнению Пелиссье, просто обойти с правого фланга русскую армию и притти к Севастополю раньше нее, — союзники нашли бы его совершенно беззащитным. Но и то, и другое все-таки было делом рискованным, не согласным с правилами обыкновенной систематической войны. А английские генералы все были воспитанники и обожатели Веллингтона, люди, умевшие ценить только правильную, систематическую стратегию. С этими принципами они пустились в экспедицию, совершенно не согласную с условиями правильной стратегии. Потому, при всей их опытности и твердости, они были в положении, для которого не годились. Надобно, впрочем, извинить Раглана и его помощников тем, что союзники их были тогда под слишком плохую команду: мы увидим, каких удивительных вещей наделали французские генералы в Альмской битве; если бы таким образом повели они атаку с правого русского фланга или пошли в обход, то очень может быть, что они были бы разбиты и с собою вместе погубили бы англичан. При всей невозможности проиграть битву, нападая на русскую позицию с морской стороны, они все-таки едва не умудрились подвергнуть себя и англичан поражению.

В обход от побережья был назначен Боске с своею дивизиею и турецким отрядом, — всего 15 000 человек. Он двинулся от Булганака в половине шестого часа утром 20 сентября; через полтора часа двинулись остальные войска. Дошедши до того места, откуда начинается отлогий спуск северного берега Альмы, они увидели следующее положение местности и неприятеля.

Береговая дорога переходит Альму в таком месте, где гряда гор южного берега отступает от берега, так что образуется лощина между двумя холмами. Та сторона, которая ближе к морю, — Телеграфный холм; так называется ближайшая к дороге окраина хребта, но хребет непрерывною высотой идет до самого моря. Только эта ближайшая к дороге окраина — Телеграфный холм — была занята русскими, которых было тут до 13 000. Другую, дальнюю от моря стену долины составляет Курганный холм, на нем

стояли 26 000 русских. Он был слегка укреплен, — между прочим был Большой редут, — на спуске Курганного холма к дороге. Дорога была уже английскою частью позиции, французы шли ближе к морю.

Итак, перед началом битвы, часов в 11 утра, положение было такое.

Боске с 9 000 французов и 6 000 турок ушел далеко от своих и от русских, в обход левого фланга русских.

Против левого крыла русских, имевшего до 13 000 человек, должны были действовать остальные 20 000 французов с фронта, — атаковать Телеграфный холм от реки.

26 000 англичан должны были, также от реки, атаковать правое русское крыло, Курганный холм; русских тут было тоже около 26 000 *.

Когда план битвы состоит в том, что производится обход левого неприятельского крыла, то натурально, что остальная атакующая армия ждет, пока корпус, посланный в обход, зайдет во фланг неприятелю, тогда двигается вперед часть, стоящая против левого неприятельского крыла с фронта, потом уже — часть, стоящая против правого неприятельского крыла. Так и распорядились союзники. Подошедши к Альме, они остановились выждать, пока Боске явится на высоте хребта в левом фланге русских.

Боске пошел в обход двумя колоннами: ближе к морю, дальше от русской позиции пошла одна из его двух бригад под командою Буа; в этой колонне были и турки. Другую свою бригаду повел сам Боске обходным путем, более близким к русской позиции. Он, хороший генерал, сделал свое дело как следует: вошел на хребет влево от левого крыла русских. Но с ним не было артиллерии, у него было всего 4 500 человек или меньше. Он один не мог идти в атаку и стоял на хребте, верстах в двух от левого края русской позиции, ожидая, пока подойдет к нему другая его бригада (Буа) и двинутся с фронта на левое русское крыло другие французские дивизии.

Буа не шел, — он далеко отстал. Французские войска не двигались на левое крыло русских с фронта; против Боске не было русских, кроме одного батальона, поставленного с 4 пушками у самого моря далеко позади и далеко в стороне от остальных войск, — вероятно, не для участия в битве, а для наблюдения, чтобы с флота не была сделана высадка в тылу русских. Этот батальон не мог показаться сам против целой бригады, но выдвинул свои 4 орудия; они начали обстреливать бригаду Боске, не имевшую орудий, чтобы отвечать им.

* Разумеется, между Телеграфным холмом и Курганным холмом тоже были русские войска; они приходились также против англичан, и по ходу битвы этот русский центр надобно причислять к правому крылу.

Услышав эту канонаду, Сент-Арно сильно встревожился. Боске с 4—5 тысячами стоит один, очень далеко от остальных войск; он погибнет, если русские атакуют его; надобно скорее поддержать его. И войска, стоявшие в первой линии против левого русского крыла, были торопливо посланы вперед. Это были целые две дивизии: Канробера (ближе к морю) и принца Наполеона¹³⁹ (ближе к англичанам); они бросились через Альму, дивизия Канробера несколько впереди дивизии принца Наполеона; головы их вышли на русский берег; перед ними поднимался высокою и крутою стеною Телеграфный холм, на холме стояли русские батареи, били в переходивших реку, били в задние части колонн, еще остававшиеся на том берегу, а головы колонн, уже подошедшие под крутую стену Телеграфного холма, были прикрыты этим навесом, — выстрелы безвредно летели выше их, им было хорошо стоять тут. Они, как и всякое хорошее войско, как всякие батальоны всякой порядочной армии, храбро пошли бы вперед из своего приюта под картечь, но для этого надобно было твердо сказать им, что они должны идти вперед, а тут и солдаты, и сами офицеры не знали, что должны идти вперед, — напротив, видели, что, вероятно, еще не следует им идти в атаку на Телеграфный холм: их было еще мало на этой стороне Альмы; часть дивизии Канробера и вся, кроме двух передовых батальонов, дивизия принца Наполеона еще оставались за Альмою, ряды их были отчасти спутаны переходом через реку, надобно было строиться, а главное, с ними не было артиллерии: генералы, командовавшие ими, особенно Канробер, основательно или неосновательно увидели, будто артиллерия не может в этом месте переехать Альму и не может подняться на крутизну Телеграфного холма с фронта, поэтому послали свою артиллерию в объезд, далеко влево, на тот брод, через который перешел Боске. У французов считается первым правилом благоразумия, что «пехота без артиллерии не ходит в атаку на пехоту с артиллериею». Как же было передовым батальонам Канробера и принца Наполеона идти в атаку без приказа? Они стояли под навесом Телеграфного холма. Но задние части этих дивизий, бывшие близ реки на русской стороне и остававшиеся за рекою, находились под выстрелами русских батарей Телеграфного холма; место было тесно для такого большого числа войск, батальоны спутывались, мешали один другому, генералы распоряжались плохо.

Принц Наполеон — человек неглупый, и напрасно расславили о нем, что он трус: эта клевета — интрига элизейской компании, опасавшейся его; напротив, он даже храбрый человек; но он не был опытный офицер, он не мог знать, что ему делать, когда его более опытные товарищи распоряжались по-своему, — а они распоряжались очень плохо. А главным оправданием ему служит то, что при его дивизии постоянно находился сам Сент-Арно. Что

мог сделать дивизионный генерал, когда тут был главнокомандующий?

Канробер в молодости очень хорошо учился, блистательно держал экзамены на первый свой чин, потому считался офицером, подающим большие надежды, и теперь считался еще хорошим генералом. Но мы видели, какую записку подал он Сент-Арно во время переезда из Варны в Крым; еще точнее определяется его личность тем, что он сильно осуждал меры, принятые 2 декабря, арестование знаменитейших политических и военных людей Франции, а между тем командовал войсками, которые стояли на бульваре и произвели убийство. Очевидно, он был человек слабого характера, легко терявшийся. Таким он оказался и здесь, под Альмою. Его дивизия стояла и путалась; он не умел найтись, поправить дело хорошими распоряжениями, и, беспомощные под огнем русских батарей, войска дивизий его и принца Наполеона начали колебаться, совершенно унывать, готовы были отступать в беспорядке. Сент-Арно, увидев это, еще более испортил положение: эти две дивизии колебались оттого, что стояли под огнем без дела, путаясь от тесноты, — Сент-Арно послал еще бригаду на «подкрепление» двум дивизиям, которые и без того были многочисленнее неприятеля, нуждались только в большем просторе и в приказании двинуться вперед; теснота и путаница увеличились.

Итак, около 10 000 французов и турок (под командою Буа) брели подле моря, далеко от места битвы; Боске с 4—5 тысячами, без артиллерии, одиноко стоял далеко на левом фланге русских и не мог ничего делать; около 20 000 французов беспорядочно теснились перед Телеграфным холмом; передовые батальоны их (большая половина дивизии Канробера и два батальона дивизии принца Наполеона) бездействовали под навесом холма; оставшая часть, более 12 000, толпилась еще на северном берегу под выстрелами русских батарей и начинала колебаться от русского огня и тесноты.

Сент-Арно растерялся, и его адъютант поскакал к Раглану с просьбою от него «сделать что-нибудь», потому что иначе «бригада Боске будет компрометирована».

— Что такое «компрометирована»? — спросил Раглан. Ему было досадно и смешно слышать просьбу о выручке отряда, который отделен от него всею французскою армиею, — армиею, почти вдвое более многочисленную, чем та часть русского войска, против которой она действует.

— Она отступит, — сказал адъютант Сент-Арно.

Раглан увидел, что при таких распоряжениях Сент-Арно битва действительно будет проиграна, если англичане станут ждать, пока французы собьют левое крыло русских, как взялся сбить его французский главнокомандующий. Он двинул в атаку на русское правое крыло свою первую линию и сам поехал вперед

смотреть, как стоят русские и как будут идти на них англичане.

Пять батальонов (полков: английские полки имеют вообще однобатальонный состав) бросились через Альму на Курганный холм, ключ русской позиции, занятый правым крылом русской армии. Спуск северного берега Альмы покрыт виноградниками; южный берег у подошвы Курганного холма поднимается обрывом в полторы сажени вышиною. Пробираясь через виноградники, взбираясь на обрыв, все батальоны, кроме одного, расстроились, сбились в толпу, но эта толпа кое-как развернулась чем-то похожим на строй и пошла на Большой редут. Когда она приблизилась, русские орудия были вывезены из редута, англичане заняли его без сопротивления. Но вот русские колонны с флангов и с тыла редута, с верхней части Курганного холма, двинулись на них; толпа, занявшая редут, отступила, в отступлении расстроила несколько рот второй своей линии, задержала другие. Русские отразили первую атаку англичан.

Раглана не было в это время при его войске, находившемся на северном берегу Альмы против Курганного холма; первые пять батальонов ушли слишком много вперед от других, когда бросились в атаку. Вторая линия англичан не скоро перешла Альму и возобновила нападение. В этот промежуток первой, отбитой русскими, и второй атаки англичан дела англичан казались не в хорошем положении. Только один батальон их продолжал выдерживать натиск одной из русских колонн, отразивших первую атаку. Остальные четыре батальона первой линии отступали за Альму на свою вторую линию; удачнее ли будет атака этой второй линии, очень можно было сомневаться. Во всяком случае, вторая линия была еще за Альмою, на русской стороне оставался только один батальон англичан.

Еще гораздо хуже были дела французов. На левом крыле русских было очень мало войск; но половина войск, назначенных против этого крыла, была далеко от места битвы: дивизия Боске, турки; и как будто мало показалось этого Сент-Арно, — он послал в обход, «на подкрепление» Боске, еще бригаду; около 18 или 19 тысяч были обращены в нуль для битвы распоряжениями Сент-Арно. Остальные его войска, около 20 тысяч, стояли, как мы видели, двумя отделами: один, уже на русской стороне Альмы, под Телеграфным холмом, без артиллерии, бездействовал, это была половина дивизии Канробера с двумя батальонами дивизии принца Наполеона. Не получая приказаний, что им делать, эти два батальона инстинктивно примкнули к передовой половине дивизии Канробера. Подошли туда и некоторые другие батальоны канроберовой дивизии. Эта масса стояла беспомощная и бездейственная, но, по крайней мере, стояла не колеблясь. Остальные 12 000 французов (дивизия принца Наполеона, кроме двух батальонов, и бригада, призванная «на подкрепление» ей) стояли

под русским огнем, еще не перешли Альму, стояли в тесноте, так что и неспособны были действовать, страдали от русских батарей, видели, что распоряжения плохи, падали духом, колебались.

Таким образом, на левом русском фланге еще и не начиналось настоящее сражение, — только шла канонада с русской стороны, а французы были уж расстроены. И вот русская колонна из восьми батальонов двинулась на передовые французские батальоны, стоявшие под Телеграфным холмом. Не дожидаясь атаки, батальоны эти стали подаваться назад, отступать вниз, назад к Альме.

Сент-Арно теперь уже совершенно потерялся, и его адъютант опять поспекал просить помощи у Раглана.

Раглан был далеко впереди своих войск; он, послав свою первую линию в атаку, поехал осмотреть положение русских. Ему случилось подъехать к Альме в таком месте, где на противоположном берегу был довольно большой интервал между русским правым и русским левым крылом. Он проехал сквозь редкую цепь русских застрельщиков, быть может, и сам плохо замечая их, пока их пули не сбили двух офицеров его свиты, но в это время он с остальными был уже дальше русской цепи застрельщиков на русском берегу. Местность была очень волнистая, он попал между Телеграфным и Курганным холмами, где хребет отходит от реки и подъем на него идет постепенно сменой небольших холмов и долин; русских войск тут не было. Раглан был закрыт от них мелкими холмами и все ехал вперед, пока выехал на гребень хребта, который тут находится в тылу своих передовых выступов к Альме, в тылу Телеграфного и Курганного холмов. Раглан увидел себя между правым и левым крыльями русской армии, почти уже на одной линии с русскими резервами. Ему была видна вся позиция русских и весь противоположный берег Альмы, где стояли его и французские войска, еще не перешедшие Альму. Он почел этот пункт очень важным, велел привезти туда две пушки; Кинглек приписывает этому очень важное влияние на ход битвы: по его предположению, русские правого крыла, увидев группу неприятельских генералов и офицеров на востоке, почти в тылу у себя, подумали, что французы уже сбили левое русское крыло, готовятся атаковать их, и собственно этим опасением были удержаны от горячего преследования англичан, отступавших после первой атаки. Этого мало: по мнению Кинглека, именно огонь двух пушек, поставленных на этом пункте Рагланом, принудил русских снять батарею, стоявшую на склоне Курганного холма у большой дороги, а это открыло путь второй атаке англичан и даже имело тот результат, что русские левого крыла (бывшие против французов) заметили по прекращению огня этой батареи, что англичане одолели русское правое крыло. Так ли это, я не знаю. У Кинглека были под руками английские переводы всего, что напечатано русскими генералами и офицерами об Альмской битве. Он находит

эти рассказы вообще дельными, правдивыми. Когда-то читал их и я. Но у меня осталось после всего этого чтения то впечатление, что действия русской армии еще недостаточно разъяснены писавшими о ней русскими. Каждый рассказывает то, что видел и помнит, или сообщает сведения из официальных документов; но частные рассказы отдельных командиров недостаточны для объяснения общего хода битвы: внимание каждого в битве поглощено судьбою и действиями той части, в которой он находится, общего он не замечает или замечает его не с полною ясностью. Писавшие по документам русские офицеры имели в руках не все нужные документы. Это отражается и на рассказе Кинглека: он не умеет объяснить многого в действиях русской армии, принужден строить свои предположения, старается делать их добросовестно и основательно, но сам не ручается за то, что они безошибочны.

Поэтому я вовсе и не говорю о том, как действовали русские в Альмской битве. Довольно того, что Кинглек отдает полную справедливость мужеству русских солдат и офицеров, находит русских офицеров людьми дельными, не такими господами, как те адъютанты Сент-Арно, которые, являясь к Раглану, стыдили французское имя своею растерянностью. Он также хвалит действия командира левого крыла и командира правого крыла русской армии.

Конечно, тут нет ничего ни пристрастного, ни удивительного: русские дивизионные, бригадные, полковые командиры, русские офицеры были солидные военные люди, знающие свою обязанность, привыкшие держать себя, как прилично людям нетрусливым. Этого довольно.

Но если поездка Раглана и дала полезный для союзников результат, английская армия осталась несколько времени без его распоряжений. Быть может, от этого дело отчасти замедлилось; но помощники Раглана были похожи на него: старые служаки, люди твердого характера, не терявшиеся в затруднениях, не боявшиеся брать на себя ответственность. Сколько видно, не было между ними людей с великими военными талантами, кроме одного, сэра Колина Камбелля, отлично действовавшего в Индии. Может быть, был очень хорошим генералом также Эри, генерал-квартирмейстер Раглана. Но все были хорошие командиры и почтенные, твердые люди. А Эри даже принял на себя ответственность давать советы таким тоном, что они походили на распоряжения, отдаваемые им по поручению Раглана. Вторая линия англичан пошла в атаку, и после упорных, но не очень продолжительных битв каждого полка (батальона) англичан с бывшими против него русскими войсками англичане одолели; все войска правого крыла русской армии, то есть главные силы ее, стали отступать. Кажется, что решительным ударом были битвы трех полков (батальонов) сэра Колина Камбелля с батальонами, со-

ставлявшими правую часть правого русского крыла. В течение тридцати пяти минут русские были сбиты с своей позиции, и битва выиграна англичанами.

Мы тогда много говорили о том, что у англичан уже были штуцера, между тем как русские имели простые ружья. Конечно, это преимущество очень важное, но Кинглек берет вопрос шире (как брали его и хорошие русские офицеры) и говорит не собственно об оружии, а о самом боевом построении. Рукопашных боев в штыки не было: или англичане не допускали русских, или русские не получали приказаний ходить в атаку на штыки, но все отдельные одновременные битвы между английскими и русскими батальонами были ведены ружейным огнем. Русские бились сформированные в колонны, англичане — развернутым строем в две шеренги. При такой разнице построений боевая сила англичан, очевидно, была больше, хотя вообще один английский батальон имел против себя два русских: свернутые в колонны, два батальона имеют меньше людей действительно бьющихся, чем один батальон, развернутый в две шеренги; дело не доходило до штыков, и перевес английского строя был непреодолим¹⁴⁰.

Когда правое русское крыло было уже в отступлении, прибыла, наконец, артиллерия, посланная французами в объезд; ее батареи стали впереди Боске, налево от левого края левого русского крыла. Русские отошли несколько направо из-под этого огня. Но, посмотрев на свое правое крыло, они увидели, что там дело уже потеряно; что они, малочисленнейшая часть русской армии, не могут оспаривать свою позицию, когда взят неприятелем Курганный холм, где стояли главные русские силы; что они, войска левого крыла, должны отступать и прикрывать собою расстроенные войска главной части своей армии. Они пошли назад, не тревожимые никем, и, отошедши назад версты три, остановились, сделали даже движение вперед, чтобы дать время уйти войскам, отступавшим в расстройстве после тяжелой битвы с англичанами.

Итак, левое крыло русских, против которого были французы, отступило потому, что англичане одержали победу над главными силами русской армии. Само левое крыло вовсе не имело никакого дела с неприятелем, кроме того, что стреляло по нем из своих батарей; однажды двинулось вперед против передовой части французов, бывших перед его фронтом; эти французы отступили, не ожидая не только атаки в штыки, даже ружейного огня русских; русские, без одного ружейного выстрела оттеснив эти батальоны, больше уже не видели перед собою французской пехоты: она стояла под горою, на которой стояли русские. Когда подъехала французская артиллерия, русские отодвинулись из-под ее выстрелов слева направо, но все-таки не видели перед собою пехоты. Когда же увидели, что битва выиграна англичанами на другой, главной половине русской позиции, то спокойно отступили, не тревожимые никем.

Но когда русское левое крыло спокойно ушло с своей позиции (с Телеграфного холма), французы из-под горы взошли на эту позицию.

Так было дело. Русские при Альме не обменялись ни одним ружейным выстрелом с французами, кроме тех выстрелов, которыми обменялись цепи застрельщиков при начале битвы, до английской атаки на русское правое крыло, до перехода французов через Альму.

Удивительно, что это не помешало распространиться по Европе слуху о том, с какого упорного боя французы взяли Телеграфный холм и как тут отличались зуавы. Французский полуофициальный историк Крымского похода Базанкур очень красноречиво описывает этот страшный бой, с которого французы овладели Телеграфным холмом, и восхищается храбростью, которую показали тут зуавы¹⁴¹.

Без сомнения, бой был бы очень упорен и зуавы, конечно, дрались бы тут храбро, если бы французы были двинуты на Телеграфный холм в то время, когда он был занят русскими войсками. Но, благодаря Канроберу, Сент-Арно и другим подобным французским командирам, этого не случилось. Много ли участвовали французы в битве, видно из того, что они потеряли только трех офицеров, убитых или в цепи застрельщиков, или огнем русских батарей.

Когда левое, не тронутое французами русское крыло давно уже отступало и когда французы без всякого боя взошли на Телеграфный холм, покинутый русскими, Раглан, всматриваясь в положение местности, через которую лежал путь отступления русских, увидел, что если французы двинутся вперед, то отрежут этот путь; он послал просить Сент-Арно, чтобы сделано было это движение. Сент-Арно отказался. Благодаря этому удивительному отказу, объясняемому только соединением величайшей амбиционности с полнейшим непониманием дела, русская отступающая армия спокойно миновала ту местность, на которой французы могли бы остановить ее.

Однако, если и дан путь неприятелю уйти, то надобно же преследовать его. Англичане были очень утомлены тяжелою битвою, но Раглан все-таки выбрал дивизию, которая несколько посвежее других, и послал сказать Сент-Арно, что просит его назначить какой-нибудь французский отряд для содействия ей. Сент-Арно и на это отвечал отказом. Если бы Раглан, не обращая на то внимания, все-таки послал свои войска преследовать отступающего неприятеля, Сент-Арно, вероятно, послал бы и французский корпус — не захотел бы отстать. Но такая мера очень оскорбила бы французов: они сказали бы, что англичане приписывают одним себе победу, когда одни пошли преследовать русских. Раглан рассчитал, что никакие выгоды преследования не стоят того, чтобы раздражать самолюбие французской армии и тем подвер-

гать распадению англо-французский союз, и преследования не было.

Рассказом об Альмской битве кончается та часть труда Кинглека, которая служила основанием для моих статей.

Альмскою битвою было решено, что союзники имеют силу осадить Севастополь. Как шла эта осада — предмет более известный, чем дела, которыми была она порождена. Недурно было бы нам подумать хорошенько о том, насколько могут быть полезны нам уроки, которые заключаются в этих делах.

26 октября 1863.